

АЛЕКСЕИ
ТОЛСТОИ

Scan Kreyder - 23.06.2014
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

АЛЕКСЕИ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

4

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1972

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
В. Р. Щербинь

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ



СОЮЗ ПЯТИ¹

1

Трехмачтовая яхта «Фламинго», распустив снежно-белые марселя, косые гроты и трепетные треугольники кливеров, медленно прошла вдоль мола, повернулась, пооща парусами, приняла ветер и, скользнув, полетела в голубые поля Тихого океана.

В журнале начальника порта отметили: «Яхта «Фламинго», владелец Игнатий Руф, восемнадцать человек команды, вышла в 16.30, в направлении юго-запад».

Несколько зевак равнодушно проводили стройные паруса «Фламинго», утонувшие за горизонтом. Да еще два сероглазых парня-грузчика, сопя трубками за столиком кофейни на набережной, сказали друг другу:

— Билль, если бы «Фламинго» пошла на увеселительную прогулку, то были бы дамы на борту.

— Я тоже так думаю, Джо.

— Билль, а ведь недаром целая шайка репортеров вертелась с утра около яхты.

— Я такого же мнения, — недаром.

— А знаешь, вокруг чего они больше всего вертелись?

¹ Все астрономические и физические данные в этом рассказе, включая также прохождение кометы Биелы в 1933 году, вполне отвечают действительности.

— Ну-ка, скажи.

— Вокруг этих длинных ящиков, которые мы грузили на «Фламинго».

— Это было шампанское.

— Я начинаю убеждаться, что ты глуп, как пустой бочонок, Билль.

— Не нужно, чтобы я обижался, Джо. Ну-ка, потвоему, что же было в длинных ящиках?

— Если репортеры не могли разнюхать, что было в ящиках, значит никто этого не знает. А кроме того, «Фламинго» взяла воды на три недели.

— Тогда, значит, Игнатий Руф что-то задумал. Не такой он человек, чтобы даром болтаться три недели в океане.

Так поговорив, оба парня отхлебнули пива и, опираясь голыми локтями о столик, продолжали насасывать пенковые трубки.

«Фламинго» под всеми парусами, слегка накренясь, летела наискосок сине-зеленым волнам. Матросы в широких холщовых штанах, в белых фуфайках и белых колпачках с кисточками лежали на полированной палубе, поблескивающей медью, поглядывали на поскрипывающие реи, на тугие, как струны, ванты, на прохладные волны, разлетающиеся под узким носом яхты на две плены.

Рулевой, крепколицый швед, сутуло стоял на штурвале. Огненно-рыжую бороду его, растущую из-под воротника, отдувало ветром вбок. Гнались несколько чак за яхтой и отстали. Солнце клонилось в безоблачную, зеленоватую, золотую пыль заката. Ветер был свеж и ровен.

В кают-компании у прямоугольного стола сидело шесть человек, молча, опустив глаза, сдвинув брови. Перед каждым стоял запотевший от ледяного шампанского широкий бокал. Все курили сигары. Синие дымки наверху, в стеклянном колпаке, подхватывало и уносило ветром. Зыбкие отблески солнца сквозь иллюминаторы играли на красном дереве. От качки мягко вдавливались пружины сафьяновых кресел.

Следя за пузырьками, поднимающимися со дна бокалов, пять человек — все уже немолодые (кроме одного, инженера Корвина), все одетые в белую фланель, сосре-

доточенные, с сильными скулами и упрямыми затылками — слушали то, что вот уже более часа говорил им Игнатий Руф. Никто за это время не прикоснулся к вину.

Игнатий Руф говорил, глядя на свои огромные руки, лежавшие на столе, на их блестящие плоские ногти. Розовое лицо его с огромной нижней частью выразительно двигалось. Грудь была раскрыта, по морскому обычаю. Короткие седые волосы двигались на черепе вместе с глубоко вдавленными большими ушами.

— ...В семь дней мы овладеем железными дорогами, водным транспортом, рудниками и приисками, заводами и фабриками Старого и Нового Света. Мы возьмем в руки оба рычага мира: нефть и химическую промышленность. Мы взорвем биржу и подгребем под себя торговый капитал...

Так говорил Игнатий Руф, негромко, но с уверенностью выдавливая сквозь зубы короткие слова. Развивая план действия, он несколько раз возвращался к этой головокружительной картине будущего.

— ...Закон истории — это закон войны. Тот, кто не наступает, нанося смертельные удары, тот погибает. Тот, кто ждет, когда на него нападут, — погибает. Тот, кто не опережает противника в обширности военного замысла, — погибает. Я хочу вас убедить в том, что мой план разумен и неизбежен. Пять человек из сидящих здесь (исключая Корвина) богаты и мужественны. Но вот завтра эскадра германских воздушных крейсеров бросит на Париж тысячу ипритовых бомб, и через сутки весь земной шар окутается смертоносными облаками. Тогда я не поставлю ни одного цента за прочность стальных касс — ни моей, ни ваших. Теперь даже детям известно, что вслед за войной тащится революция.

При этом слове четверо из сидящих за столом вынули сигары и усмехнулись. Инженер Корвин не отрываясь глядел матовыми невидящими глазами в длинное, как в изогнутом зеркале, лицо Игнатия Руфа.

— ...Несмотря на эту опасность, немало находится джентльменов, которые считают войну основным потребителем промышленного рынка. Эти джентльмены — шакалы. Они трусливы. Но есть другие джентльмены: они видят в войне неизбежного разрядителя промышлен-

ного кризиса, в своем роде пульсирующее сердце мира, которое периодическими толчками гонит фабрикаты по артериям рынков. Эти джентльмены очень опасны, так как они консервативны, упрямы и политически могущественны. Покуда они стоят, непосредственно или через рабочие правительства, на руле государственного корабля, мы ни одной ночи не можем спать спокойно. Мы всегда на волосок от промышленного кризиса, от войны и революции. Итак, мы должны вырвать инициативу из рук консервативно мыслящей промышленной буржуазии. Эти джентльмены, рассуждающие, как лавочники эпохи франко-прусской войны, эти допотопные буржуа, эти собственные гробокопатели должны быть уничтожены. Мы должны овладеть мировым промышленным капиталом. Покуда коммунисты только еще мобилизуют силы, мы неожиданным ударом бросимся на буржуазию и овладеем твердынями промышленности и политической власти. А тогда мы легко свернем шею и революции. Если мы так не поступим — в спешном, в молниеносном порядке, — лавочники не позже апреля будущего года заварят химическую войну. Вот копия секретного циркуляра, написанного в Вашингтоне, — о скупке за океаном всех запасов индиго. Как вам известно, из индиго готовится *горчичный газ*...

Инженер Корвин вынул из портфеля бумагу. Игнатий Руф положил ее на стол, прикрыл ладонью. На лбу его надулась поперечная жила, углы прямого рта опущены, розовое лицо приняло выражение решительности и свирепости.

— ...Идея нашего наступления такова: мы должны *поразить мир невиданным и нестерпимым ужасом*...

Четверо сидящих за столом опять вынули сигары, но на этот раз не усмехнулись. Глаза инженера Корвина медленно мигнули. Игнатий Руф сильно потянул воздух ноздрями.

— ...Мы должны произвести столбняк, временный паралич человечества. Острие ужаса мы направим на биржу. В несколько дней мы обесценим все ценности. Мы скупим их за гроши. Когда через семь дней наши враги опомнятся — будет уже поздно. И тогда мы выпустим манифест о вечном мире и о конце революции на земле.

Игнатий Руф взял бокал шампанского и сейчас же поставил обратно. Рука его несколько дрожала.

— ...Каким же способом мы достигнем нужного эффекта— мирового ужаса? Сэр,— он грузно повернулся к инженеру Корвину,— покажите ваши чертежи.

Покуда в рубке происходил этот странный разговор, солнце опустилось за помрачневший край океана. Рулевой, следуя данному еще на берегу приказанию, повернул к югу.

«Фламинго», выбрав гроты и штурмовые кливера, весело летела под сильным креном, то зарываясь до палубы между черными волнами, то сильно и упруго взлетая и встряхиваясь на их гребнях. Доброе было судно.

Пена в свету иллюминаторов кипела, стремительно уносясь вдоль бортов его. За кормой оставалась волнующаяся голубоватая дорога морского свечения. В темноте вспыхивали гребни волн этим холодноватым светом.

Рулевой, швед, навалился грудью на медный штурвал. Ветром выдуло искры у него из трубки. Ветер крепчал. Пришлось «взять рифы» и убрать марсея. Матросы побежали по вантам и, скручивая паруса, раскачивались на мачтах, как грачи в непогоду.

За океаном поднималась луна — медным огромным шаром выплывала из тусклого сияния. Свет ее посеребрил паруса. Тогда на палубу вышли Игнатий Руф и пятеро его гостей. Они остановились у правого борта, подняли бинокли и глядели, все шестеро, на лунный шар, висящий над измятой пустыней океана.

Рулевой, с изумлением следивший за этим праздным занятием, которому предалась столь почтенные и деловые джентльмены, услышал резкий голос Игнатия Руфа:

— Я отлично различаю это в бинокль. Ошибки быть не может...

.....

В третьем часу ночи был разбужен кок: в рубку потребовали холодной еды и горячего грога. Гости все еще продолжали разговаривать. Затем, перед рассветом, шесть человек опять смотрели на лунный шар, плывший уже высоко между бледных звезд.

На следующий день Игнатий Руф и четверо его гостей отдыхали в парусиновых шезлонгах на палубе. Ин-

женер Корвин ходил от носа до кормы и хрустел пальцами. День прошел в молчании.

Наутро из-за края океана, из солнечной чешуи, поднялся островок. Игнатий Руф и гости молча глядели на его скалистые очертания. Корвин стоял в стороне, скромный, молчаливый и бледный.

«Фламинго» вошла в серпообразную бухту, бросила якорь и спустила гостей в шлюпку, полетевшую по зеленоватой, прозрачной, как воздух, воде лагуны. Ленивая волна выбросила ее на песчаный берег.

Здесь между осколков базальта покачивались тонкие стволы кокосовых пальм, за ними весь склон был покрыт вековым буковым лесом, дальше возвышалась отвесная гряда скал. Игнатий Руф указал на них рукой, и он и гости пошли по недавно проложенной просеке в глубь острова.

— Я заарендовал остров на двадцать пять лет с правом экстерриториальности,— сказал Игнатий Руф.— Здесь достаточное количество пресной воды и строительного материала. Мастерские мы построим в горах. Эти горы образуют правильное кольцо, окружая остатки потухшего вулкана. Его кратер,— полтора километра в диаметре,— превосходное место для сборки аппаратов. Придется лишь очистить от камней дно,— лучшей площадки нельзя придумать. Части аппаратов заказаны на заводах Америки и Старого Света. Пароходы заарендованы и частью уже грузятся. Если сегодня мы подпишем договор — с будущей недели работа пойдет полным ходом.

Просека подвела к плоскому озеру пресной воды. На берегу стояли дощатые новенькие бараки. У одной двери сидел на корточках китаец-рабочий и курил длинную трубку, другой мыл белье в озере. Вдалеке слышался стук о деревья многих топоров. Между скал карабкалась вереница осликов, навьюченных мешками с цементом. Инженер Корвин объяснил, что сейчас идет прокладка дорог и установка фундаментов для мастерских. Он указал тростью на седловины в горах, где можно было различить ползающие человеческие фигурки.

Гости,— четверо крупнейших промышленников, друзья Игнатия Руфа,— со сдержанным волнением слушали объяснения инженера. Подбородки их каменели. Вчераш-

ний фантастический план, предложенный Игнатием Руфом, сегодня казался твердым предприятием, рискованным, но дьявольски дерзким. Вид работ в горах, самый массив гор, принадлежащих Игнатию Руфу, его уверенность, точные объяснения инженера, реальность всего этого острова, залитого пылающим солнцем, шумящего волнами прибоя и вершинами пальм, даже китаец, мирно полощущий белье,— все это казалось убедительным. И, кроме того, было ясно, что Игнатий Руф не отступится от дела и пойдет на него даже один.

Промышленники вошли в пустой барак и долго совещались, Игнатий Руф в это время сидел на пне и бросал в озеро камешки. Когда компаньоны вернулись к нему из барака, вытирая платками черепа и затылки, он дико взглянул в их багровые лица, огромная челюсть его отвалилась.

— Мы идем с вами до конца,— сказали они,— мы решили подписать договор.

2

Люди, которым платят деньги за то, чтобы они совали нос туда, куда их не просят,— репортеры американских газет,— разнюхали о плавании «Фламинго», о контрактованных Игнатием Руфом пароходах, о работах на острове и начали запускать сенсации.

Все эти газетные заметки вертелись вокруг любопытнейшей тайны — трех длинных ящиков, погруженных на «Фламинго». «Тайна трех ящиков». «Таинственные ящики Игнатия Руфа». «В ближайшую пятницу наша газета ответит на волнующий весь мир вопрос: что было в ящиках на «Фламинго». Собачьи носы журналистов попали на верный след: содержимое ящиков представлялось ключом к разгадке грандиозных и непонятных работ, начатых на острове Руфа.

Матрос из команды «Фламинго» рассказал репортерам, что в день прибытия яхты на остров ящики были выгружены и на ослах увезены в горы, куда направились также Игнатий Руф и его гости. Но вот что было странно: в горах джентльмены оставались всю ночь, днем вернулись на яхту, выспались, а на вторую ночь и

на третью снова уезжали на ослах в сторону потухшего кратера.

Захудалая газетка, которой нечего было терять, выпустила экстренный номер:

«Тайна раскрыта. В ящиках Руфа были упакованы три чудовищно обезображенные трупы танцовщиц из нью-йоркского Мюзик-Холл-Хаус».

Ураган статей, телеграмм, заметок пронесся по американской прессе. В редакциях фотографировали местных дактилографисток и печатали их портреты под видом жертв таинственного преступления.

Другая ничего не теряющая газетка решительно выступила против версии о танцовщицах. Она опубликовала снимок с трупов трех агентов Коминтерна, замученных и убитых членами ку-клукс-клана. Три еврея, потерпевшие аварию на житейском океане, дали себя снять для этой цели в ящиках из-под канадских яиц.

Киносиндикат спешно подремонтировал старую итальянскую ленту из быта кровавой Каморры. Чарли Чаплин, уступая давлению злободневности, выступил в сильно комической картине: «Чарли боится длинных ящиков». В конце «недели о ящиках Руфа» произошли грандиозные митинги. В Филадельфии линчевали двух негров.

Но Игнатий Руф вернулся на материк и не был арестован. Во всех газетах появились его портреты и краткая биография. Вздор о трупах был решительно опровергнут. В ящиках находились всего-навсего астрономические инструменты. «Игнатий Руф,— сообщалось,— увлечен за последнее время астрономией и строит на острове Небесную лабораторию».

Так чья-то опытная рука привела в порядок газетную суматоху и направила ее по определенному руслу. Возбуждению в стране не давали улечься. Имя Игнатия Руфа снова начало подергиваться тайной. Писали о двадцатидюймовом гигантском рефракторе, установленном в горах на острове Руфа. Сообщалось о необычайной силе и чувствительности астрономических приборов.

Все это интересовало только обывателей. Биржа и финансовые круги оставались спокойными. При всей осторожности нельзя было отыскать ни малейшей связи между астрономией и экономикой. Хотя люди, близко

знавшие Руфа, недоумевали: каким это чудом человек, интересовавшийся только нефтью и химической промышленностью, начал вдруг шарить глазами по небу, где уже наверное не найдешь ни одного цента?

Так прошло около полугода. Игнатий Руф, наконец, нанес подготовленному общественному мнению первый удар.

3

От скал, острых, как хребет дракона, легли угольно-густые тени,— они тянулись вниз до середины кратера. Кое-где между расселинами поблескивали лунным светом стекла в бараках. Вырисовывались ажурные очертания железных мачт канатной дороги. Сухо трещали цикады. Бесшумно летала сова — обитательница горных щелей. Сюда едва доходил сонный шум океана.

На краю ровной площадки стоял инженер Корвин и глядел вниз, откуда слышалось тяжелое дыхание и хруст камешков. Это шел Игнатий Руф. Череп его был покрыт фуляром, жилет расстегнут. Он взобрался на площадку, отдышался и поднял голову к лунному диску.

Яркая луна, казалось, притягивала и воды океана, прорезанного сверкающей дорогой, и невероятные замыслы Руфа.

— В порядке? — спросил он и повернулся к приземистому каменному зданию. По шершавым стенам его скользили тени ящериц. Сквозь полукруглый купол высовывалась в небо огромная металлическая труба.

Инженер ответил, что все в порядке: новый рефрактор установлен и, движимый часовым механизмом, ползет вслед за луной. Увеличение чудовищное: различимы площади до квадратного километра.

— Я хочу это видеть,— сказал Руф.

Они вошли в темную обсерваторию. Руф сел на лешенку перед массивным окуляром. Корвин остановился у второго инструмента, привезенного некогда на «Фламинго». В тишине тикал часовой механизм. Корвин сказал:

— Объектив наведен на Море Дождей. Сядьте удобнее, без напряжения. Снимите колпачок со стекла.

Игнатий Руф приблизил глаз к медной трубке окуляра и сейчас же отдернул голову: ослепительный серебряный свет ударил ему в зрачки. Руф издал одобрительное мычание и опять потянулся к стеклу.

Застывая все поле зрения, лунная поверхность казалась такой близкой, что хотелось коснуться ее. Это была северная часть лунного шара — застывшая, пустынная равнина Моря Дождей. С северо-западной стороны Радужного Залива входили в нее последние отроги Лунных Альп. Далеко на юге лежали гигантские, таинственного происхождения, цирки Архимеда и Тимохариса.

— Вы видите, направо от кратера — борозда, с юга на север. Это так называемая Поперечная Альпийская Долина. Ширина ее около четырех километров и длина сто пятьдесят километров, — сказал Корвин. — Эта трещина произошла от удара большого мирового тела о лунную поверхность.

— Да, я вижу эту трещину, — проговорил Игнатий Руф.

— Теперь смотрите южнее. В области цирка Коперника находится система трещин. Они мелкие и извилистые, происхождение их иное. Вторая система трещин, Триснекера, — на запад от Океана Бурь. Третья — в области цирка Тихо. Всего обычно насчитывают триста сорок восемь трещин. Но в наш рефрактор за одну вчерашнюю ночь я насчитал их более трех тысяч.

— Вы уверены, что эти трещины не имеют отношения к горным образованиям?

— Да. Несомненно, они — позднейшего происхождения. Кроме того, они увеличиваются в длине, число их умножилось за полустолетие. В течение четырнадцати лунных дней видимая нам поверхность луны накаливается солнцем. Так как теперь там нет атмосферы, то жар достигает огромных температур. Затем солнце закатывается, и лунное полушарие погружается в четырнадцатидневную ночь, в эфирный холод, наступающий мгновенно после заката. Возьмите каменный шар, накалите его добела и бросьте в ледяную воду.

— Он треснет на мелкие куски, черт его возьми! — воскликнул Руф и долго еще затем дышал, у него билось сердце.

— Так же точно трескается лунный шар. В имеющиеся трещины попадает либо влага, еще оставшаяся на луне, либо углекислота. Затем, застывая, они значительно углубляют трещины.

— Они раздирают ее до самого центра...

— Да. Луна состоит из легких сравнительно материалов, не обладающих большой вязкостью. Рано или поздно планета должна распасться. Если в ней еще имеется раскаленное ядро — тем лучше: в случае слишком быстрого проникновения холода сквозь расширенные трещины оно взорвется, как бомба...

— Дай-то бог, дай-то бог,— прошептал Игнатий Руф. Он с жадностью осматривал изрытые впадинами и будто следами от лопнувших пузырей унылые пространства лунных равнин. Этот труп далекого мира будет брошен в свалку страстей, воль и честолюбий, сыграет решающую роль в задуманной игре!

С перегоревшим вздохом Руф оторвался от окуляра.

— Я нахожу необходимым привести сюда журналистов и показать им трещины, но нужно быть уверенным, что эта сволочь увидит только то, что им нужно увидеть, и не сунет носа в наши работы.

— Мы проведем их в обсерваторию ночью,— ответил Корвин,— собранные аппараты и все, что должно быть скрыто, мы поместим в лунную тень — она ложится до половины кратера.

Руф и Корвин снова вышли на площадку. Действительно, в этот час скалистые горы казались пустынными. Глубоко под ногами виднелся лишь хаос камней. Густая тень покрывала толевые крыши мастерских на дне кратера, склады материалов и «собранные аппараты».

Работы производились в величайшей тайне. Никто из работающих на острове не имел права отлучиться. Письма просматривались. Пароходы выгружались на открытом рейде, откуда материалы подавались по канатной дороге в горы. С борта ни один человек не спускался на берег.

— Очень хорошо,— сказал Игнатий Руф, раскуривая сигару.— На рассвете я отплываю на континент. Я сам привезу журналистов. Приготовьте нужные материалы для статей и ведите работы полным ходом. Помните,

если мы ошибемся в вычислениях,— полный разгром и гибель... На карту поставлены миллиарды долларов. Если провал, то...

Огонек сигары в его руке описал сложную восьмерку.

4

«Страшное открытие в обсерватории Игнатия Руфа»,— таков был заголовок статьи, которая 14 мая появилась во всех североамериканских газетах и в тот же день была передана по радио в Европу.

Обстоятельно и научно рассказывалось в этой статье о роковом приближении конца земного спутника. Процесс его растрескивания идет с ужасающей быстротой. За короткое время наблюдения в рефрактор Руфа на поверхности луны появилось несколько тысяч новых трещин. Распадения лунного шара возможно ожидать каждую минуту. «Мы не поручимся,— говорилось,— что завтра в ночь наши юные мечтательницы увидят вместо древней покровительницы влюбленных раскиданные по ночному небу осколки. Но мы будем все же надеяться, что бог по своему милосердию не допустит гибели нашего прекрасного мира — гибели, так как почти вероятно, что осколки будут притянуты землей...»

«...Согласно нашему взгляду на образование мира,— говорилось далее,— в свое время вблизи земной орбиты должны были обращаться, кроме луны, и другие массы довольно больших размеров. Часть их была притянута луной и упала на ее поверхность,— следы этих ужасных столкновений мы видим в виде лунных цирков. Другая часть столкнулась с землей. Последнее такое столкновение произошло в сравнительно недавние времена. Изменение климатов в геологические эпохи, в особенности существование тропической растительности в тех местах, где ныне область полярной ночи, указывают с несомненностью на то, что существовал второй спутник, упавший на землю в конце палеозойской эры и отклонивший земную ось. Наблюдаемые колебания полюсов — не что иное, как последние следы, оставшиеся от такого удара в форме постепенно замедляющихся движений земной оси по поверхности конуса. Ныне, быть

может, нам придется быть свидетелями окончательного осиротения земного шара среди небесных пространств...»

Статья произвела ожидаемое впечатление. Сердце человечества сделало перебой в этот день. Телеграф перепутал адресатов и содержание депеш, от чего случилось множество житейских неприятностей. Телефон превратился в сумасшедшую кашу номеров, и много телефонных барышень нервно заболело от бешеной ругани абонентов. Трамваи пошли не по тем линиям. Было множество задавленных всеми системами экипажей. Магазины закрылись, так как никто ничего не покупал в этот день, кроме общедоступных книг по астрономии.

Правительственные аппараты застопорились. Из многих тюрем бежали арестанты. Поезда уходили пустыми — и к счастью: за один этот памятный день двадцать процентов паровозов и поездного состава наехало друг на друга, свалилось под откосы. И, наконец, из страны проклятых большевиков раздалось (по радио) уже окончательно ни к селу ни к городу злорадное: «Ага... Дождались...»

Одним словом, в день 14 мая на всем земном шаре произошел неопиcуемый переполох. С ужасом, в испуге ждали ночи. Головы всех были задраны к звездному небу. Когда над крышами, над железными мостами, над шпилями колоколен, над гигантскими кранами заводов поднялась мирным и стареньким диском обыкновенная луна — пронесся вздох облегчения и разочарования. Стало даже помещански скучно.

Так несколько дней ждали гибели мира. Держали пари. Луна продолжала тихонько плыть по небу. Настроение улучшалось. На улицах стали продавать «карманные телескопы» и закопченные стекла. Огромным успехом пользовались булавки и броши с изображением луны, подмигивающей глазом. Газеты пестрели адресами хиромантов, точно предсказывающих «день, которого нужно бояться».

Мисс Сесиль Эспер, единственная дочь анилинового короля, появилась на банкете яхт-клуба в лунного цвета платье, в бесцветном ожерелье и в диадеме из лунных камней. Дамы ахнули. Владельцы домов готового платья ахнули. Великие портные и модные ювелиры ах-

нули. Лунный шелк и лунный камень объявлены были модой.

Писались стихи о луне. Выгонялись химическими составами голубые цветы. В шикарных ресторанах появилось даже лунное мороженое, чрезвычайно обременяющее желудок. Имя Игнатия Руфа облетело все земные широты. Но биржа, мудрая и осторожная, не ответила на эту суматоху колебанием ни на один цент.

5

Стеклянной равниной лежал бесцветный океан под косматым пылающим солнцем. От гор струилось марево. Поникла листва на деревьях. Высокие метелки пальм, казалось, предали себя зною — распустились в синегорячем небе. Трехмачтовый «Фламинго», как призрак, висел над прозрачной лагуной. Нестерпимо блестяли стальные канаты, по которым в воздухе, по направлению зубчатых скал, ползли вагонетки.

Остров казался пустынным. Но по ту сторону гор, в кратере, шла напряженная работа. Туда по белому шоссе, спугивая ящериц и змей, поднимался автомобиль. Правил Руф. Оборачиваясь к четверем своим компаньонам, задыхавшимся от жары, он говорил:

— Мы работаем теперь в четыре смены, и то рабочие едва выдерживают: вчера упало пятнадцать человек от солнечного удара. Кратер накаляется, как печь. Китайцы целыми толпами требуют расчета. Пришлось на перевалах поставить пулеметы. Еще хуже с американскими мастерами. Они грозят судом. Черт возьми, на острове нет ни женщин, ни развлечений. Я приказал выстроить кабак около ручья — еще хуже: за неделю выпито сто ящиков виски и ликеров. Инженер Корвин ходит на работы с заряженным револьвером. Завтра прибывает, наконец, пароход с проститутками. Я очень надеюсь, что это оздоровит остров.

Компаньоны посапывали, вытираясь платками. Эти две недели после опубликования знаменитой статьи вселили в них величайшую надежду и величайшую тревогу. Общественное мнение реагировало сильнее, чем ожидали. Биржа никак не ответила на удар. Работы

подвигались успешно, и пробные опыты удались, но все это стоило огромных денег, и, кроме того, Руф пренебрегал, видимо, уголовным законодательством.

На перевале открылся вид работ на дне кратера. Дымила труба электрической станции. Снопы света шли от стеклянных щитов солнцеприемников. Желтые и розовые клубы дыма резкими облаками возносились из-за черепичных крыш химической лаборатории. По узкоколейным путям двигались вагонетки с материалами и подъемные краны, похожие на виселицы. Под косыми навесами трещали пневматические пробойники, и воздух сокрушали металлические удары молотов. Среди свалок, бунтов железа и гор из бочек и мешков бродили голые люди в конусообразных шляпах.

В стороне, там, куда по ночам падала лунная тень, лежали рядами десятиметровой длины металлические яйца с многогранным острым бивнем на одном конце и широким раструбом на другом.

— Шестьдесят аппаратов уже готово, — сказал Игнатий Руф, указывая кивком головы на яйца, — их остается только зарядить. Мы должны довести число их до двухсот, хотя по расчетам хватило бы и половины. — Он пустил автомобиль по извилистой дороге вниз и через несколько минут остановился у приземистого здания из неотесанных камней. На плоской крыше его стояло два пулемета. Инженер Корвин подошел к автомобилю и, как всегда, без улыбки, молча приподнял тропический шлем.

— Джентльмены пожелали ознакомиться с готовыми аппаратами, — сказал Руф, — джентльмены хотят задать вам несколько технических вопросов.

Все вышли из машины и вслед за Корвином направились к аппаратам. Перебежавший дорогу голый китаец обернулся и оскалил желтые зубы. Трое белых рабочих неподалеку начали было рычать, поводя плечами, но Корвин взглянул на них темным взором, и они, ворча, отошли.

Аппараты лежали каждый в конце подъездного рельсового пути, который вел в центр кратера, к бетонной площадке с установленным на ней металлическим наклонным диском. Инженер Корвин, чертя тростью

на песке, постукивая ею по заклепкам стальных яиц, говорил:

— Впервые подобный снаряд, приспособленный для двоих пассажиров, был построен в Петрограде в тысяча девятьсот двадцать первом году инженером Лосем. Он покрыл на нем пятьдесят миллионов километров междупланетного пространства и возвратился на землю. К сожалению, чертежи его пропали. Второй аппарат, начиненный сильно дымящим веществом, был отправлен три года тому назад из Южной Америки на луну и достиг ее поверхности. Принцип весьма прост. Это — ракета. Внутри яйца — камера с запасом ультралиддита. Здесь, — Корвин указал на цилиндрический хвост яйца, — ряд отверстий, куда устремляются газы взрывающегося постепенно, частями, ультралиддита. В верхней части, там, где инженер Лось устраивал жилую камеру, мы помещаем пять тонн нитронафталина. Ужасающая взрывчатая сила этого вещества вам известна. Затем, — он ударил тростью о литые грани пирамидального бивня на другом конце яйца, — это бронебойная головка. Она из сибирской молибденовой стали. Если предположить, что снаряд подойдет к поверхности луны со скоростью пятидесяти километров в секунду, то при ударе он должен проникнуть в лунную почву на чрезвычайную глубину.

Промышленники, плотно упираясь ногами в землю, слушали. Один из них, низенький, тучный, с крючковатым носом, сказал:

— Все-таки как же, черт его возьми, оно полетит?

— Так же, как ракета: толкающим действием газов, образующихся при длительном взрыве, — ответил Корвин. — При поднятии ракеты воздух не участвует в действии, он лишь тормозит скорость. В безвоздушном пространстве ракета летит, по закону свободно движущихся тел, с постоянным ускорением. Теоретически ее скорость должна достичь предела, то есть скорости света. Но при больших скоростях вокруг тела развиваются магнитные поля, которые могут даже остановить тело в пространстве. Этих магнитных влияний особенно боялся инженер Лось, хотя ему удалось достичь скорости в тысячу километров в секунду.

Тогда второй из промышленников, метис, мрачный и свирепый, сказал:

— Двести снарядов! Но этого мало, чтобы взорвать проклятую луну! Мы ее только исковыряем.

— Снаряды попадут математически все в одну точку,— ответил Корвин,— каждый, войдя в сферу притяжения луны, получит направление к ее центру, даже если бы мы отправили их с различных точек земной поверхности. По моим расчетам, снаряды упадут в область Океана Бурь. Один за другим, через промежутки в семь — десять минут, они будут вонзаться в глубь лунного шара. Мы будем долбить его как бы чудовищным долотом. И с каждым снарядом — взрыв пяти тонн нитронафталина. Я бы не хотел в это время там курить мою трубку.

Эта тонкая шутка была принята снисходительными улыбками. Третий из промышленников сказал, впившись ногтями в подбородок:

— Очень хорошо. Но мы знаем по опыту европейской войны, что ядра даже самых больших пушек делали ничтожные воронки. А ведь нам нужно разломать шар величиной всего лишь в тридцать с половиной раз меньше земного.

— Живая сила ядра большого морского орудия равна приблизительно десяти миллионам килограммов,— ответил Корвин.— Если принять вес нашего яйца за десять тонн и скорость в пятьдесят километров в секунду, то живая сила, то есть давление при ударе нашего яйца о поверхность луны, выразится в семьдесят пять триллионов килограммов. Я боюсь одного: что снаряды станут пронизывать луну, как лист картона.

Промышленники плотно поджали губы. Четвертый, маленький, в очках, похожий на старого сверчка, пристально стал смотреть на Корвина седыми глазами:

— Я хотел задать существенный вопрос, сэр,— прокрипел он высоким голосом,— мы собираемся устроить «неделю ужаса», иными словами — одурачить умнейших и хитрейших людей во всем мире, сэр... Но среди нас возникло сомнение: а что, если мы ошибаемся? А что, если эта шутка с луной превратится в серьезную опасность? Мы заработаем, но луна шлепнется на землю, сэр... Вы уверены, что она не шлепнется, сэр?

Инженер Корвин молчал. Под сухой смуглой кожей его на скулах двигались желваки.

— Очень хорошо,— сказал он коротко,— на это я вам отвечу через час.

6

В рубке «Фламинго» в конце обеда, когда подали кофе и ликеры, инженер Корвин отодвинул несколько свой стул, положил на острое колено листок бумаги, испи- санный математическими формулами, и начал говорить:

— Луна — так же как Земля, так же как все планеты нашей системы, как пояс астероидов, кометы и потоки падающих звезд — образовалась из гигантского кольца, некогда вращавшегося вокруг солнца. Части кольца распались, уплотнились, образовали пылающие миры — небольшие солнца.

Вокруг каждого из этих миров в свою очередь стало вращаться кольцо раскаленной, но хладеющей материи, подобно кольцу Сатурна, последнего остатка этого почти закончившегося процесса.

Маленькое светило — Земля — также было охвачено системой колец, вращающихся с различной скоростью. По мере охлаждения кольца разрывались, части их уплотнялись, образуя малые планеты, или небесные тела. Самым крупным из таких тел была Луна; она притягивала близко проносящиеся массы, они падали и поддерживали ее в раскаленно-жидком состоянии.

То же происходило и с Землей. Она втягивала в сферу своего притяжения остатки разорванного кольца и,— может быть, не раз уже потухнув,— под действием этих чудовищных ударов снова и снова вспыхивала звездой.

Понемногу процесс собирания материи окончился. Близ Земли оставались еще два свободные мира — Луна и второй, упавший во времена палеозойской эры, спутник. Земля овладевала их движениями силой тяготения. Оба тела постепенно падали по спиральной кривой на Землю.

Луна, еще жидкая, вращалась вокруг своей оси. Но при каждом обороте под действием земного притяжения по ней пробегала огромная волна прилива — судорога умирающего, попадающего в плен мира. Вращение Лу-

ны тормозилось этими приливами, замедлялось. Луна принимала форму яйца, обращенного толстым концом к Земле.

Наконец ее вращение вокруг оси прекратилось, и она застыла и стала спутником Земли, подойдя к ней на расстояние трехсот восьмидесяти четырех тысяч километров. Так как скорость Луны равна одному километру в секунду,— я беру цифры приблизительно,— то,

по закону Ньютона, $x = \frac{v^2}{2r}$, *икс*, то есть величина, на

которую каждую секунду Луна приближается к Земле, падает на Землю, равна одному и трем десятым миллиметра. Но напряжение силы тяжести на расстоянии Луны также равно одному и трем десятым миллиметра. Таким образом, согласно закону мирового тяготения, Луна кажется вполне уравновешенным телом. И это было бы, если бы Земля и Луна представляли математические тела в идеальном пространстве.

Но закон Ньютона требует поправок: в формуле

$$x = \frac{v^2}{2r}$$

отброшен квадрат одной малой величины, который является роковым для судьбы Земли. Принимая эту поправку, принимая затем влияние лунного притяжения на воды земных океанов — приливы — и вызываемое ими замедление движения самой Земли, Ч. Дарвин показал, что Луна приближается к Земле, стремясь войти с ней в твердую связь, то есть, согласно третьему закону Кеплера, приблизиться настолько, чтобы время ее обращения вокруг Земли было равно земному дню. Только тогда, как бы скрепленные невидимыми связями, оба тела установят между собою полное равновесие.

Но и этот закон — чисто математический; влияние тяготения кометы Биелы, увеличение плотности земного ядра, возмущение магнитных полей под влиянием солнечных пятен, затем вторая поправка закона Ньютона приводят нас к выводу, что оба тела должны окончательно сблизиться.

Инженер Корвин оглядел собеседников, затаивших дыхание. Его щеки порозовели, на всегда жестких губах неожиданно легла усмешка.

— Пятьдесят тысяч лет, в худшем случае, отделяют нас от последнего часа Земли. (Игнатий Руф и четверо его компаньонов свободно выдохнули воздух, вытерли черепа, налили золотые, зеленые, розовые ликеры в рюмочки.) Падение лунного шара на Землю вызовет выделение такого громадного количества тепла, что обе планеты вспыхнут, расплавятся и сольются в новое тело. И, быть может, вторичная жизнь, которая возникнет на новой Земле, увеличенной в размерах и обогащенной пожаром, будет лучше нашей. В это я также верю. Вот вам все данные. Что же касается нашего предприятия, то мы действительно несколько приблизим срок падения осколков Луны на Землю...

— То есть мы это именно и желаем от вас услышать: на какой приблизительно срок...

— Я подсчитал: тысяч на десять лет...

— Во всяком случае, сорок тысяч лет в нашем распоряжении! — громогласно крикнул Игнатий Руф и в первый раз за все течение этого рассказа рассмеялся, откидывая преувеличенно большую челюсть.

7

Руф и его компаньоны остались удовлетворенными объяснениями инженера. В тот же день, 26 мая, были пересмотрены и утверждены списки фабрик, транспортных компаний, нефтяных приисков и химических заводов, которыми решено было овладеть в «неделю ужаса».

Во все страны света были посланы агенты — вести переговоры с намеченными в списке предприятиями. Переговоры были маской. «Союз пяти», подготавливая ограбление целого мира, осторожно и тщательно исследовал состояние биржи и рынка: открывал онкольные счета, сажал на места своих маклеров, перекупал газеты и основывал новые, раздавал чудовищные авансы ученым-популяризаторам и писателям, обладающим хотя бы каплей фантазии.

На книжный рынок полились потоки астрономических рассказов, утопий, мрачной мистики, апокалиптических поэм. В Швейцарии возродилась теософская община. Члены ее разъезжали по городам, говорили

о наступающем дне страшного суда и учреждали ложи борьбы с антихристом.

В конце июля вышла небольшая заминка: по обыкновению, в это время года с Балкан потянуло трупным запахом, пошли тревожные слухи, и истерическая стрелка биржевого барометра подвинулась к «буре».

Тогда Игнатий Руф бросился в Европу, как кабан в тростники. Он устроил заем Италии. Свалил в Югославии министерство. С чудовищной ловкостью, нажимая тайные пружины, созвал конференцию Малой Антанты. Надавал приятных обещаний Германскому союзу. Опубликовал поддельный документ Московского революционного совета, чем вызвал в Польше бешеный взрыв ненависти и отвлек ее внимание от дел на Балканах.

В какие-нибудь пять недель он предотвратил очередную опасность войны и вернулся на воздушном корабле в Нью-Йорк. Тогда появилась во всех газетах вторая статья за подписью астронома Ликской обсерватории.

Возвращение кометы Биелы.

«Как известно, ежегодно 30 ноября земля проходит через орбиту кометы Биелы. Об этом свидетельствуют потоки падающих звезд — малых небесных тел, разброшенных по всему пути кометы. Каждые двадцать три года Биела проходит близко от земли, почти в точке пересечения орбит. Тогда звездные потоки, выходя из созвездия Льва, огненной метлой раскидываются по всему небу и представляют восхитительное зрелище.

Известен в истории случай, когда в 1783 году, вследствие неточности вычисления, ожидали столкновения земли с Биелой. Людей охватил ужас. В Париже были случаи смерти от страха. Недостойные представители духовенства, предлагая за хорошие деньги полное отпущение грехов, недурно обделывали свои дела. Великий геометр Лаплас писал в то время:

«...Действие подобного столкновения нетрудно себе представить: положение оси и характер вращения земли должны измениться, море покинуло бы свое теперешнее лоно и устремилось бы к новому экватору, люди и животные погибли бы в этом всемирном потопе, все народы были бы уничтожены, все памятники человеческого ума разрушены...»

Но столкновения не произошло и не могло произойти, так как земля *опаздывает на несколько часов* в точку пересечения орбит и настигает только хвост кометы в виде потоков падающих звезд.

Столкновение, однако же, возможно, но лишь тогда, когда прохождение кометы через перигелий, то есть ближайшую к солнцу точку ее орбиты, придется на 28 ноября. Подобный случай бывает только раз в 2500 лет. *Нынешний 1933 год как раз является этим годом.*

Но опасаться, как это было раньше, нам нет основания. Масса головы кометы слишком ничтожна и разрежена, чтобы наделать нам бед, воздушная оболочка земли — слишком надежная броня. Быть может, пронесутся магнитные бури, и мы будем свидетелями великолепнейшего из мировых фейерверков.

По-другому ожидаемое столкновение может отозваться на нашем спутнике. Луна не защищена атмосферой. Шар ее прорезан трещинами. Бомбардировка луны метеорами Биелы начнется 29 ноября. На этот раз мы с уверенностью не поручимся за благополучную судьбу нашего спутника».

Статья произвела нужное впечатление. В Вашингтоне был сделан парламентский запрос о «безответственной лунной литературе». Игнатий Руф понял, что биржа на этот раз клюнула. И действительно, биржевые ценности испытали ничем не обоснованное колебание вниз и вверх и повисли в неустойчивом равновесии.

Наступило время решительных действий.

8

Утром 28 ноября Игнатий Руф прибыл на стопятидесятитонной моторной полуподводной лодке в бухту острова и, не сходя на берег, передал инженеру Корвину приказ от «Союза пяти» начать сегодня же в ночь бомбардировку лунного шара.

Затем лодка стала на внешнем рейде и опустилась так, что над волнами виднелась только овальная коробка капитанского мостика с задраенными люками.

Дул сильный ветер порывами. Низко летели тучи над мрачным морем. Кипели буруны, и океанские вол-

ны разбивались о скалы острова. Дождь, не переставая, лил. Вдали в горах пенились водопады.

Игнатий Руф стоял один в рубке, поглядывая сквозь заливаемый зелеными волнами иллюминатор на мотающиеся общипанные пальмы, на тускнеющие облака, которые рвались и крутились среди скал над кратером. Наступал вечер. Снизу, из лодки, погруженной в воду, доносились голоса механиков, не подозревающих дурного.

Руф близко к глазам поднес хронометр. Сейчас же вытер рукавом потеющее стекло иллюминатора. Теперь он слушал, как медленно бьется сердце. Тридцать секунд оставалось до назначенного срока.

От качки ли, от масляно-жаркого воздуха закупоренной лодки, от переутомления последних дней — в тридцать этих последних секунд Игнатий Руф почувствовал такой внезапный разлад с самим собой, что это почти превысило его душевные силы. Горло было схвачено железной спазмой. Тучное тело ослабло, он привалился к железной обшивке. В тридцать секунд — он это понял — он не успеет спуститься в каюту и по радио приказать инженеру Корвину оставить безумное, непомерное, чудовищное предприятие...

И вот наискосок из-за скал, — он увидел это только на мгновение сквозь иллюминатор, — скользнула в равные облака овальная тень... Красноватый след от нее погас в небе.

Игнатий Руф налег всею тяжестью на бронзовый анкер люка, отвинтил, откинул его и до пояса высунулся из лодки. В лицо хлестнула волна, и ветер, танцуя по пенным гребням, засвистел у него между крахмальным воротником и ушами. В сумерках слышался только тяжелый грохот прибоя.

Затем ахнуло, раскатилось где-то в горах и затарактакало... Чаще, проворнее... Громовые удары слились в рев чудовищной сирены, и, шипя, из-за зубчатых скал метнулся в небо второй снаряд.

Игнатий Руф потряс над седой головой кулаками и вне себя закричал:

— Гип, гип, ура!

Но голос его потерялся среди шума волн и ветра, как писк комара.

Тем временем на дне кратера, где раскачивались на столбах электрические фонари и тени от клубов желтого дыма и отдвигающихся кранов мотались по скалам, инженер Корвин распоряжался отправкой междупланетных снарядов. Лицо его покрывала свинным рылом противогазовая маска. Несколько десятков отборных рабочих, также в противогазах, одни зацепляли крючком подъемного крана стальное яйцо, другие подвели похожий на виселицу кран с висящим яйцом к полетной площадке, третьи осторожно опускали снаряд, жерлом вниз, на стальной, слегка наклоненный диск площадки и спешили отойти дальше.

Инженер Корвин приближался к стоящему дыбом яйцу, поворачивал массивные винты диска, ставя его на нужный угол, и ломал взрывной капсуль... Секунду сыпались искры, затем раздавался громopodobный удар, гигантское яйцо подскакивало на несколько метров в воздух и там, крутясь, как бы начинало бороться, не взлетая и не падая, все учащеннее стреляя и взрываясь,— еще секунда, и, подхваченное ураганом взрывов, оно взвивалось тяжело,— шипящий след от него исчезал за тучами...

Так, один за другим, через промежутки в две-три минуты, снаряды уносились в междупланетное пространство.

Густой и едкий дым наполнял кратер. Настала ночь, а было отправлено всего еще только шестьдесят яиц. Люди изнемогали. Один, другой, шатаясь, брели к ручью, чтобы опустить вспухшую голову в воду. Другие брали из разбитых ящиков бутылки и, отшибив горлышко, глотали водку.

Корвин торопил, подбегая к изнемогающим, выхватывал из кармана пачки долларовых бумажек, обещал огромную премию за каждое отправленное яйцо. В последующий час удалось послать двадцать пять яиц. Но затем несколько человек содрали с себя маски и упали, задыхаясь. Одно из яиц, подведенное к диску, сорвалось с крана и откатилось. В ужасе все легли. Но инженер вскочил на клепаную обшивку снаряда и написал на нем мелом: «Отправка — полторы минуты — 1000 долларов».

Бурный дождь, пролившийся над кратером, освежил ненадолго воздух, и число «разрушителей луны» перевалило за сотню. Во втором часу ночи дождевые тучи разорвались на мгновение, и появился лунный диск. Он был ослепительно ярк.

В эту ночь население острова — с лишком четыре тысячи рабочих — было удалено от места работ в бараки на побережье. Люди стояли в темноте толпами. Глядели на извивающиеся из кратера огненные хвосты ракет. Никто не знал, для чего строились эти снаряды и куда улетали они в эту бурную ночь. Чувствовали только, что делается недоброе дело.

Суеверные шептали молитвы. Озлобленные сговаривались опубликовать в газетах, — как только получат свободу и вернутся на материк, — все беззакония и преступления, совершенные на проклятом острове. Трусливые прятались между приморских скал, затыкали уши, когда нестерпимый вой снаряда заглушал грохот прибора и шум толпы. Немногие из сознательных говорили между собой, мрачно и злобно, что снаряды бомбардируют в эту ночь через Атлантический океан города Советских республик.

В середине ночи зажгли кое-где костры и варили еду. Многие радовались концу томительных работ и хорошим деньгам, которые они привезут домой, на родину.

А в это время на юго-западе, над океаном, из-под низу туч, идущих грядями, начал разливаться кроваво-красный, неземной свет. Это хвостом вперед из эфирной ночи над землей восходила комета Биела.

10

Игнатий Руф, как это ни странно, крепко заснул в железной капитанской рубке. Разбудил его резкий удар над головой по обшивке. Он прислонил большое лицо к иллюминатору и увидел на странно освещенных волнах танцующую шлюпку; в ней стоял человек и размахивал веслом.

Руф откинул люк. Человек выскочил из шлюпки, проскользнул сквозь люк, сел рядом с Игнатием Руфом и одними губами проговорил:

— Немедленно!.. Полный ход в открытое море!

Это был инженер Корвин. Он взял из ящика сигару и чиркнул спичкой. Платье его было прожжено, руки, шея, лицо, кроме белого кружка — следов маски, — черно, обуглено. Когда лодка, гудя от мощи моторов, двинулась на северо-восток от острова, Руф вполголоса спросил:

— Дело сделано?

— Нет еще, не все сделано. — У инженера так сверкали глаза, что Руф отвернулся.

— Что же еще осталось?

— Успокойтесь, осталось то, чего через десять минут не останется.

— Я не понимаю, Корвин.

— Врете, Руф.

Задрожавшая челюсть у Игнатия Руфа начала отваливаться. В неясном свете кометы лицо его казалось синевато-бледным. Корвин сказал отрывисто, с омерзением:

— Имейте мужество признать, что вы этого хотели, об этом постоянно мне намекали и сейчас этого ждете.

— Остров?

— Да! Со всеми обитателями. Со всеми следами преступления...

Корвин быстро взглянул на часы, кинулся к капитанскому рупору.

— Алло! Полный, самый полный, до отказа! — Он повалился на кожаную банкетку и закрыл глаза. Руф, сутулясь, глядел в иллюминатор. Мрачен и дик был океан, изрытый бурей, озаренный сиянием кометы, раскинутой петушьим хвостом на полнеба.

— Средства достигнут луны завтра в полночь, — сказал Корвин, — готовьте бумажник.

Вдруг Руф попятился и сел на пол. На юго-западе, на том месте, где лежал остров, из океана поднялся огромный косматый столб праха. Зеленоватые молнии быстро прорезали его во всех направлениях. Блеснул ослепительный свет.

Через минуту лодку ударило тяжестью воздуха. Раздались громовые раскаты. Большая волна покрыла капитанский мостик.

Третью ночь население большого города собиралось весело встречать восхождение кометы Биелы. Где-нибудь в деревенской глуши или в степях среди остатков кочевников люди трепетали и молились, служили в стареньких церквах милостивые молебны или садились в круг слушать колдунов и шаманов, потрясающих бубном навстречу огненным перьям кометного хвоста. Африканские негры устраивали пляски и били в тамтамы. Желтолицые мудрецы на плоскогорьях Памира вычисляли им одним важные сроки судеб и улыбались улыбкой Будды потокам падающих звезд. Дети и животные были охвачены тоской. Но в больших городах играли всю ночь оркестры. Под открытым небом, среди столиков и осенних цветов, в полутьме потушенных улиц смеялись нарядные женщины, пелись злободневные песенки о комете, о луне, об Игнатии Руфе, пугающем весь свет.

Едва только закатилось солнце, по небу из точки — из созвездия Андромеды — помчались стремительные линии падающих звезд. Их, как угли, словно швыряла чья-то рука. Они неслись к зениту и исчезали. Иные устремлялись к земле, вспыхивали зеленоватым светом и рассыпались в хлопья. Казалось — в высоте бушует огненная метель. Отсветы ее играли в бокалах с вином, в изумленных, смеющихся, взволнованных глазах, в драгоценностях на непокрытых волосах женщин.

Часов около десяти по улицам побежали газетчики. «Небывалая катастрофа в Тихом океане. Гибель острова Руфа со всеми обитателями».

Это известие придало еще больше остроты дивному и жуткому зрелищу. Многие и многие в первый раз сегодня глядели на седые созвездия. Оркестры играли похоронный марш Шопена. Над головой беззвучно бушевала метель небесных тел. На облетевших аллеях бульваров, в скверах, где пахло вянущими листьями, на чисто подметенных улицах и площадях мужчины в вечерних цилиндрах и женщины в мехах, веющих духами, испытывали острое и небывалое влечение.

С изумлением глаза вглядывались в глаза. Женские руки, плечи, видные сквозь приоткрытый мех, душистые волосы обещали, казалось, неиспытанное и головокру-

жительное наслаждение. И женщины глядели с нежностью и волнением на своих спутников. С переполненным сердцем откидывались в плетеных креслах, улыбались восходящему свету кометы. Легонький озноб неожиданно и всеми желанно-принятого влечения веял в эту ноябрьскую ночь на площади, полуосвещенной разноцветными абажурами лампочек на ресторанных столах.

Потоки звезд все гуще бороздили небо. Началось падение аэролитов. Извиваясь, как змеи, раскаляясь до ослепительно-зеленого цвета, они силились пробить воздушную броню земли и распадались в пыль. Их встречали криками, как борцов, идущих к финишу. Вот один, другой, третий аэролит устремились со страшной высоты прямо на площадь. Испуганно кое-где вскочили люди. Площадь затихла. Но, не долетев, разорвались воздушные камни, и только издалека громыхнул гром. Между столиками закрутились серпантинные ленты. Негритята-бои разносили корзины с фруктами.

И вот над крышами начал вставать сияющий хвост Биелы. Она возносилась все выше, раскидывалась все шире. Наконец появилась ее голова, похожая на тупую голову птицы. Оркестры заиграли туш. К небу поднялись руки с бокалами шампанского. Через двенадцать часов, по точнейшим вычислениям обсерваторий всего мира, Биела должна была пройти всего в тысяче километров над пустынной южной областью Великого океана. Ожидались бури, большие приливы, усиление деятельности вулканов и даже падение в океан крупных осколков, из которых составлен зыбкий окутанный раскаленными газами, головной шар кометы.

Все это было необычайно, красиво и волновало, в особенности женщин. Множество глупостей было сказано и еще больше наделано в эту ночь.

Неожиданно на площадь, в широкий проход между столиками, вылетел мотоциклет. Бестактно и нагло ослепительный луч его фонаря скользнул по глазам. Мотор стал. Седок в кожаном шлеме что-то хрипло прокричал. Закутался вонючим дымом, затрещал и вихрем унесся в боковую улицу.

Сейчас же засуетилось несколько человек. Что-то, видимо, произошло. Начался ропот. Возвысились тревожные голоса. Оркестры настойчиво замолкали. Всюду

вставали на стулья, вскакивали на столики. Зазвенело разбиваемое стекло. Вся площадь поднялась. Еще не понимали, не знали, из-за чего тревога. И вдруг среди глухого говора раздался низкий, дурной женский крик. В сотне мест ответили ему воплем. Пошли водовороты по толпе. И так же внезапно площадь затихла, перестала дышать.

Вдалеке, из-за безобразной островерхой башни восьмидесятиэтажного дома выплыла луна. Она была медного и мутного цвета. Она казалась больше обычного размером и вся словно окутана дымом. Самое страшное в ней было то, что диск ее колебался, подобно медузе.

Прошло много минут молчания. Стоявший на столе высокий тучный человек во фраке, в шелковом цилиндре набекрень, зашатался и повалился навзничь. После этого началось бегство, давка, дикие крики. Люди с поднятыми тростями насккивали на кучу мужчин и женщин и били по головам и плечам. Пролетели стулья в воздухе. Захлопали револьверные выстрелы.

Луна, это ясно теперь было видно, развалилась на несколько кусков. Комета Биела действовала на их неравные части, и они отделялись друг от друга. Это зрелище разбитого на осколки мира было так страшно, что в первые часы много людей сошло с ума — бросались с мостов в каналы, накладывали на себя руки, не в силах подавить ужаса.

Улицы осветились. Отряды полиции и войск заняли перекрестки и площади. Кареты скорой помощи подбирали раненых и убитых. В ту же ночь многие города были объявлены на военном положении. Вместо музыки и веселого смеха слышались грузные шаги идущих частей, колючие крики команды, удары прикладов о мостовую.

Игнатий Руф и инженер Корвин лежали в креслах салон-вагона специального поезда, мчавшегося по озаренным кометой прериям западных штатов. Оба курили сигары, глядели из темноты вагона на дымный, зыбкий разрушенный ими лунный шар. Время от времени Руф брал трубку радиотелефона, слушал, и рот его одним углом лез вверх. Инженер Корвин сказал:

— Когда я был ребенком, меня преследовал сон, будто я бросаю камешки в луну, — она висела совсем низко над поляной, — я не знал тогда, что этот сон означает преступление.

— Возьмите себя в руки, — сказал Руф, нахмурившись, — нам предстоит не спать несколько ночей, через неделю я даю вам отпуск на лечение.

12

«В ночь на 29-е Луна разбита кометой Биелой», «Пожар Луны», «Возможность падения Луны на Землю», «Выдержит ли земная атмосфера удары лунных осколков?» — таковы были заголовки газет от 30 ноября.

Из Ликской обсерватории сообщалось, что лунный шар распался на семь основных кусков и все они окутаны тучами пепла. Дальнейшая судьба Луны пока еще не определена. Телеграммы о бедах, которые на Земле натворила Биела, никем не читались. Приморские города, затопленные и унесенные в море огромной волной прилива, землетрясения, несколько населенных островов, уничтоженных аэролитами кометы, отклонение теплых течений — эти мелочи никого не интересовали. Луна! Последние доживаемые дни мира! Внезапная гибель человечества или — чудо, спасение? Вот о чем говорили, шептали, бормотали в телефоны в течение двенадцати часов 30 ноября. А ночью все окна, балконы и крыши были усажены жалкими, боящимися смерти людьми.

На улицах, куда запрещено было выходить с закатом солнца, разъезжали патрули велосипедистов, перекликались пикеты. Стояла небывалая тишина в городах, лишь кое-где с крыши доносился плач. Облака, закрывавшие луну, редели, и зрелище осколков, все еще собранных в неправильный, потускневший диск, наводило смертельную тоску.

В ночь на 1 декабря Руф созвал «Союз пяти». Подсчитали разницу, которую за истекший день дала биржевая игра на понижение. Суммы барыша оказались так чудовищно велики, что Руф и его компаньоны испытали чувство едкой радости. Действительно, паника на бирже перешла границы разума. В редакциях газет на-

бирались длинные колонки знаменитейших фамилий, объявленных банкротами.

Под утро стали поступать радио от маклеров из Европы, Азии и Австралии: коротко сообщалось о неопикуемой панике, о черном дне биржи, о гибели капиталистов, крахе банков, о самоубийствах денежных королей. Были и нехорошие известия о массовых помешательствах, о начавшихся пожарах в европейских столицах.

Неуважительное, беспомощное, детски-жалкое было в этой человеческой растерянности. Деньги, власть, уверенность в прочности экономического строя, в неизблемости социальных слоев, всемогущество — все то, к чему шел «Союз пяти», — во всем свете вдруг потеряло силу и обаяние. Миллиардер и уличная девка лезли на крышу и оттуда таращили глаза на расколотую луну. Неужели вид этого разбитого шара, не стоящего одного цента, способен лишить людей разума? Член «Союза пяти», старичок, похожий на старого сверчка, потирая сухие ладошки, повторял:

— Я ожидал борьбы, но не такой капитуляции. Прискорбно в мои годы стать мизантропом.

Инженер Корвин ответил ему на это:

— Подождите, мы всего еще не знаем.

На заседании «Союза пяти» было решено часть добытых миллиардов снова бросить на биржу, играя на этот раз на повышение, и начать скупку предприятий, обозначенных в списке 28 мая.

13

Игнатий Руф остановил автомобиль у подъезда многоэтажного универсального магазина и долго глядел на оживленную толпу женщин, мужчин, детей. Много ему начинало не нравиться, — за последнее время в городе появились дурные признаки, — и вот сейчас, всматриваясь в этих девушек, беспечно выбегающих из дверей «Торгового дома Робинсон и Робинсон», Руф захватил всей рукой подбородок, и на большом лице его легли морщины крайней тревоги.

Прошло три месяца со дня, когда лунный шар, многие тысячелетия служивший лишь для бредней поэтов,

был, наконец, использован с деловыми целями. За семь дней ужаса «Союз пяти» овладел двумя третями мирового капитала и двумя третями индустрии.

Победа далась легко, без сопротивления. «Союз пяти» увидел себя распорядителем и властелином полутора миллиардов людей.

Тогда им была передана в газеты крайне жизнерадостная статья «О сорока тысячах лет», в которых земля может спокойно и беспечно трудиться и развиваться, не боясь столкновений с останками луны.

Статья как будто произвела благоприятное впечатление. Крыши были покинуты созерцателями, открылись магазины, и понемногу снова заиграла музыка в ресторанах и скверах. Но какая-то едва заметная тень печали или рассеянности легла на человечество.

Напряженная озабоченность, борьба честолюбий, воля, железная хватка, дисциплина, порядок — весь обычный, удобный для управления организм большого города понемногу начал превращаться во что-то более мягкое, расплывающееся, трудно уловимое.

На улицах все больше можно было видеть без дела гуляющих людей. Тротуары и мостовые стали плохо подметаться, размножились уличные кофейни, иные магазины стояли по целым дням закрытые, к иным нельзя было протолкаться, — и в этой сутолоке, среди болтающих чепуху девчонок, встречали директоров банков, парламентских деятелей, солидных джентльменов.

В деловых кварталах города, где раньше не слышалось иной музыки, чем шум мотора, треск пишущей машинки да телефонные звонки, теперь с утра до утра на перекрестках играли маленькие оркестры, и лифтовые мальчишки, клерки, хорошенькие машинистки отплясывали шимми и фокстрот, и из окон деловых учреждений высовывались деловые люди и беспечно перекликались с танцующими.

Полиция, — это было уже совсем тревожно, — ничего не имела против беспорядка, благодушия и беспечного веселья на улицах. У полисменов торчали цветы в петлице, трубки в зубах; иной, подойдя к перекрестку, где на составленных столах бородатый еврей пиликал на скрипке, и багровый германец трубил в корнет-а-пи-

стон, и плясали растрепанные девушки, поглядев и крякнув, сам пускался в пляс.

В деловых учреждениях, на железных дорогах, на пароходах наблюдались те же беспечность и легкомыслие. Замечания встречались добродушными улыбками, нагоняй или расчет — грустным вздохом: «Ну, что ж поделаешь», — и не успеет человек выйти за дверь — слышишь, уже засвистал что-то веселенькое.

«Союз пяти» начинал чувствовать себя как бы окруженным мягкими перинами и подушками. Он усиливал строгости, но они никого не пугали. Он печатал приказы, декреты, громовые статьи, но газет никто больше не читал. А в то же время в кофейнях и на улицах, собирая толпу, какие-то юноши с открытыми шеями декламировали стихи туманного и тревожного содержания.

На заводах, фабриках, рудниках пока еще все обстояло благополучно, но уже чувствовалось замедление темпа работы, как будто система Тейлора стала размыкать стальные кольца... «Союз пяти» решил не медлить: в ближайшие дни произвести политический переворот, стать во главе правительства, объявить диктатуру и — пусть даже брызнет кровь — призвать человечество к порядку и дисциплине.

Игнатий Руф, вглядываясь внимательно в посетителей магазина, внезапно понял, что было необычайного в этой толпе веселых покупателей. Он вышел из автомобиля и стал в дверях. Все — мужчины и женщины — выносили свои покупки не завернутыми в бумагу. Перекинув через руку или набив ими карманы, они спокойно проходили мимо полицмена, добродушнейшего великана с цветком за ухом.

Игнатий Руф вместе с толпой продвинулся в магазин. На прилавках лежали горы материй, вещей, предметов роскоши. Мужчины и женщины рылись в них, брали то, что им нравилось, и уходили довольные. Магазин расхищался. У Игнатия Руфа стиснуло горло железной спазмой. Он тяжело шагнул к улыбающейся нежно-сероглазой, в шляпке набок, девушке и сказал громогласно, так, что слова его прокатились под гигантским куполом магазина:

— Сударыня, вы занимаетесь воровством.

Девушка сейчас же моргнула, поправила шляпку.

— Разве вы приезжий? — сказала она кротко. — Разве вы не знаете, что мы уже три месяца все берем даром?

Руф обвел кровавыми глазами шумную толпу расхитителей, крупный пот проступил у него на лице.

— Сумасшедшие! Город сошел с ума! Мир сошел с ума! — проговорил он в исступлении.

14

Пять тысяч суданских негров — огромных, зубастых, с гранатами за поясом и скорострельными двадцатифунтовыми ружьями на плече — без сопротивления прошли от вокзала до площади Парламента.

В середине наступающих колонн двигался открытый белый автомобиль. На замшевых подушках сидел Игнатий Руф в закрытом до шеи черном пальто и в черном цилиндре. В петлице мотала увядшей головкой белая роза.

Игнатий Руф оборачивал направо и налево бледное, страшное лицо, как бы ища ввалившимися глазами встревоженных толп народа, чтобы знаком руки в белой перчатке успокоить их. Но прохожие без изумления, будто видя все это во сне, скользили взглядом по тяжело идущим рядам суданских войск. В городе не было ни страха, ни возбуждения, никто не приветствовал совершающийся политический переворот и не противился ему.

Суданцы окружили парламент и залегли на площади перед ним. Игнатий Руф, стоя в автомобиле, глядел на зеркальные окна большой залы заседаний. Горнист, великан-негр, вышел перед цепями на площади и на рожке печально заиграл сигнал сдачи. Тогда с мраморной лестницы парламента сбежало несколько человек, пытаясь скрыться; их сейчас же арестовали. Игнатий Руф, подняв руку и помахав ею, как тряпкой, продвинул цепи вплотную к зданию. Сквозь окно было видно теперь, как в зале на скамьях амфитеатра сидят члены парламента: кто облокотился, кто подперся сонно, на три-

буне оратор бормотал что-то по записке, за председательским столом на возвышении дремал полный седой спикер, положив руку на колокольчик.

Игнатий Руф пришел в ярость. Надвинул цилиндр на глаза и коротко, лая, отдал приказ. Передние цепи суданцев подняли тяжелые ружья, заиграл рожок, и площадь содрогнулась от залпа. Зеркальные стекла покрылись трещинами, посыпались, зазвенели.

Через десять минут парламент был занят, депутаты, как будто с величайшим облегчением воспринявшие эти события, были отведены в тюрьму. Затем Игнатий Руф с небольшим отрядом суданцев окружил Белый дом, вошел в него с револьверами в обеих руках и сам арестовал президента, с вежливой улыбкой сказавшего по этому поводу исторические слова: «Я уступаю силе».

Через час отряды мотоциклов и аэропланы разбросали по городу извещение «Союза пяти» о государственном перевороте. Вся власть в стране переходила к пяти диктаторам. (В тот самый день, в тот самый час они с отрядами выведенных из Африки войск занимали города Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Сан-Франциско.) Новые парламентские выборы назначались через полгода. Страна объявлялась на военном положении, Закрывались все рестораны, театры, кино, запрещалась музыка в общественных местах, а также бесцельное гуляние по улицам. Извещение было подписано председателем «Союза пяти» Игнатием Руфом. Переворот был решительный и суровый.

«Союз пяти» отныне безраздельно, бесконтрольно владел всеми фабриками, заводами, транспортом, торговлей, войсками, полицией, прессой, всем аппаратом власти. «Союз пяти» мог заставить все население Америки стать кверху ногами. Со времен древних азиатских империй мир не видал такого сосредоточения политической и экономической власти.

Над этим странным миром по ночам поднималась разбитая луна большим неровным диском, разорванным черными трещинами на семь осколков. Ее ледяной покой был потревожен и обезображен человеческими страстями. Но она все так же кротко продолжала лить на землю серебристый свет. Все так же ночной прохожий

поднимал голову и глядел на нее, думая о другом. Все так же вздыхал и приливал к берегам океан. Росла трава, шумели леса, рождались и умирали инфузории, моллюски, рыбы, млекопитающие.

И только пять человек на земле никак не могли понять, что в круговороте жизни они пятеро, диктаторы и властелины, никому ни на что не нужны.

15

В кабинете свергнутого президента спиной к горящему камину, раздвинув фалды, чтобы греть зад, стоял Игнатий Руф. Перед ним сидели диктаторы. Он говорил:

— В первые дни еще можно было заметить подобие страха, но сейчас они ничего не боятся... Вот ваши полумеры... (Они, то есть люди, население.) Они без сопротивления отдали нам свои деньги, они не сопротивлялись, когда мы брали власть, они не желают читать моих декретов, как будто я их пишу тростью на воде... Но, черт возьми, я предпочел бы иметь дело с бешеным слоном, чем с этой сумасшедшей сволочью, которая перестала любить деньги и уважать власть. Что случилось, я спрашиваю? Они пережили несколько часов смертельного страха. Все. Мы вывернули их карманы, правда, но после этого они должны были еще больше преклониться перед идеей концентрированного капитала...

Один из диктаторов, похожий на старого сверчка, спросил:

— Уверены ли вы, сэр, что мы так богаты, как мы это думаем, сэр?

— Девять десятых мирового золота лежит в подземельях здесь,— Руф ударил ногой по ковру,— ключ от этого золота здесь,— он хлопнул себя по жилетному карману,— в этом никто не сомневается.

— Я удовлетворен вашим объяснением, благодарю вас, сэр,— ответил диктатор, похожий на сверчка.

Руф продолжал:

— Они продолжают существовать как ни в чем не бывало. Заводы работают, фермеры работают, чиновники и служащие работают. Очень хорошо,— но при чем же

мы, я спрашиваю? Мы — хозяева страны, или мы сами себя выдумали? Вчера в парке я схватил за воротник какого-то прохожего. «Понимаете ли вы, сэр, — крикнул я ему, — что вы весь мой — с костями и мясом, с вашей душонкой, которая стоит двадцать семь долларов в неделю?» Негодяй усмехнулся, будто он зацепил воротником за сучок, освободился и ушел, посвистывая. Мы взорвали проклятую луну, мы овладели мировым капиталом, мы взяли на себя чудовищную власть только для того, чтобы к нам относились как к явлению природы: дует ветер — подними воротник. Я запретил музыку в общественных местах — весь город ходит и насвистывает. Я закрыл кабаки и театры — в городе стали собираться по квартирам, — они развлекаются бесплатно. Мы — мираж. Мы — боги, которым больше не желают приносить жертвы. Я спрашиваю: мы намерены зарываться по шею в наше золото или перед этим камином надуваться от гордости, в упоении, что мы — власть, которой еще не видал мир? Я спрашиваю: каков практический вывод из нашего могущества?

Диктаторы молчали, глядя на кровавые угли камина. Руф отхлебнул минеральной воды.

— Если вы будете бить кулаками в воздух, в конце концов вы упадете и разобьете нос. Нужно создать сопротивление среды, в которой действуешь, иначе действия не произойдет. Мы на краю пропасти, — я утверждаю. Человечество сошло с ума. Нужно вернуть ему разум, вернуть его к естественной борьбе за существование, со всеми освященными историей формами, где в свободной борьбе личности с личностью вырастает здоровый человеческий экземпляр. Мы должны произвести массовый отбор. Направо и налево.

— Ближе к делу, что вы предлагаете? — спросил другой из диктаторов.

— Кровь, — сказал Руф. — Всех этих с неисправимо сдвинутыми мозгами, всех этих свистунов, мечтателей, без двух минут коммунистов — в расход! Мы объявим войну Восточноевропейскому союзу, — это поднимет настроение; мы объявим запись добровольцев в войска, — вот первый отбор наиболее здоровых личностей... Мы объявим войну всех против всех, мы будем руководить

этой бойней, где погибнет слабый и где сильный приобретет волчьи мускулы... И тогда мы наденем железную узду на возрожденного зверя...

Руф нажал кнопку электрического звонка. За стеной в тишине затрещало. Прошла минута, две, три. Руф поднял брови. Диктаторы переглянулись. Никто не шел. Руф сорвал с камина, с телефонного аппарата, трубку, сказал сквозь зубы номер и слушал. Понемногу лицо его темнело. Он осторожно положил трубку на аппарат, подошел к окну и приподнял тяжелую шелковую портьеру. Затем он вернулся к камину и снова отхлебнул глоток минеральной воды.

— Площадь пуста,— хриповато сказал он,— войск на площади нет.

Диктаторы, глядя на него, ушли глубоко в кресла. Было долгое молчание. Один только спросил:

— Сегодня были какие-нибудь признаки?

— Да, были,— ответил Руф, стукнув зубами,— иначе бы я вас не собрал сюда, иначе бы я не говорил так, как говорил.

Опять у камина долго молчали. Затем в тишине Белого дома, издалека, раздались шаги. Они приближались, звонко, весело стуча по паркету. Диктаторы стали глядеть на дверь. Без стука широко распахнулась дверь, и вошел плечистый молодой человек с веселыми глазами. Он был в шерстяной белой рубашке, широкий бумажный пояс перепоясывал его плисовые коричневые штаны на крепких ногах. Лицо у него было обыкновенное, добродушное, чуть вздернутый нос, пушок на верхней губе, девичий румянец на крепких скулах. Он остановился шагах в трех от камина, слегка кивнул головой, открыл улыбкой зубы:

— Добрый день, джентльмены!

— Что тебе нужно здесь, негодяй? — спросил Руф, медленно вытаскивая руки из карманов.

— Помещение нам нужно под клуб; нельзя ли будет очистить?

ДРЕВНИЙ ПУТЬ

Темной весенней ночью по отвесному трапу на бак океанского парохода поднялся высокий человек в военном плаще. Поль Торен поднимался медленно, со ступеньки на ступеньку — с трудом. От света мачтового фонаря поблескивали на его кепи три золотых галуна. Он обогнул облепленную илом якорную цепь и остановился на самом носу, — облокотился о перильца и так застыл, не шевелясь. Лишь край его плаща отдувался встречным слабым движением воздуха.

На пароходе светили только отличительные огни — зеленый и красный — да два топовых на мачтах терялись вверху, в незаметной пелене тумана. Задернутыми были и звезды. Ночь темна. Внизу, на большой глубине, железный нос с тихим плеском разрезал воду.

Прислонившись к перилам, Поль Торен глядел на воду. Лихорадка жгла глаза. Ветерок проходил сквозь все тело — и это было не плохо. О каюте, горячей койке, о заснувшей под колючей лампочкой сестре милосердия — болезненно было подумать: белая косынка, кровавый крест на халате, пергаментное лицо унылого спутника страдающих. Она провожала Поля Торена на родину, во Францию. Когда она задремала, он потихоньку вышел из каюты.

В черной, как базальт, воде проплыло светящееся животное — какой-то длинный розоватый крючок с головой морского конька. Лениво шевеля плавниками, оно с юмором поглядывало на надвигающееся днище корабля, пока встречные струи не увлекли его в сторону. Вода была

прохладна, глубина блаженна... Пусть сестра с кровавым крестом сердится... Бытие,— Польш чувствовал это с печальным волнением,— скоро окончится для него, как тропинка, обрывающаяся в ночную пропасть, и оттого неизмеримо важнее микстур, койки, безвкусной еды была эта ночная тишина, где плыли величественные воспоминания.

Путь, которым шел пароход, был древней дорогой человечества из дубовых аттических роц в темные гиперборейские страны. Его называли Геллеспонтом в память несчастной Геллы, упавшей в море с золотого барана, на котором она вместе с братом бежала от гнева мачехи на восток. Несомненно, о мачехе и баране выдумали пелазги — пастухи, бродившие со стадами по ущельям Арголиды. Со скалистых побережий они глядели на море и видели паруса и корабли странных очертаний. В них плыли низенькие, жирные, большеносые люди. Они везли медное оружие, золотые украшения и ткани, пестрые, как цветы. Их обитые медью корабли бросали якорь у девственных берегов, и тогда к морю спускались со стадами пелазги, рослые, с белой кожей и голубыми глазами. Их деды еще помнили ледниковые равнины, бег оленей лунной ночью и пещеры, украшенные изображениями мамонтов.

Пелазги обменивали на металлическое оружие животных, шерсть, сыр, вяленую рыбу. Они дивились на высокие корабли, украшенные на носу и корме медными гребнями. Из какой земли плыли эти низенькие носатые купцы? Быть может, знали тогда, да забыли. Спустя много веков ходило предание, будто бы видели пастухи, как мимо берегов Эллады проносились гонимые огненной бурей корабли с истерзанными парусами, и пловцы в них поднимали руки в отчаянии, и будто бы в те времена страна меди и золота погибла.

Правда ли это было? Должно быть, что так: память человеческая не лжет. Передавали в песнях, что с тех пор стали появляться в пустынной Элладе герои, закованные в медь. Мечом и ужасом они поработщали пелазгов; называя себя князьями, заставляли строить крепости и стены из циклопических камней. Они учили земледелию, торговле и войне. Они сеяли драконовы зубы, и из них рождались воины. Они внесли дух тревоги и жадности в

сердца голубоглазых. Над Элладой поднималась розово-перстая заря истории. Медный меч и золотой треножник, где дымилось дурмящее курево, стояли у колыбели европейских народов.

Потомок пелазгов, Поль Торен, на тех же берегах Средиземного моря был пронзен пулей в верхушку легкого, отравлен газом, брошенным с воздушного корабля, и, умирая от туберкулеза и малярии, возвращался из пылающей Гипербореи в Париж тою же древней дорогой купцов и завоевателей — дорогой, соединяющей два мира — Запад и Восток, — дорогой, текущей между берегов, где под холмами лежат черепки исчезнувших царств, — дорогой, где глубоко на дне дремлют среди водорослей ладьи ахейцев, триремы Митридата, пышные корабли Византии, а на отмелях у глинистых обрывов валяются заржавленные днища подорванных и выбросившихся пароходов.

Казалось, — это казалось Полю, — он завершает сейчас круговорот тысячелетий. Его ум, растревоженный лихорадкой и ощущением своей близкой смерти, силился охватить всю борьбу, расцвет и гибель множества народов, прошедших по этому пути. Воспоминания вставали перед ним, как ожившее бытие. Через несколько дней, быть может, погаснет его мозг, вместе с ним погибнет то, что он нес в себе, — погибнет мир. Какое ему дело — будет ли мир существовать, когда не будет Поля Торена? Мир погибнет в его сознании — это все. Прислонясь к перилам, покрытым росой, глядя в темноту, он заканчивал круговорот.

Прозвенели склянки. Сменялась вахта. Наверху, над капитанским мостиком, стояла бессонная фигура рулевого. Освещалось только его широкое лицо, склоненное над колонкой, где трепетала душа корабля — черная стрелка компаса. Темнота ночи густела. Воды внизу не было уже видно. Теперь казалось, что корабль летит в бесплотном пространстве. Это был предутренный мрак.

Лицо и руки Поля покрылись росой. Он содрогнулся. Сколько рук человеческих, раскинутых по земле с последней судорогой смерти, в эту ночь, — во все эти ночи, — будут покрыты такой же росой... Каждый, вонзая зубы в землю, смешанную с кровью, железом и калом, унесет с собой тысячелетия отжитого, в каждом простре-

ленном черепе с унылым грохотом рухнут и исчезнут тысячелетия культуры. Какая нелепость! Какое отчаяние! Если бы голубоглазому пращуру показать книгу жизни, перелистать все страницы грядущего, все цветные картинки: «Это просто глупая и жестокая книжка,— сказал бы веселый пращур, почесываясь под бараньей шкурой.— Здесь какая-то ошибка: смотрите, сколько хорошего труда затрачено, сколько развелось народу, сколько построено отличных городов; а на последней картинке все это горит с четырех концов и трупов столько, что можно неделю кормить рыбу в Эгейском море...»

«Где-то ошибка, где-то допущен неверный ход в шахматной партии,— думал Поль Торен,— история свернула к пропасти. Какой прекрасный мир погибает!»

Он закрыл глаза и с отчаянной жалостью вспомнил Париж, свое окно, голубоватое утро, голубые тени города, аллею бульвара и полукруглые крыши, теряющиеся в дымке, непросохшие капли дождя на подоконнике, внизу понукание извозчика, везущего тележку с морковью, веселые голоса тех, кто счастливы тем, что живут в такое прекрасное утро. Вспомнил свой стол с книгами и рукописями, пахнувшими утренней свежестью, и свой опьяняющий подъем счастья и доброты ко всему... Какую превосходную книгу он писал тогда о справедливости, добре и счастье! Он был молод, здоров, богат. Ему хотелось всем обещать молодость, здоровье, богатство. И тогда казалось — только идеи добросердечия, новый общественный договор, обогащенный завоеваниями физики, химии, техники, протянет эти дары всему человечеству.

Какой сентиментальный вздор! Это было весной, накануне войны. Сгоряча и вправду показалось, что немцы — черти, дети дьявола, идущего приступом на божественные твердыни гуманизма. Сгоряча показалось, что над Францией развернуто старое знамя Конвента и за права человека, за свободу, равенство и братство гибнут скошенные пулеметами французские батальоны.

Как хотелось Полю снова поверить в то утро, когда он от избытка счастья открыл окно на туманный Париж! Но если это счастье растоптано солдатскими сапогами, разорвано снарядами, залито нарывным газом, то что же остается? Зачем были Эллада, Рим, Ренессанс, весь железный грохот девятнадцатого века? Или удел

всему — холм из черепков, поросший колючей травкой пустыни? Нет, нет,— где-нибудь должна быть правда. Не хочу, не хочу умереть в такую безнадежную ночь!

— Мосье, вы опять вышли на воздух. Мосье, вам будет хуже,— проговорил за спиной заспанный голос сестры.

Поль вернулся в каюту, лег не раздеваясь. Сестра заставила его принять лекарство, принесла горячего питья. В глубине мягко постукивала машина. Позвякивали пузырьки с микстурами. Пожалуй, это было даже приятно, точно какая-то надежда на спасение,— теплый свет абажура, мягкая койка, куда, как в облако, ушло его костлявое тело, горящее в лихорадке. Поль задремал, но, должно быть, на минуту. И снова горячечной вереницей поползли мысли. Бессонница сторожила его: нельзя спать, осталось немного часов, слишком драгоценно то, что проходит в его мозгу...

Одно из воспоминаний задержалось дольше других. Поль беспокойно заворочался, всунул холодные пальцы в пальцы, хрустнул ими. Два месяца назад, в Одессе, он получил знакомый длинный конверт. Писала Люси, кузина, его невеста:

«Дорогой и далекий друг, мне бесконечно одиноко, бесконечно грустно. От вас нет вестей. Вы пишете матери и брату, но никогда — мне. Я знаю ваше угнетенное состояние и потому еще раз пытаюсь писать. Тяжело вам, тяжело мне. Четыре года разлуки — четыре вечности пролетели над моей бедной жизнью. Только мысль о вас, надежда, что, быть может, вам еще будут нужны остатки моей молодости, моего истерзанного сердца и вся моя огромная любовь,— заставляют меня жить, двигаться, делать все то же, все то же: лазарет, ночи около умирающих, вязание солдатских напульсников, чтение по утрам списков убитых... Франция — сплошное, великое кладбище, где погребено целое поколение молодости, разбитых сердец, несбывшихся ожиданий... Мы, живые, — плакальщицы, монахини, провожающие мертвых. Париж становится чужим. Поль, вы помните, как мы любили старые камни города, они рассказывали нам величественную историю? Камни Парижа замолчали, их попирают какие-то новые, чужие люди... И только старики

у каминов еще воинственно размахивают руками, рассказывая о былой славе Франции... Но мы их плохо понимаем...»

В воспоминании оборвался текст письма, тысячу раз прочитанного Полем. Но он так и не ответил Люси. Не мог. О чем бы он написал девушке, все еще пытающейся отдать ему свою печальную любовь? Что бы он стал делать с этой любовью? Что бы стал делать труп, которому в скрюченные руки всунули букет роз? Но почему-то его преследовала память о жалко, как у ребенка, дрожащих губах глупенькой Люси. Год тому назад он был в Париже (на один день) и тогда же, муча себя и ее, обидел Люси. Он сказал: «Вы видели когда-нибудь, как с лестницы парижской биржи спускается буржуа, потерявший в одну минуту все состояние? Предложите ему букетик фиалок в виде компенсации... Вот!.. Ужасно, Люси. Я разорен, мне остается вернуться к погасшему костру в палеолитическую пещеру и отыскать среди хлама мой добрый каменный топор...» Тогда-то и задрожали еще невинные губы Люси... Но жалеть ее — вздор, вздор... Жалость — все тот же вздор из той же неоконченной книги, которую писало слепое счастье, а перелистывал весенний ветер... И жалость выжжена военным газом...

Под утро Поль снова ненадолго задремал. Разбудил его хриплый рев парохода. Нервы натянулись. В иллюминатор бил столб света, и отвратительными в нем казались желтые складки на лице сестры. Она взяла плед и повела Поля на палубу, усадила в шезлонг, прикрыла ему ноги.

Ревя всею глоткой, пароход выходил из Дарданелл в Эгейское море. На низких глиняных берегах виднелись обгоревшие остатки казарм и взорванных укреплений. На отмели лежал с утопленной кормой заржавленный пароход. Война была прервана на время — силы, ее вызвавшие, перестраивались, народам дано разрешение ликовать и веселиться. Чего же лучше!.. Утро было влажно-теплое. Пароход, немного завалившись на левый борт (реквизированный у немцев и перевозивший войска, беженцев и портящиеся грузы, пароход южноамериканской линии «Карковадо» в шесть тысяч тонн), все дальше уходил от земли в лазоревую пустыню. За его кормой косматое солнце все выше взбиралось на ужасную высоту

безоблачного неба. Впереди вылетела колесом из солнечной воды черно-блестящая, с ножом плавника, спина дельфина. «Мама, мама, дельфин!» — по-русски закричал белокурый ребенок, стоя у борта и указывая худенькой ручкой на море. Перед кораблем резвилось стадо дельфинов. И стало понятно, что именно в такое утро в Эгейском зеркальном море под пляску дельфинов из белой пены поднялась, раскрывая светлые глаза, краса жизни — Афродита. «Ну что же, попробуем ликовать и веселиться», — подумал Поль.

Белокурый ребенок висел на перилах, наслаждаясь водяными играми спутников Афродиты; его поддерживала мать в пуховом грязном платочке на плечах, в стоптанных башмаках. На ее исплаканном лице застыл ужас пожаров России. В руке, давно не мытой, она сжимала морской сухарик. Какое ей было дело до того, что в солнечном мареве прищуренные глаза Поля как будто увидели тень «Арго», крутобокого, с косым парусом, сверкающего медью щитов и брызгами с весел дивного корабля аргонавтов — морских разбойников, искателей золота... Он пронесся по тому же древнему пути из ограбленной Колхиды...

По широкой палубе прошла пожилая женщина в поддельных соболях поверх капота, сшитого из кретоновой занавески. Лицом и движениями она напоминала жабу. За ней бежали две чрезвычайно воспитанные болонки с розовыми бантами. Эта ехала тоже из Одессы, везла в третьем классе четырех проституток, обманув их золотыми горами: «Доберитесь, цыпочки, только до Марселя». Вот она заспешила, нагнула голову к плечу и показала фальшивые челюсти, приветствуя знаконца — высокого, дрянно одетого мужчину с глупым лицом и закрученными усами. Этот сел в Константинополе, говорил по-польски, гордо разгуливал, куря длинную трубку, по которой текла слюна, и стремился найти аристократических партнеров, чтобы засесть в картишки. Проходя мимо Поля, он затрепетал ляжками из почтительности.

«Перед гибелью дома изо всех щелей выползают клопы», — подумал Поль. Пароход поворачивал на юго-запад. Направо из-за моря поднимались острые лиловые вершины. Над ними клубились тучи. Грядую гигантских гор поднимался остров. Кругом — зеркальное море, про-

низанная солнцем лазурь, а вдали гребнистый остров весь был покрыт мраком. Грозовые тучи висели над ним, опускалась пелена дождя, и — как будто там и вправду был трон Зевса — разорванной нитью по тучам блеснула молния... До парохода долетел вздох грома.

— Это Имброс, курьезный островок, над ним всегда грозы, — проговорил за спиной Поля небритый черномаз в феске. Он еще вчера в порту предлагал Полю разменять любые деньги на любые или устроить знакомство с жабой, везущей четырех девочек, и советовал, между прочим, не садиться играть с усатым поляком в карты.

Поль закрыл глаза, чтобы костлявое лицо в феске не заслонило видения славы бога богов — Зевса. С левого борта приближался низкий берег Малой Азии, где каждый холм, каждый камень воспет гекзаметром, — земля героев, Трояда. За прибрежной полосой песка расстилась бурая равнина, изрезанная руслами высохших потоков. Вдали, на востоке, облачной грядой стояли вершины Иды, кое-где еще покрытые жилами снега.

Поль встал с шезлонга, подошел к борту. На этой равнине шумели некогда поля пшеницы и маиса, благоухали сады, бесчисленные стада спускались с Фригийских гор. Вот — кремнистое устье Скамандра: желтый ручей уходит полосой далеко в море. Налево — курганы, могилы Гектора и Патрокла. Здесь были вытащены на песок черные корабли ахейцев, а там — на выжженной равнине, где изрыта земля и курится дымок бедной хижины, — поднимались циклопические стены Трои с нависшими карнизами, квадратными башнями и золотой многогрудой статуей Афродиты азиатской.

С незапамятных времен эолийские греки плыли к берегам Трояды, селились там и занимались земледелием и скотоводством. Но скоро сообразили, что место хорошо, и стали строить крепость Троя у ворот Геллеспонта, чтобы захватить путь на восток. И Троя стала сильным и богатым царством. В торговые дни на базар — перед высокими стенами города — ехали скрипучие арбы с хлебом и плодами; вероломные славяне с границ Фракии вели бешеных коней, знаменитых быстротой бега; приезжали на богатых колесницах хетты из Богазкея с товарами, сделанными по лучшим египетским образцам; фри-

гийцы и лидийцы в кожаных колпаках гнали стада круторунных баранов; финикийские купцы с накладными бородами, в синих войлочных одеждах подгоняли бичами черных рабов с тюками и глиняными амфорами; почтенные морские разбойники, вооруженные обоюдоострыми секирами, приводили красивых рабынь и соблазнительных мальчиков; жрецы раскидывали палатки и ставили алтари, выкрикивая имена богов, грозясь и зазывая приносить жертвы. Со стен на суету базара глядели воины, охранявшие ворота. В городе были собраны неисчислимы сокровища, и слух о них шел далеко.

Эллада в те времена была бедна. Давно миновали пышные времена Микен, Тиринфа и Фив, построенных героями. Циклопические стены поросли травой. Земля неплодная; население редкое — пастухи, рыбаки да голодные воины. Цари Ахеи, Арголиды, Спарты жили в мазанках под соломенными крышами. Торговать было нечем. Грабить у себя нечего. Торговля шла мимо Эллады. Оставались — легендарная слава прошлого, кипучая кровь, кидающаяся в голову, и необыкновенная предприимчивость. Цель была ясна: ограбить и разбить Трои, овладеть Геллеспонтом и повернуть купеческие корабли в гавани Эллады. Стали искать предлога к войне, а найти его, как известно, нет ничего проще. Впутали Прекрасную Елену. Подняли крик по всему полуострову. Позвали Ахиллеса из Фессалии, нагав, что отдадут половину добычи. Спросили Додонского оракула и поплыли на черных кораблях, чтобы начать медными звуками гекзаметра трехтысячелетнюю историю европейской цивилизации...

С тех пор и поныне не нашлось, видимо, иного средства поправлять свои дела — кроме меча, грабежа и лукавства. Герои Троянской войны были по крайней мере великолепны в гривастых шлемах, с могучими ляжками и бычьими сердцами, не разъеденными идеями торжества добра над злом. Они не писали у открытого окна книг о гуманизме.

Пароход повернул к западу, низкий берег стал отдаляться. Поль снова сел в шезлонг. «Суррогат, — подумал он и повторил это слово, — ложь, которой больше не хотят верить... Гибель, гибель неотвратима... Историю нужно начинать сызнова... Или...»

Он усмехнулся, слабо пожал плечом,—это «или» давно уже навязывалось в минуты раздумий. Но за «или» следовало противоестественное: мир выворачивался наизнанку, как шкура, содранная со зверя.

На палубе появилась кучка русских эмигрантов. Один, молодой, с наглыми, страшными глазами, дергаясь и почесываясь, следил за игрой дельфинов.

— Попаду. Пари — хочешь? — спросил он хрипаватым баском и потащил из кармана ржавый наган.

Другой, бледный, с раздвоенной бородкой, остановил его руку:

— Брось. Здесь тебе не Россия. И вообще, брат, брось шпалер в море.

— Эгэ, брось... Сто двадцать душ отправлено им к чертовой матери... Его в музей надо...

Двое захохотали невесело, третий зашипел:

— Не орите... Капитан, кажется, задремал...

Русские офицеры оглянулись на Поля и на цыпочках отошли подальше. Солнце легло на палубу, на лицо,— Поль задремал. Сквозь веки спящие глаза его видели красноватый свет... Как странно, куда же девалось море?.. (Так подумалось.) Как жалко, как жалко... (И он увидел...) Унылая осенняя равнина, телеграфные столбы, оборванные проволоки... Налетает зябкий ветерок... А лицу жарко... Внизу под горкой горят крытые соломой хаты — без дыму, беззвучно, как свечи. Беззвучно стреляет батарея по деревне,— ослепительные вспышки из жерл. Мрачны лица у артиллеристов... Это все свои — парижане... Дерутся за права человека... «О, черт!» (Поль слышит, как скрипят его зубы...) «Вы должны исполнить свой долг!» — кричит он солдатам и чувствует, как лошадь под ним прогибается, спина ее — будто сломанная, без костей... И тут же, на батарее, между людьми вертится этот — с наглыми, страшными глазами, с наганом... Невыносимо лебезит, все чешется, похохатывает... И вдруг руками начинает быстро, быстро рыть землю — по собачьей. Вытаскивает из земли, встряхивает двоих в матросских бескозырках, подводит под морду прогнувшейся лошади: «Господин капитан, вот — большевики...» У них — широкие лица, странной усмешкой открыты зубы, а глаза... Ах, глаза их таинственно закрыты... «Ты застрелил их, негодяй!» — кричит Поль наглому вертуну и

силится ударить его стеклом, но рука будто ватная... Неистово бьется сердце... Если бы только матросы открыли глаза, он впился бы в них, разгадал, понял...

Поля разбудил обеденный звонок. И снова сияло молочно-голубое небо. Вдали проходили гористые острова. Изодранный за войну ржавый «Карковадо» плыл, как по небесам, накренившись на левый борт, по этой зеркальной бездне. Солнце клонилось к закату. Редко из-за края воды и неба поднимался дымок. Под вечер лихорадка отпускала Поля и слабость наваливалась на него стопудовым тюфяком. Холодели руки, ноги. Это было почти блаженно.

.....

Ранним утром «Карковадо» бросил якорь у Салоник в грязно-желтые воды залива. Город, видный как на ладони между бурными и меловыми холмами, был сожжен. Развалины древних стен четырехугольником ограничивали унылое пожарище, где иглами поднимались белые минареты. Жарко пекло солнце. Меловые холмы, казалось, были истоптаны до камня подошвами племен, прошедших здесь в поисках счастья. От набережной отделилась барка с солдатами. Маленький буксирчик, пыхтя в солнечной тишине, подвел к «Карковадо» барку. Со скрипом опустили трап. И попарно побежали наверх зуавы в травяного цвета френчах, красных штанах, красных туфлях. Смеясь и кидая мешки и фляжки, они легли на теневой стороне верхней палубы. Запахло потом, пылью, пополз табачный дым. Зуavam было на черта наплевать: их пытались было перебросить в Россию, на одесский фронт. В Салониках они заявили: «Домой!» — и выбрали батальонный совет солдатских депутатов. Тогда сочли за лучшее отправить их по домам. «Вот это — дело! — ржали зуавы, катаясь от избытка сил по палубе. — К черту войну! Домой, к бабам!..»

До полудня грузили уголь. Сгибаясь под тяжестью корзин, поднимались по зыбкому трапу оборванцы, головы их были обвязаны тряпками, — греки, турки, левантинцы — все они были одинаково черны от угольной пыли, каплями ваксы капал пот с их аттических носов. Пустые корзинки летели вниз, в барку. С мостика ругался в рупор помощник капитана. Лениво висели пасса-

жиры на бортах. Наконец «Карковадо» заревел, запенилась грязная вода за кормой, зуавы замахали фесками берегу. И — снова лазурь, древняя тишина.

Вдали, справа проплыл Олимп снеговой шапкой с лиловыми жилками. Зевс был милостив сегодня — ни одно облачко не затеняло сверкающей вершины. Вот и Олимп ушел за море. Зуавы храпели в тени под висящими лодками. Иные играли в кости, выбрасывая их из кожаного стаканчика на палубу. Один, широкоплечий, с бровями и ресницами светлее загара, посадил на колени маленького русского мальчика и нежно, лапой гладя его волосы, расспрашивал на неизвестном и дивном языке о существенных событиях жизни. Мать издали с тревогой и радостной улыбкой следила за первым успехом сына среди европейцев... Нет, нет, ни один из этих людей не хотел вместе с Полем лезть в могилу, кончать историю человечества.

Близко теперь — то с правого, то с левого борта проплывали острова высокими караваями, с каменистыми проплешинами, покрытые низкорослым лесом. Море у их подножия было зеленое, они зеркально отражались в нем, и там не было дна — опрокинутое небо. У одного островка прошли так близко, что были видны черноголовые дети, копошившиеся у порога хижины, сложенной из камней и прислоненной к обрыву. Женщина, работавшая на винограднике, заслонилась рукой — глядела на пароход. Полосы виноградников занимали весь склон. С незапамятных времен здесь кирками долбили шифер, чтобы из каменной пыли, впитавшей свет и росу, поднималась на закрученной лозе золотистая гроздь — сок солнца. Вершина горы была гола. Бродили рыжие козы, и стоял человек, опираясь на палку. На нем была войлочная шляпа, какую рисовали кирпично-красным на черных вазах гомеровские греки. И пастух, и женщина в полосатой юбке, и дети, играющие со щенком, и беловолосый старик внизу в лодке проводили равнодушными взглядами истерзанный войною пароход, где постукивал зубами от лихорадки и озноба смертных мыслей Поль Торен, лежа под пледом в шезлонге.

Когда раздался звук трубы — тра-та-та-тааааа, — зуавы горохом посыпались с палубы на корму. Там у открытого дощатого камбуза высокий негр в белом кол-

паке черпал из дымящихся котлов, разливал суп в солдатские котелки. «Полней, горячей!» — кричали зуавы, смеясь и толкаясь. Вонзали зубы в хлеб, со звериным вкусом хлебали бобовую похлебку, запрокинув голову, лили красной струей в рот вино из манерок. Еще бы: в такой горячий лазурный день можно съесть гору хлеба, море похлебки! За камбузом, привязанный к стреле подъемного крана, стоял рыжий старый бык, взятый в Салониках. Он мрачно озирался на веселых солдат. «Съедят, — очевидно думалось ему, — завтра непременно съедят...» Зуав с пушком на губе, с длинными глазами, взмахнув манеркой, закричал ему: «Не робей, старина, завтра принесем тебя в жертву Зевсу!..»

На солдатский обед смотрело с верхней палубы семейство сахарозаводчика, бежавшее из Киева. Здесь были сам сахарозаводчик, похожий на лысого краба в визитке; его сын, лирический поэт с книжечкой в руке; мама в корсете до колен и в собольем меху, из которого торчал седоватый кукиш прически; модно одетая невестка, боящаяся грубостей; трое детей и нянька с грудным ребенком. Папа-краб негромко хрипел, не вынимая изо рта сигары:

— Мне эти солдаты мало нравятся, я не вижу ни одного офицера, у них мало надежный вид.

— Это какие-то грубияны, — говорила мама, — они уже косились на наши сундуки.

Сын-поэт глядел на полоску пустынного берега Эвбеи. «Хорошо бы там поселиться с женой и детьми, не видеть окружающего, ходить в греческом хитоне», — так, должно быть, думал этот богатый молодой человек с унылым носом.

Зуавы снизу отпускали шуточки:

— Смотри, вон тот, пузатый, наверху, с сигарой...

— Эй, дядя-краб, брось-ка нам табачку...

— Да скажи невестке, чтоб сошла вниз, мы с ней пошутим...

— Он сердится... О, ля-ля! Дядя-краб, ничего, потерпи — в Париже тебе будет не плохо.

— Мы напишем большевикам, чтобы вернули тебе заводы...

Шумом, хохотом, возней зуавы наполнили весь этот день. Горячая палуба трещала от их беготни. Им до

всего было дело, всюду совали нос — будто взяли «Карковадо» на abordаж вместе с пассажирами первого класса. Папа-краб ходил жаловаться капитану, тот только развел руками: «Жалуйтесь на них в Марселе, если угодно...» Дама с собачками, сильно обеспокоенная за участь своих четырех девушек, заперла их на ключ в каюте кочегара. Русские офицеры не показывались больше на палубе. Поляк, возмущенный хамским засилием, тщетно искал приличных партнеров. Выполз из трюма русский общественный деятель, англофил — в пенсне, с растрепанной бородой, где засела солома, — и стал наводить панику, доказывая, что среди зуавов — переодетые агенты Чека и не миновать погрома интеллигенции на «Карковадо».

Ночью огибали Пелопоннес — суровую, каменистую Спарту. Над темным зеркалом моря сияли крупные созвездия, как в сказке об Одиссее. Сухим запахом полыни тянуло с земли. Поль Торен припоминал имена богов, героев и событий, глядя на звезды, на их бездонные отражения. Снова ночь без сна. Он измучился дневной суетой. Но странное изменение произошло в нем. Глаза поминутно застилало слезами. Какое величие миров! Как мала, быстролетна жизнь! Как сложны, многокровны ее законы! Как он жалел свое сердце — больной комочек, отбивающий секунды в этой блистающей звездами вселенной! Зачем вернулось желание жить? Он уже примирился, уходил в ничто печально и важно, как развенчанный король. И вдруг — отчаянное сожаление... Зачем? Какие чары заставили снова потянуться к солнечному вину? Зачем это нагромождение мучений?.. Он старался сызнова восстановить ткань недавних мыслей о гибели цивилизации, о порочном круге человечества, о том, что, уходя, он уносит с собой мир, существующий постольку, поскольку его мыслит и одухотворяет он, Поль Торен... Но ткань порвалась, лохмотья исчезали, как туман. А в памяти перекликались веселые голоса зуавов, стучали их варварские шаги. Вспомнил пастуха на вершине острова, женщину, срезающую виноград, черных грузчиков, с хохотом швыряющих вниз угольные корзинки...

«Так будь же смелым, Поль Торен! Тебе терять нечего. Есть твоя культура, твоя правда, то, на чем ты вырос, то, из-за чего считаешь всякий свой поступок ра-

зумным и необходимым... А есть жизнь миллионов. Ты слышал топот их ног по кораблю?.. И жизнь их не совпадает с твоей правдой. Они, как те синеглазые пелазги, смотрят с дикого берега на твой гибнущий корабль с изодранными парусами. Взывай с поднятыми руками к своим богам. В ответ с неба только огонь и грохот артиллерийской канонады...»

Эту ночь Поль провел на палубе. Утренняя заря разлилась коралловым, розовым сиянием, теплый и влажный ветер заполоскал солдатское белье на вантах, замычал рыжий бык, и из воды, как чудо, поднялся шар солнца. Ветер затих. Пробили склянки. Раздались хрипчатые голоса просыпающихся. Начался жаркий день. Зуавы босиком, подтягивая штаны, побежали мыться, с диким воем обливали друг друга из брандспойта. Задымился дощатый камбуз. Высокий негр в белом колпаке скалил зубы.

Сквозь пелену бессонницы Поль Торен увидел, как за кормой парохода потянулся густой кровавый след, окрашивая пену. Это в жертву Зевсу был принесен бык. Он лежал на боку с раздутым животом, из перерезанного горла текла кровь по желобу в море. Туда же бросили его синие внутренности. Ободранную тушу вздернули на мачте. Размахивая огромной ложкой, негр держал зуавам речь о том, что на реке Замбези — его родине — еду называют кус-кус, и что эта туша — великий кус-кус, и хорошо, когда у человека много кус-куса, и плохо, когда нет кус-куса!..

— Bravo, шоколад!.. Свари нам великий кус-кус! — топя от удовольствия, кричали зуавы.

Пылало солнце. Через море лежал сверкающий путь. Воздушные волны зноя колебались на юге. Казалось — там, у берегов Африки, бродят миражи. В полдень из раскаленного нутра парохода послышался короткий, пронзительный женский крик. Затем засмеялось несколько мужских голосов. Жаба с собачками, выкатив глаза, перекосившись, пробежала по палубе, за ней — собачки с бантами. Оказывается, зуавы пронюхали, где сидят четыре девчонки, и пытались сломать дверь в кочегарке. Были приняты какие-то меры. Все успокоилось. Первый класс казался вымершим. Зуавы лежали в одних тельни-

ках на раскаленной палубе. Поль Торен мучительно хотел согреться, но солнце не прожигало озноба, постукивали зубы, красноватый свет заливал глаза.

— Плохо, старина? — спросил за спиной чей-то голос, негромкий, суровый.

Не удивляясь, не оборачиваясь, Поль пошевелил ссохшимися губами:

— Да, плохо.

— А зачем заваривали кашу? А зачем варите эту кашу? Теперь понимаешь — что такое ваша цивилизация? Смерть...

Ледяной холодок перебежал по сухой коже, гудело в ушах, как будто гудели маховые колеса. Полю показалось, что от его шезлонга кто-то отошел... Быть может, почудилось, потому что хотелось услышать звук человеческих шагов. Но нет, он даже чувствовал запах солдатского сукна того человека, кто сказал ему дерзкие слова... Значит — правда, что на пароходе агенты Чека... Жаль, что прервался разговор...

И сейчас же на глаза Поля спустилась зыбкая картина воспоминаний. Он увидел...

...Глиняные стены жаркой хаты, большая белая печь с нарисованными на углах птицами и цветками. На земляном полу лежит на боку человек в коротком полушубке, руки завязаны за спиной. В кудрявых волосах запеклась кровь. Лицо, бледное от ненависти и страдания, обращено к Полю. Он говорит по-французски с грубоватым акцентом:

— Откуда приехал, туда и уезжай... Здесь не Африка; мы хоть и дикие, да не дикари... Свободу свою не продадим. До последнего человека будем драться... Слышишь ты — России колонией не бывать! Врешь, брат, под твоими красивыми словами — плантатор.

— Какой вздор! — Поль страшно искренен. — Какой вздор! Мы не о колониях думаем. Мы спасаем величайшие ценности. Однажды было нашествие гуннов, мы их разбили на Рейне. Теперь разобьем их на Днестре.

Лежащий нагло усмехнулся:

— Ты что же — из идеалистов?

— Молчать! — Поль стучит перстнем по дощатому столу. — Говорить вежливо с офицером французской армии!

— Чего мне молчать, все равно расстреляешь,— говорит связанный человек.— И напрасно... Ох, пожалеешь... Лучше развяжи мне руки, я уйду. А ты уезжай во Францию, да револьвер—не забудь— по дороге брось в море... Все равно ваше дело проиграно. Нас — полмиллиарда. Твои руки — это мы, твои ноги — мы, брюхо твое — мы, голова — мы... А что твое? Ценности? Культура? — Наша... Хранителей других поставим, и — наша. (Раненый подполз к столу. Глаза его — расширенные, дикие, страшные — овладевали, давили...) Я вижу — ты честный человек, ты, может быть, один из лучших... Зачем же ты на их стороне, не на нашей?.. Они отравили тебя газом, заразили лихорадкой, пронзили твою грудь... Они растлили все святыни... Так зачем же ты с ними? Кусок хлеба и мы тебе обещаем... Проведи рукой по глазам, сними паутину веков... Проснись... Проснись, Поль...

Поль Торен со стоном открыл глаза. Когда кончится эта пытка? Колючие, перепутанные осколки воспоминаний, дневная суета перед глазами, гул стеклянных маховиков в ушах... Скорее бы темнота, тишина, небытие!

Погас и этот день. Снова над морем — пылающие миры, потоки черного света, в фокусах их скрещений возникающие из квантов энергии клубки первичной материи, и, гонимые светом из конца в конец по чечевице вселенной, летят семена жизни. Из одной такой микрожизни возник Поль Торен. И снова, когда-нибудь, его тело, его мозг, его память раскинется пылью атомов в ледяном пространстве.

В эту ночь, как в предыдущую, сестра не могла увести его в каюту. Когда она от досады заплакала, он поднял дрожащий, сухой, как сучок, палец к звездам:

— Это мне нужнее ваших микстур.

Ранним утром проходили мимо Калабрии: дикий берег, острые зубья скал, нагромождения лилово-серых камней. Редкие кусты в трещинах. Выше — террасы бурых плоскогорий. Кое-где кучки овец. На мысу — такой же, как камни, замок — башня, развалины стен: старое разбойничье гнездо, откуда выезжали грабить корабли, заносимые штормом к этому чертову месту. Налево в мглисто-солнечном тумане курился дым над снежной вершиной Этны, голубели берега Сицилии. «Карковадо»

несся по коротким волнам пролива, которого так боялся Одиссей. На палубу вышло семейство сахарозаводчика — все в спасательных поясах. Оказывается, здесь была опасность встретиться с блуждающей миной. Зуавы плевали в пролив. Но стремнину миновали благополучно. Ржавым носищем «Карковадо» резал теперь бирюзово-голубые воды Тирренского моря.

Общественный деятель с соломой в бороде, пройдя по палубе, громко сказал, ни к кому не обращаясь:

— Барометр падает, господа!

Действительно, жара усиливалась. Небо было металлического оттенка. На юге воздух ходил мглистыми волнами, как будто там кипятили воду. От праздности, от зноя, от нестерпимого света на пароходе стало твориться неладное. Говорили, что одну из жабиных девчонок этой ночью отвели наверх, в каюту капитана. Со вчерашнего дня капитан не показывался на мостике. Обнаружилось, что остальные девочки удрали из кочегарки. Одну удалось отыскать в трюме, где она ходила по рукам, кричала и царапалась. Ее заперли в аптеке под надзором фельдшера. Зуавы волновались, перешептывались. То один, то другой вскакивал с раскаленной палубы и исчезал где-нибудь в черных недрах парохода, где пахло крысами, плесенью и железные стены скрипели от вздохов машины.

Барометр падал. Под лодкой сидела русская дама пригорюнясь. Мальчик спал, положив мокрую от пота голову на ее колени. Затих даже стук ножей в камбузе. И вдруг где-то внизу произошла короткая возня — удары, рычание... На палубе появились двое — с волосами торчком, голые по пояс, в замазанных парусиновых штанах. Оглянувшись, они побежали. Передний показывал вытянутую окровавленную руку.

— Откусил палец, откусил палец, — повторял он надрывающимся глухим голосом. Остановился, неистово стащил с ноги деревянный башмак (другая нога — босая), швырнул его в море. Легко побежал дальше. — Откусил палец!

Другой, выше его ростом, бежал за ним молча. На жилистой спине его под лопаткой был виден кровавый желвак со следами зубов. Едким потом и кровью пахло по палубе. Сейчас же за этими двумя выскочил на

палубу третий — с узким лицом, черноволосый, в разорванной бязевой рубашке. Раздвинув ноги, он пронзительно свистнул, как будто ночью на пустыре. Зуавы вскочили. Глаза их дичали, усы топорщились. Быстро, плотно они окружили раненых кочегаров. Шумно дышали груди. Высокий, с желваком на спине, проговорил душе-раздирающе:

— Обе девчонки у него в каюте...

— У кого?

— У шоколада...

С откушенным пальцем крикнул:

— У него нож... У него огромный нож и вертел... Откусил мне палец... наших всех зарежут здесь... Живым не доехать...

Снова свист. И тогда все — и солдаты и кочегары — побежали по трапам вниз. Немного спустя там грозно загудели голоса. На палубу выскочила из кают-компания жаба с обеими собачонками на руках, заметалась, как слепая. В каютах первого класса захлопали опускаемые жалюзи. Пробежал с испуганным лицом помощник капитана.

Кок-негр появился, наконец, в крутящейся толпе. Он здорово отбивался длинными руками. Белая куртка на нем — в клочьях, в пятнах крови. Он пятился к трапу. Вдруг фыркнул, зашипел наседающих, в два прыжка взлетел на палубу и помчался по ней, выкатив белки глаз, как лупленные яйца. «Лови, лови!» — кричали зуавы, устремляясь за ним. Он вскарабкался еще выше, на капитанский мостик, и оттуда — головой вниз — мелькнуло его лакированное тело, упало в воду. Далеко от корабля, отфыркиваясь, вынырнула черная голова.

На «Карковадо» остановили машину. В море полетели спасательные круги. Негр подплыл к борту и ухватился за конец. Весело скалясь, он посматривал на свешенные через перила головы зуавов. Было ясно, что бить его уже больше не станут.

А барометр продолжал падать. Небо нависло раскаленным свинцом. Задыхаясь, стучала пароходная машина, стучала кровь в головы. И на палубе снова закружился вихрь: солдаты перешептывались, перебежали, сбились в кучу. Раздался повышенный, певуче-четкий (видимо, парижанина) панический голос:

— На нас идет шторм. Все, кто на палубе, будут смыты в море. Нас не пускают даже в кают-компанию. А в первом классе пружинные койки для спекулянтов, серебряные плевательницы, чтобы им рвать. Неужели нам и здесь еще умирать за буржуа?.. В трюм спекулянтов!

— В трюм спекулянтов! — закричали голоса. — Богачей, буржуа — в трюм!

Зуавы, завывая, кинулись через обе двери в кают-компанию. Но там никого не было. На столе — неоконченный обед. Двери кают заперты. Здесь было душно, как в духовом шкафу, где жарят гуся. Иные из солдат повалились на диваны, вытирая ручки пота. Те, кто по-злее, стали стучать в двери кают:

— Алло! Эй, вы, детки, — в трюм, в трюм! Очистить каюты!

Из одной каюты, куда грохнули кованым башмачищем, высунулся папа-краб с прыгающими лиловыми губами, весь в поту:

— Ну? В чем, собственно, дело? Что вы так шумите?

Уже чья-то чумазая рука сгребла его за визитку, десятки пышущих лиц, расширенных глаз приблизились к нему... Не сдобровать бы папе-крабу с его семейством и сундуками... Но в это время раздались пронзительные боцманские свистки. Свистали: «Все наверх!» И сейчас же треснуло, расколосось небо над пароходом, ударил такой гром, что люди сели. Полыхнула молния во все иллюминаторы. И жалобно запели ванты, снасти. «Карковадо» сильнее повалило на левый борт. Налетел шторм. Стало темно. Пятнами различались испуганные лица.

Рваные тучи мчались над самой водой. Море стало гривастым, свинцово-мрачным, и волны все злее, все выше били в ржавые борта. Вода уже хлестала на палубу. Раскачивало шлюпки на стрелах. Одну запарусило, рвануло, сорвало, и она унеслась, кувыркаясь среди бешеной пены. Тут бы надо бочку с сокровищами бросить морскому царю, заколоть ему быка, чтобы смилоствивился! Невдомек! Трещал, зарываясь, валился, гудел винтами, густо дымил «Карковадо». Ураган шел с юго-востока, гнал его к родным берегам.

Поль Торен, возбужденный, сидел на койке в подушках. Свирепо бил трезубцем Нептун в задраенный иллю-

минатор. Какой великолепный конец пути! Глаза Поля блестели трагическим юмором. Вот удар так удар — в борт! Корабль содрогнулся, тяжело начал валиться. Попадали склянки, покатались вещи и вещицы к каютной двери. Как на качелях на последнем взмахе — каюта становится торчком. Замирает сердце. Не выпрямится.

— Мы погибли, погибли! — закричала сестра, схватившись за столик у койки.

Нет, оправилась старая посудина. Каюта поползла вверх. Выпрямилась. Сестра, опустившись на колени, плача, подбирала разбитые склянки. И — снова бьет в борт трезубец морского царя.

— Сестра, — говорит Поль, улыбаясь обтянутым, как у трупа, лицом, — это ураган времен обрушился на нас...

Больше суток мотало «Карковадо». Изломало и смыло все, что было на палубе. Унесло в море двух зуавов. Унесло собачек несчастной жабы и кожаные сундуки — большой багаж — киевского сахарозаводчика. Кто-то хватился общественного деятеля с соломой в бороде — так и не нашли.

Настал последний вечер. Поль сказал сестре:

— Попросите солдат, чтобы вынесли меня на палубу.

Пришли зуавы, покачали головами в красных фесках, пощелкали языками. Подняли Поля вместе с тюфячком и отнесли в шезлонг на палубу. Он сказал:

— Желаю вам счастья, дети.

Там, на западе, — куда, поднимаясь и опускаясь, устремлялся тяжелый нос корабля, — в оранжевую пустыню неба опускалось солнце, еще гневное после бури. Опускаясь, оно проходило за длинными полосами вуалевых облачков, раскаляя их, багровело. Снизу вверх по его диску пробегали красноватые тени.

Море было мрачно-лиловое, полное непроглядного ужаса. По верхушкам волн скользили красноватые, густые на ощупь отблески солнечного шара. Гребень каждой волны отливал кровью.

Но это длилось недолго. Солнце село. Погасли отблески. И в закате стали твориться чудеса. Как будто неведомая планета приблизилась к помрачневшей земле, и на той планете в зеленых теплых водах лежали острова, заливы, скалистые побережья такого радостно алого, сияющего цвета, какого не бывает, — разве приснится

только. Какие-то из огненного золота построенные города... Как будто крылатые фигуры над зеленеющим заливом.

Поль стиснул холодеющими пальцами поручни кресла. Восторженно билось сердце... Продлись, продлись, дивное видение!.. Но вот пеплом подергиваются очертания. Гаснет золото на вершинах. Разрушаются материи... И нет больше ничего... Тускнеющий закат...

Такова была последняя вспышка жизни у Поля Торена. Долго спустя равнодушным взором он различил белую звезду низко над морем: она то вспыхивала, то исчезала. Это был марсельский маяк. Древний путь окончен. Зуавы мурлыкали песенки от удовольствия, навьючивали мешки на спины, переобувались... Один, проходя мимо Поля, сказал вполголоса:

— А по этому заплачет кто-то...

Поль уронил голову. Потом холодноватый тяжелый тюфяк начал ползти на него — снизу, с ног на грудь. Дополз до лица. Но еще раз пришлось ему почувствовать дыхание жизни. Над ним кто-то наклонился, его губ коснулись чьи-то прохладные дрожащие губы, и женский голос, голос Люси, звал его по имени. Его подняли и понесли по зыбким ступеням, по скрипучим доскам на шумный берег, пахнувший пылью и людьми, залитый огнями...

ГАДЮКА

1

Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная,— на кухне все замолкали, только хозяйственно прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность. Один из жильцов сказал про нее:

— Бывают такие стервы со взведенным курком... От них подальше, голубчики...

С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженую голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и сильные ноги. Тогда можно было увидеть на ляжке у нее длинный поперечный рубец, на спине, выше лопатки, розово-блестящее углубление — выходной след пули, на правой руке у плеча — небольшую синеватую татуировку. Тело у нее было стройное, смуглое, золотистого оттенка.

Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, населявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядье. Портниха Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячеславовну, называла ее «клейменная». Роза Абрамовна Безикович, безработная,— муж ее проживал в сибирских тундрах,—

буквально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка,—премиленькая девица, служившая в Махорочном тресте,—уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславовны, бросала гудевший примус... И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанасьевна и Роза Абрамовна,—иначе бы кушать Лялечке чуть не каждый день пригоревшую кашку.

Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными, «дикими» глазами и уходила к себе в комнату в конце коридора. Примуса у нее не было, и как она питалась поутру — в квартире не понимали. Жилец Владимир Львович Понизовский, бывший офицер, теперь посредник по купле-продаже антиквариата, уверял, что Ольга Вячеславовна поутру пьет шестидесятиградусный коньяк. Все могло стать. Вернее — примус у нее был, но она от человеконенавистничества пользовалась им у себя в комнате, покуда распоряжением правления жилтоварищества это не было запрещено. Управдом Журавлев, пригрозив Ольге Вячеславовне судом и выселением, если еще повторится это «антипожарное безобразие», едва не был убит: она швырнула в него горящим примусом,—хорошо, что он увернулся,—и «покрыла матом», какого он отродясь не слышал даже и в праздник на улице. Конечно, керосинка пропала.

В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь «собачьей радостью» и пила чай на службе. Возвращалась в неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали.

Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял любопытства: голые стены — ни фотографий, ни открыток, только револьверчик над кроватью. Мебели — пять предметов: два стула, комод, железная койка и стол у окна. В комнате иногда бывало прибрано, шторка на окне поднята, зеркальце, гребень, два-три пузырька в порядке на облупленном комодe, на столе стопка книг и даже какой-нибудь цветок в полубутылке из-под сливок. Иногда же до ночи все находилось в кошмарнейшем беспорядке: на постели, казалось, бились и метались, весь пол в окурках, посреди комнаты — горшок. Роза Абрамовна охала слабым голосом:

— Это какой-то демобилизованный солдат; ну разве это женщина?

Жилец Петр Семенович Морш, служащий из Медснабторга, холостяк с установившимися привычками, однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, выкурить Ольгу Вячеславовну при помощи вдутия через бумажную трубку в замочную скважину граммов десяти йодоформу: «Живое существо не может вынести атмосферы, отравленной йодоформом». Но этот план не был приведен в исполнение — побоялись.

Так или иначе, Ольга Вячеславовна была предметом ежедневных пересудов, у жильцов закипали мелкие страсти, и не будь ее — в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же в глубь ее жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой оставался тайной.

Лялечку допрашивали, она трясла кудрями, путала что-то, сбивалась на мелочи. Лялечке, если бы не носик, быть бы давно звездой экрана. «В Париже из вашего носа,— говорила ей Роза Абрамовна,— сделают конфету... Да вот, поедешь тут в Париж, ах, бог мой!..» На это Соня Варенцова только усмехалась, розовели щеки, жадной мечтой подергивались голубые глазки... Петр Семенович Морш выразился про нее: «Ничего девочка, но дура...» Неправда! Лялечкина сила и была в том, чтобы казаться душой, и то, что в девятнадцать лет она так безошибочно нашла свой стиль, указывало на ее скрытый и практический ум. Она очень нравилась пожилым, переутомленным работой мужчинам, ответственным работникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Когда она, платочком вытерев носик, пряменько садилась за пишущую машинку, в угрюмых помещениях Махорочного треста на грязных обоях расцветала весна. Все это ей было хорошо известно. Она была безобидна; и действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит тут скрывалась какая-то тайна...

В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора, Соня Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась на ключ и всхлипнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщинки, высокие брови сдвинуты, цыганское худое лицо казалось больным. Полотенце изо всей силы стянуто на талии, тонкой, как у осы. Не поднимая ресниц, она открыла кран и стала мыться — набрызгала лужу на полу... «А кто будет подтирать? Мордой вот сунуть, чтобы подтерла», — хотела сказать и промолчала Марья Афанасьевна.

Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным взглядом кухню, женщин, вошедшего в это время с черного хода низенького Петра Семеновича Морша с куском ситного в руках, бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. Сухие губы у него ядовито усмехнулись. Горбоносый, похожий на птицу, с полуседой бородкой и большими желтыми зубами, он воплощал в себе ничем не поколебимое «тэкс, тэкс, поживем — увидим...». Он любил приносить дурные вести. На кривых ногах его болтались грязнейшие панталоны, надеваемые им по утренним делам.

Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клетот, не то обрывок горестного смеха.

— Черт знает что такое, — проговорила она низким голосом, перемахнула через плечо полотенце и ушла. У Петра Семеновича на пергаментном лице проступила удовлетворенная усмешечка.

— У нашего управдома с перепоею внезапно открылось рвение к чистоте, — сказал он, спуская на пол собачку. — Стоит внизу лестницы и утверждает, что лестница загажена моей собакой. «Это, — он говорит, — ее кало. Если ваша собака будет продолжать эти выступления на лестнице — возбужу судебное преследование». Я говорю: «Вы не правы, Журавлев, это не ее кало...» И так мы спорили, вместо того чтобы ему мести лестницу, а мне идти на службу. Такова русская действительность...

В это время в конце коридора опять послышалось: «Ах, это черт знает что!» — и хлопнула дверь. Женщины на кухне переглянулись. Петр Семенович ушел ку-

шать чай и менять домашние брюки на воскресные. Часы-ходики на кухне показывали девять.

.

В девять часов вечера в отделение милиции стремительно вошла женщина. Коричневая шапочка в виде шлема была надвинута у нее на глаза, высокий воротник пальто закрывал шею и подбородок; часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась покрытой белой пудрой. Начальник отделения, вглядываясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность, — в лице ее не было ни кровинки. Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, женщина сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием:

— Идите на Псковский переулок... Там я натворила... и сама не знаю что... Я сейчас должна умереть...

Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее посиневшем кулаке маленький револьвер — велодок. Начальник отделения перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную игрушку.

— А имеется у вас разрешение на ношение оружия? — для чего-то крикнул он. Женщина, закинув голову, так как ей мешала шляпа, продолжала бессмысленно глядеть на него. — Ваше имя, фамилия, адрес? — спросил он спокойнее.

— Ольга Вячеславовна Зотова...

2

Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня на Проломной дом купца второй гильдии, старообрядца Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже два трупа, связанные электрическими проводами: самого Зотова и его жены, и наверху — бесчувственное тело их дочери Ольги Вячеславовны, семнадцатилетней девицы, гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях, руки и шея изодраны ногтями; все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке.

Дом отстоять не удалось, все зотовское имущество сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь, ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутый ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась. Она протянула к нему руку: — Доктор, какие звери! — и залилась слезами.

Через несколько дней она сказала ему:

— Двоих не знаю — какие-то были в шинелях... Третьего знаю. Танцевала с ним... Валька, гимназист... Я слышала, как они убивали папу и маму... Хрустели кости... Доктор, зачем это было! Какие звери!

— Шш, шш,— испуганно шипел доктор, и глаза его были влажны за очками.

Олечку Зотову никто не навещал в госпитале — не такое было время, не до того: Россию раздирала гражданская война, прочное житейское трещало и разваливалось, неистовой яростью дышали слова декретов — белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись прохожий. Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жалости (в ушах так и стоял страшный крик отца: «Не надо!», звериный вопль матери, никогда в жизни так не кричавшей), от страха — как теперь жить, от отчаяния перед этим неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам за окнами госпиталя.

За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость. Душа покрылась рубцами, как заживленная рана. Она еще не знала, сколько таилось в ней мрачных и страстных сил.

Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, подштанниках и шлепанцах, и все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно он насвистывал «Яблочко», пристукивая голыми ятяками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало беспечность и даже лень, только жестки, жестки были ястребиные глаза.

— Из венерического? — спросил он равнодушно.

Олечка не поняла, потом вся залилась возмущением:

— Меня убивали, да не убили, вот почему я здесь.—

Она отодвинулась, задышала, раздувая ноздри.

— Ах ты батюшки, вот так приключение! Должно быть, было за что. Или так — бандиты? А?

Олечка уставилась на него: как он мог так спрашивать, точно о самом обыкновенном, ради скуки...

— Да вы не слышали, что ли, про нас? Зотовы, на Проломной?

— А, вот оно что! Помню... Ну, вы бой-девка, знаете,— не поддались... (Он наморщил лоб.) Этот народ надо в огне жечь, в котле кипятить, разве тогда чего-нибудь добьемся... Столько этого гнусного элемента вылезло—больше, чем мы думали,—руками разводим. Бедствие. (Холодные глаза его оглянули Олечку.) Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете, через это насилие... А жалко. Сами-то из старообрядцев? В бога верите? Ничего, это обойдется. (Он кулаком постучал о ручку дивана.) Вот во что надо верить — в борьбу.

Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно справедливое, ото всей своей зотовской разоренности; но под его насмешливо-ожидающим взглядом все мысли поднялись и опали, не дойдя до языка.

Он сказал:

— То-то... А — горяча лошадка! Хороших русских кровей, с цыганщиной... А то прожила бы как все,— жизнь просмотрела в окошко из-за фикуса... Скука.

— А это — веселее, что сейчас?

— А то не весело? Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все же на счетах щелкать...

Олечка опять возмутилась, и опять ничего не сказало,— передернула плечами: уж очень он был уверен... Только проворчала:

— Город весь разорили, всю Россию нашу разорите, бесстыдники...

— Эка штука — Россия... По всему миру собираемся на конях пройти... Кони с цепи сорвались, разве только у океана остановимся... Хочешь не хочешь — гуляй с нами.

Наклонившись к ней, он оскалился, диким весельем блеснули его зубы. У Олечки закружилась голова, буд-

то когда-то она уже слышала такие слова, помнила этот оскал белых зубов, будто память вставала из тьмы ее крови, стародавние голоса поколений закричали: «На коней, гуляй, душа!..» Закружилась голова—и опять: сидит человек в халате с подвязанной рукой... Только горячо стало сердцу, тревожно,—чем-то этот сероглазый стал близок... Она насупилась, отодвинулась в конец скамейки. А он, насвистывая, опять стал притопывать пяткой...

Разговор был короткий — скуки ради в больничном коридоре. Человек посвистал и ушел. Ольга Вячеславовна даже имени его не узнала. Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку, и оглянулась в глубь душного коридора, и старательно перебирала в мыслях, что ей нужно высказать убедительное, очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность, и он все не шел,— вместо него ковыляли какие-то на костылях,— вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей.

После этого она ждала, быть может, всего еще минутку,— слезы навернулись от обиды, что вот ждет, а ему и дела мало. Ушла, легла на койку, стала думать про него самое несправедливое, что только могло взбрести в голову. Но чем же, чем он взволновал ее?

Сильнее обиды мучило любопытство — хоть мельком еще взглянуть: да какой же он? Да и нет ничего в нем... Миллион таких дураков... Большевик, конечно... Разбойник... А глаза-то, глаза — наглые... И мучила девичья гордость: о таком весь день думать! Из-за такого сжимать пальцы!..

Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары, волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили чехи. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь, Ольга Вячеславовна осталась, про нее не вспомнили.

На рассвете в больничном коридоре громыхали прикладами грудастые, чисто, по-заграничному, одетые чехи. Кого-то волокли,— срывающийся голос помощника заведующего завопил: «Я подневольный, я не большевик... Пустите, куда вы меня?..» Двое паралитиков подползли к окошку, выходящему во двор, сообщили шепотом: «В сарай повели вешать сердешного...»

Ольга Вячеславовна оделась, — на ней было казенное серенькое платье, — бинт на голове прикрыла белой косынкой. Над городом плыл праздничный звон колоколов. Занималась заря. Слышалась — то громче, то замирая — военная музыка входящих полков. Вдали за Волгой раскатывался удаляющийся гром пушек.

Ольга Вячеславовна вышла из палаты. На завороте в коридоре ее остановил патруль — два на низком ходу усатых чеха, пршикая и шипя, потребовали, чтобы она вернулась. «Я не пленница, я русская», — сверкая глазами, крикнула им Ольга Вячеславовна. Они засмеялись, протянули руки — ущипнуть за щеку, за подбородок... Но не лезть же ей было грудью на два лезвия опущенных штыков. Она вернулась, раздувая ноздри, села на койку, от мелкой дрожи постукивала зубами.

Утром больные не получили чаю, начался ропот. В обеденный час чехи взяли пять человек ампутированных красноармейцев. Паралитики у окна сообщили, что сердешных повели в сарай. Затем в палату вошел русский офицер, высоко подтянутый ремнем, в широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные потянули на себя одеяла. Он оглядел койки, прищуренные глаза его остановились на Ольге Вячеславовне. «Зотова? — спросил он. — Следуйте за мной...» Он точно летел на крыльях галифе, звонкие шпоры его наполняли чоканьем пустоту коридора.

Нужно было проходить через двор. В это время из подъезда, куда ее вели, вышел кудрявый юноша в русской вышитой рубашке, как-то мимоходом, надевая картуз, взглянул на нее и поторопился к воротам... Ольга Вячеславовна споткнулась... Ей показалось... Нет, этого не могло быть...

Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с длинным, искривленным, как в дурном зеркале, лицом. Глядел и он на нее разноглазыми глазами.

— И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе человека, интеллигентной девушке, связаться со сволочью? — услышала она его укоризненный голос, презрительно налегающий на гласные.

Она сделала усилие понять — что он говорит. Какая-то настойчивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздохнув, она сжала руки на коленях и принялась расска-

зывать все, что с ней случилось. Офицер медленно курил, навалившись на локоть. Она кончила. Он перевернул лист бумаги,— под ней лежала карандашная записочка.

— Наши сведения не совсем совпадают,— сказал он, задумчиво морща лоб.— Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с местной организацией большевиков. Что? — Угол рта его пополз вверх, брови перекинулись.

Ольга Вячеславовна со страхом наблюдала ужасающую асимметрию его чисто выбритого лица.

— Да вы... Я не понимаю... Вы с ума сошли...

— К сожалению, у нас имеются неопровержимые данные, как это ни странно. (Он держал папиросу на отлете, покачиваясь, пустил струйку дыма — нельзя было придумать ничего более салонного, чем этот человек.) Ваша искренность подкупает... (Колечко дыма.) Будьте же искренни до конца, дорогая... Кстати: ваши друзья, красноармейцы, умерли героями. (Один пегий глаз его устремился куда-то в окно, откуда видны ворота сарая.) Итак, мы продолжаем молчать? Ну что ж...

Взявшись за ручки кресла, он обернулся к чехам:

— Битте, прошу...

Чехи подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну со стула, провели по ее бокам, по груди, удовлетворенно поводя усами,— щупали, искали под юбкой карманы. Он глядел, приподнявшись, расширив разные глаза. Ольга Вячеславовна задохнулась. Румянец, пожар крови залил ее щеки. Вырвалась, вскрикнула...

— В тюрьму! — приказал офицер.

Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме, сначала в общей камере, потом в одиночке. В первые дни она едва не сошла с ума от навязчивой мысли о воротах сарая, припертых доской. Она не могла спать: во сне ее горло опутывалось веревкой.

Ее не допрашивали, никто ее не вызывал, о ней точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И вдруг точно книга раскрылась перед ней: все стало ясно. Тот, кудрявый, в вышитой рубашке, был действительно Валька, убийца: она не ошиблась... Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее: карандашная записочка была его доносом...

Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума, по одиночной камере: на ее страстные просьбы (в глазок двери) видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еще верила в справедливость, придумывала фантастические планы — раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым, как бог.

Однажды ее разбудили грубые, отрывистые голоса, грохот отворяемой двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Там был заключен человек в очках, — про него она знала только, что он надрывающе кашляет по ночам. Вскочив, она прислушалась. Голоса за стеной поднимались до крика — нестерпимые, торопливые. Надорвались, затихли. В тишине послышался стон, будто кому-то делали больно и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле.

Ольга Вячеславовна прижалась в углу, под окном, безумно расширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы (когда сидела в общей) о пытках... Она, казалось, видела опрокинутое землистое лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки... Ему скручивают проволокой кисти рук, щиколотки так, чтобы проволока дошла до кости... «Заговоришь, заговоришь», — казалось, расслышала она... Раздались удары, будто выколачивали ковер, не человека... Он молчал... Удар, снова удар... И вдруг что-то замычало... «Ага! Заговоришь!» И уже не мычанье — больной вой наполнил всю тюрьму... Будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу Вячеславовну, тошнота подошла к сердцу, ноги поехали, каменный пол закачался — ударились о него затылком...

Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой всю ее робкую надежду на справедливость. Но страстная душа Ольги Вячеславовны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по диагонали камеры, нашла спасение: ненависть, мщение. Ненависть, мщение! О, только бы выйти отсюда!

.

Подняв голову, она глядела на узкое окошечко; пыльные стекла позванивали тихо, высохшие пауки коле-

бались в паутине. Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. (Это на Казань двигалась Пятая красная армия.) Сторож принес обед, сопнув, покосился на окошечко: «Калачика вам принес, барышня... Если что нужно — только стукните... Мы всегда с политическими...»

Весь день звенели стекла. За дверями вздыхали сторожа. Ольга Вячеславовна сидела на койке, охватив колени. К еде и не притронулась. Било в колени сердце, били громом пушки за окном. В сумерки опять на цыпочках вошел сторож и — шепотом: «Мы подневольные, а мы всегда — за народ...»

Около полуночи в тюремных коридорах началось движение, захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек в тридцать. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры, бегом потащили по лестницам. Она, как кошка, извивалась, силилась укусить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора, холод осенней ночи наполнил грудь. Затем — низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми; конусы света карманных фонариков заметались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам... Исступленная матерная ругань... Грохнули револьверные выстрелы, казалось — повалились подвальные своды... Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту... На мгновение в луче фонарика выступило лицо Вальки... Горячо ударило ей в плечо, огненным веретеном просверлило грудь, рвануло за спину... Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами...

.

Пятая армия взяла Казань, чехи ушли вниз на пароходах, русские дружины рассеялись — кто куда, половина жителей в ужасе перед красным террором бежала на край света. Несколько недель по обоим берегам Волги, вздувшейся от осенних дождей, брели одичавшие беглецы с узелком и палочкой, терпели неслыханные лишения. Ушел из Казани и Валька.

Ольга Вячеславовна, наперекор здравому смыслу, осталась жива. Когда из тюремного подвала были выне-

сены трупы расстрелянных и рядом положены на дворе под хмуро морозящим небом, над ней присел и тихонько поворачивал ее голову кавалерист в нагольном тулупчике.

— А девчонка-то дышит,— сказал он.— Надо бы, братцы, до врача добежать...

Это был тот самый зубастый, с ястребиными глазами. Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города «непременно старорежимного профессора», ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти, доставил на мотоциклете в лазарет и сказал, указав на бесчувственную, без кровинки в лице, Ольгу Вячеславовну: «Чтоб была жива...»

Она осталась жива. После перевязки и камфары открыла синеватые веки и, должно быть, узнала наклонившиеся к ней ястребиные глаза. «Поближе,— чуть слышно проговорила она, и, когда он совсем придвинулся и долго ждал, она сказала непонятно к чему: — Поцелуйте меня...» Около койки находились люди, время было военное; человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся: «Черт, вот ведь»,— однако не решился, только подправил ей подушку.

.

Кавалериста звали Емельянов, товарищ Емельянов. Она спросила имя и отчество,— по имени-отчеству звали Дмитрий Васильевич. Узнав это, закрыла глаза, шевелила губами, повторяя: «Дмитрий Васильевич».

Полк его формировался в Казани, и Емельянов каждый день навещал девушку. «Должен вам сказать,— повторял он ей для бодрости,— живучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка... Поправитесь — запишу вас в эскадрон, лично моим вестовым...» Каждый день говорил ей об этом, и не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами, у нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. «Волосы вам обстригем, сапожки достану легонькие, у меня припасены с убитого гимназиста; на первое время, конечно, к коню ремнем будем прикручивать, чтобы не свалились...»

.

Ольга Вячеславовна действительно была живуча, как гадюка. После всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза, но горели они бессонной страстью, нетерпеливой жадностью. Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий, зажиточный дом отца; гимназия, сентиментальные подружки, снежок на улицах, девичьи увлечения заезжими артистами, обожание, по обычаю, учителя русского языка — тучного красавца Воронова; гимназический «кружок Герцена» и восторженные увлечения товарищами по кружку; чтение переводных романов и сладкая тоска по северным, — каких в жизни нет, — героиням Гамсуна, тревожное любопытство от романов Маргерита... Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам, святочная влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем, его рожки из черной саржи, набитые ватой... Запах цветов, замерзших на тридцатиградусном морозе... Грустная тишина, перезвон великого поста, слабеющие снега, коричневые на торговых улицах... Тревога весны, лихорадка по ночам... Дача на Верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте... Все это теперь вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной подушки...

В эти сны, — так ей представлялось, — разъяренной плотью ворвался Валька с пятифунтовой гирей на ремешке. Этого Вальку Брыкина выгнали за хулиганство из гимназии, он ушел добровольцем на фронт и через год опять появился в Казани, щеголяя уланской формой и солдатским георгием. Рассказывали, что его отец, полицейский пристав Брыкин (тот самый, кто издал знаменитый приказ, чтобы «городовым входить в храм божий без усилий»), подал прошение командующему войсками округа, умоляя сына своего Вальку услатить на самые передовые позиции, где бы его убили наверное, так как для родительского сердца лучше видеть этого негодяя мертвым, чем живым... Валька был всегда голоден, жаден до удовольствий и смел, как черт. Война научила его ухваткам, он узнал, что кровь пахнет кисло и — только, революция развязала ему руки.

Пятифунтовая гиря его вдребезги разбила радужный ледок Олечкиных снов. До ужаса тонок оказался ледок,

а на нем мечталось ей построить благополучие: замужество, любовь, семью, прочный, счастливый дом... Под ледком таилась пучина... Хрустнул он — и жизнь; грубая и страстная, захлестнула ее мутными волнами.

Ольга Вячеславовна так это и приняла: бешеная борьба (два раза убивали — не убили, ни черта она теперь не боялась), ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня и дикая тревога еще не изведанной любви — это жизнь... Емельянов садился у койки, она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла и говорила, с невинным доверием глядя ему в глаза:

— Я так представляла себе: муж — приличный блондин, я — в розовом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше — ничего!.. И это — счастье... Ненавижу эту девчонку... Счастья ждала, ленивая дура, в капоте, за кофейником!.. Вот сволочь!..

Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него... У нее было одно сейчас желание: оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки.

В ноябре Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе не было ни родных, ни знакомых. Северные тучи неслись над пустынными улицами, заколоченными магазинами, хлестали дождем и снегом. Емельянов бойко месил по грязи из переулка в переулок в поисках жилого помещения. Олечка плелась за ним на шаг позади в промокшем пудовом полушубке, в сапожках с убитого гимназиста; дрожали коленки, но лучше умереть — не отстала бы от Дмитрия Васильевича. Он получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец остановился на огромном, с колоннами и зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизировал его. В необитаемом доме через разбитые окна гулял ветер по анфиладе комнат с расписными потолками и золоченой, уже ободранной мебелью. Позванивали жалобно хрусталики на люстрах. В саду уныло шумели го-

лые липы. Ударом ноги Емельянов отворял двустворчатые двери.

— Ну гляди, навалили, дьяволы, прямо на паркет, в виде протеста...

В парадном зале он разломал дубовый орган — во всю стену — и дерево снес в угловую комнату с диванами, где жарко натопил камин.

— Здесь и чайничек можете вскипятить, и тепло и светло, — умели жить буржуи...

Он доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови — заваривать, крупы, сала, картошки — все довольствие недели на две, и Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно были печные трубы, будто призраки купцов Старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем...

У Ольги Вячеславовны было сколько угодно времени для размышлений. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запевать чайник, думала о Дмитрие Васильевиче: придет ли сегодня? Хорошо бы — пришел, у нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам: входил он — веселый, страшноглазый, — входила ее жизнь... Отстегивал револьвер и две гранаты, скидывал мокрую шинель, спрашивал, все ли в порядке, нет ли какой нужды.

— Главное, чтобы грудной кашель прошел и в мокроте крови не было... К Новому году вполне будете в порядке.

Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах, картинно описывал кавалерийские сражения, иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза.

— Империалистическая война — позиционная, окопная, потому что в ней порыва не было, умирали с тоской, — рассказывал он, расставив ноги посреди комнаты и вынув из ножен лезвие шашки. — Революция создала конную армию... Понятно вам? Конь — это стихия... Конный бой — революционный порыв... Вот у меня — одна шашка в руке, и я врубаюсь в пехотный строй, я лечу на пулеметное гнездо... Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя... И он в панике бежит, я его рублю, — у меня за плечами крылья... Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву без выстрела...

Гул... И ты — как пьяный... Сшиблись... Пошла работа... Минута, ну — две минуты самое большее... Сердце не выдерживает этого ужаса... У врага волосы дыбом... И враг повертывает коней... Тут уж — руби, гони... Пленных нет...

Глаза его блистали, как сталь, стальная шашка свистела по воздуху... Ольга Вячеславовна с похолодевшей от волнения спиной глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок к стиснутым кулачкам... Казалось: рассеки свистящий клинок ее сердце — закричала бы от радости: так любила она этого человека...

Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, казалось, она ловила его взгляд искоса — быстрый, затуманенный не братским чувством... Жар кидался ей в щеки, не знала, куда отвести лицо, метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть... Но — нет, он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон — нижний подвал, где «гвоздили» из души в душу последними словами мировую буржуазию... «Не пулей — куриным словом доедем... Ай, пишут как, ай, черти!» — кричал он, топая ногами от удовольствия...

Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславовны поправлялось. Однажды Емельянов пришел к ней рано, до света, велел одеться и повел ее на плац, где преподавал первые законы кавалерийской посадки и обращения с конем. На рассвете падал мягкий снежок, Ольга Вячеславовна скакала по белому плацу, оставляя песчаные следы от копыт. Емельянов кричал: «Сидишь, мать твою так, как собака на заборе! Подбери носки, не заваливайся!» Ей было смешно, — и радостью свистел ветер в ушах, пьянил грудь, на ресницах таяли снежинки.

В слабой девочке таились железные силы: непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу в конном и пешем строю она вытянулась, как струна, морозный ветер зарумянил лицо. «Поглядеть со стороны, — го-

ворил Емельянов,— соплей ее перешибешь, а ведь — чертенок...» И как черт она была красива: молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова, тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке, натуго перехваченном ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы.

Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось пригодные только к буржуазным танцам да к шелковым юбкам, развились и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шенкелям: сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком — лихо рубила пирамидку и лозу, но, конечно, настоящего удара у нее не было: в ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи.

Не глупа была и по части политграмоты. Емельянов боялся за «буржуазную отрывку»,— время было тогда суровое. «Товарищ Зотова, какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная Армия?..» Ольга Вячеславовна выскакивала и — без запинки: «Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами и интервентами за счастье всех трудящихся на земле...» Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на деникинский фронт.

Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачное, в ветреных тучах, угольно-красное и синее зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек — все недавнее прошлое забываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней. «Бро-о-сай курить!.. На коней!..» — раздался голос Емельянова. Легким движением она села в седло, шашка ударила ее по бедру... Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не потащишь под локти в подвал! «Ры-ысью марш!..» Заскрипело седло, засвистал сырой ветер, глаза глядели на багровый мрак заката. «Кони сорвались с цепей, разве только у океана остановимся»,— упоительной песней припомнились ей слова любимого друга... Так началась ее боевая жизнь.

.

В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезживотели бы со смеху, узнай, что Зотова — девица. Но это скрывали и она и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще: никто ее не лапал — все знали, что кулак у Емельянова тяжелый, несколько раз ему пришлось это доказать, и Зотова была для всех только братишкой.

По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто — на одной кровати: он — головой в одну сторону, она — в другую, прикрывшись каждый своим полушубком. После утомительных, по полсотне верст, дневных переходов, убрав коня, наскоро похлебав из котла, Ольга Вячеславовна стягивала сапоги, расстегивала ворот суконной рубашки и засыпала, едва успев прилечь на лавке, на печи, с краю кровати... Она не слышала, когда ложился Емельянов, когда он вставал. Он спал, как зверь, — мало, будто одним ухом прислушиваясь к ночным шорохам.

Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим. Она только теперь поняла силу его ястребиных глаз: это был взор борьбы. Добродушие, зубоскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими, заставы и часовых — на местах, Емельянов входил в избу усталый, крепко пахнувший потом, садился на лавку, чтобы последним усилием стащить набухшие сапоги, и часто так сидел в изнеможении с полустянутым голенищем на одной ноге. Подходил к кровати, и на минуту заглядывался в пылающее во сне, обветренное, и женское и детское лицо Ольги Вячеславовны. Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинность он бы не пощадил.

.

Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то серо-серебристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. У коня играла селезенка, — совсем как иноходец, шел он мягкой рысью. Перебегали желтенькие суслики дорогу. В такое утро можно

было забыть, что есть война, враг теснит и обходит, пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл, в городах — голод, по деревням — бунты. А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал, подлец, косил лиловым глазом, интересовался — побаловаться, поиграть.

Дорога шла мимо полузаросшего осокой пруда, в нем отражался, весь в складках, меловой обрыв. Конь перебил шаг и потянул к воде. Зотова спешила, разнуздала его, и он, войдя по колено, стал пить, но только потянул воду — поднял лысую морду и, весь сотрясаясь, громко, тревожно заржал. Сейчас же из лозняков в конце пруда ему ответили ржанием. Зотова живо взнуздала, вскочила в седло; вглядываясь, потянула из-за спины ложе карабина. В лозняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники — двое. Остановились. Это был разъезд. Но чей? Наш или белый?

У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги, всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска... «Текать!» Ольга Вячеславовна ударила ножами коня, пригнулась, — и полетели кустики полыни, сухие репья навстречу... За спиной послышался тяжелый настигающий топот... Выстрел... Она покосилась — один из всадников забирал правее, наперерез ей. Конь его, рыжий, донской, махал, как борзая собака... Опять выстрел сзади... Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник на донце скакал шагах в пятидесяти. «Стой, стой!» — страшно закричал он, размахивая шашкой... Это был Валька Брыкин. Она ушла его, толкнула шенкелем коня — навстречу ему, вскинула винтовку, и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел... Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, придавив всадника... «Валька! Валька!» — крикнула она дико и радостно, — и в эту минуту на нее сзади наскочил второй всадник... Увидела только его длинные усы, большие глаза, выпученные изумленно: «Баба!» — и его занесенная шашка вяло звякнула по стволу карабина Ольги Вячеславовны. Лошадь пронесла его вперед. В руках у нее уже не было карабина — должно быть, швырнула его или уронила (впоследствии, рассказывая, она не могла припомнить); ее рука ощути-

ла позывную, тягучую тяжесть выхваченного лезвия шашки, стиснутое горло завизжало, конь разостлался в угон, настиг, и она наотмашь ударила. Усатый лег на гриву, обеими руками держась за затылок.

Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по по-лынной степи. Она увидела, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, не попадая в ножны, вложила его. Потом остановила лошадь; меловой обрыв, озерцо остались влево, далеко позади. Степь была пустынна, никто не гнался, выстрелы прекратились. Звенели жаворонки в сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве. Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь сдержаться, но — ничего не вышло: слезы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле.

Потом, по пути в штаб дивизии, она еще долго сердито вытирала глаза то одним кулачком, то другим.

В эскадроне сто раз заставляли Зотову рассказывать эту историю. Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валялись от смеха.

— Ой, не могу, ой, братцы, смехотища! Баба угробила двух мужиков!..

— Постой, ты расскажи: значит, он на тебя налетает с затылка и вдруг закричал: «Баба!»

— А велики ли усы-то у него были?

— Глаза вылупил, удивился.

— И рука не поднялась?

— Ну, известное дело.

— И ты его тут — тюк по затылку... Ой, братишки, умру... Вот тебе и кавалер — разлетелся.

— Ну, а потом ты что?

— Ну что «потом»? — отвечала Ольга Вячеславовна. — Обыкновенно: клинок вытерла и побежала в дивизию с пакетом.

Одно существенное неудобство было в походной жизни: Ольга Вячеславовна не могла преодолеть стыдливость. В особенности досадно ей бывало, когда в жаркий день эскадрон дорывался до реки или пруда; бойцы нагишом, в радугах водяной пыли, с хохотом и гиканьем въезжали в воду на расседланных конях. Зотовой

приходилось выбирать местечко отдельно, где-нибудь за кустом, за тростниками. Ей кричали:

— Дура девка, ты обвяжись портянкой, айда с нами.

Емельянов строго следил за чистоплотностью и опрятностью. «Если у конника прыщ на ягодице — вон из строя; это не боец, — говаривал он. — Конник, пуще всего береги ж... Если позволяют обстоятельства, летом и зимой обливайся у колодца — четверть часа физических упражнений».

Обливание у колодца тоже бывало затруднительно для нее: приходилось вставать раньше других, бежать по студеной росе, когда в слоистых облаках и туманах еще только брезжило утро пунцовой щелью. Однажды она вытащила жалобно заскрипевшим журавлем ведро ледяной пахучей воды, поставила его на край колодца, разделась, пожимаясь от сырости, — и что-то будто коснулось неслышно ее спины.

Обернулась: на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодец и присела так, что видны были только ее немигающие глаза. Будь это любой из товарищей, она бы прикрикнула просто: «Что ты, черт, уставился, отвернись!» Но голос ее пересох от стыда и волнения. Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел.

Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг стало сложным — самое простое. Эскадрон остановился на ночевку на горелых хуторах, для спанья пришлась одна кровать, как это часто бывало. В эту ночь Ольга Вячеславовна легла на самый краешек, на попону, пахнущую конем, и долго не могла заснуть, хотя и сжимала веки изо всей силы. Все же она не услышала, когда пришел Емельянов. Когда петухи разбудили ее — он, оказывается, спал прямо на полу, у двери... Исчезла простота... В разговорах Дмитрий Васильевич хмурился, глядел в сторону; она чувствовала на его лице, на своем лице одну и ту же напряженную, притворную маску. И все же это время она жила как пьяная от счастья.

До сих пор Зотова не бывала в настоящем деле. Полк вместе с дивизией продолжал отходить на север. Во время мелких стычек она неизменно находилась при командире эскадрона. Но вот где-то на фронте случилась боль-

шая неприятность, — о ней тревожно и глухо заговорили. Полк получил приказ — прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово «рейд». Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня. Теплый дождь шумел по листьям, не было видно вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи; она догадалась, вздохнула, закинула голову. Дмитрий Васильевич, нагнувшись, спросил:

— Не заробеешь? Ну, ну, смотри... Ближе ко мне держись...

Потом раздалась негромкая команда, бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стремями Дмитрия Васильевича. Долго пробирались шагом. Под копытами чавкало, тянуло грибами откуда-то. Затем в непроглядной темноте появились мутные просветы — лес редел. Справа, совсем близко, метнулись огненные иглы, гулкие выстрелы покатались по чернолесью. Емельянов крикнул протяжно: «Шашки вон, марш, марш!..» Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы. И сразу серая, дымная, уходящая вниз поляна разостлалась перед глазами, по ней уже мчались тени всадников. Берег оборвался. Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, подобрав зад, кинулся в речку...

Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под низкими тучами; степь гудела под копытами пяти сотен коней. На скаку, срываясь, запели трубы горнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов.

— В целях маскировки мы теперь — сводный полк ссеверо-кавказской армии генерал-лейтенанта барона Врангеля. Запомнили, курьи дети? (Бойцы заржали.) Кто там смеется, — в зубы, молчать; я вам теперь не «товарищ командир», а «его высокоблагородие господин капитан». (Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одним просветом.) Вы теперь не «товарищи», а «нижние чины». Тянуться, козырять, выкать. «Мо-о-ол-чать, руки по швам!» Поняли? (Весь эскадрон грохотал; вытягивались, козыряли, к «ваше высокобла-

городие» пристегивали разные простые словечки.) Пришивайте погоны, звезду в карман, кокарду на фуражку.

Три дня мчался замаскированный полк по врангелевскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам — горели железнодорожные станции, поезда, военные склады, взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На четвертые сутки кони приустили, начали спотыкаться, и в глухой деревеньке был сделан дневной привал. Ольга Вячеславовна убрала коня и тут же, не перешагнув через ворох сена, повалилась, заснула. Разбудил ее громкий женский смех: свежая бабенка в подоткнутой над голыми икрами черной юбке сказала кому-то, указывая на Зотову: «Какой хорошенький...» Бабенка вешала на дворе вымытые портянки.

Когда Ольга Вячеславовна вошла в избу, у стола сидел Емельянов, заспанный, веселый, в волосах пух, ноги босые. Значит — его портянки были стираны.

— Садись, сейчас борщ принесут. Хочешь водки? — сказал он Ольге Вячеславовне.

Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стукнула чугуном под самым носом у Емельянова, повела полным плечом:

— Точно ждали мы вас, уж и борщ... — Голос у нее был тонкий, нараспев, — бойка, нагла... — Портяночки ваши выстирала, не успеете оглянуться — высохнут... — И сучьими глазами мазнула по Дмитрию Васильевичу.

Он одобрительно побрякивал, хлебая, — весь какой-то сидел мягкий.

Ольга Вячеславовна положила ложку; лютая змея ужалила ей сердце, — помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шепотом, задыхаясь:

— Ты что: смерти захотела?..

Бабенка ахнула, с силой выдернула руку, убежала. Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу Вячеславовну: какая ее муха укусила? А когда сел на коня, увидел ее свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри и из-за угла сарая испуганно выглядывающую, как крыса, простоволосую бабенку, и — все понял, расхохотался — по-давнишнему — всем белым оскалом зубов. Выезжая из ворот, кос-

нулся коленом Олечкиного колена и сказал с неожиданной лаской:

— Ах ты дурочка...

У нее едва не брызнули слезы.

На пятый день было обнаружено, что целая казачья дивизия преследует по пятам замаскированный красный полк. Теперь уходили полным ходом, бросая измученных коней. Когда настала ночь, завязался арьергардный бой. Полковое знамя было передано первому эскадрону. Не останавливаясь, влетели в какое-то, без огней, темное село. Стучали рукоятками шашек в ставни. Выли собаки, все кругом казалось вымершим, только на колокольне бухнул колокол и затих.

Привели двух мужиков, — нашли их в соломе, лохматых, как лешие. Оглядываясь на конников, они повторяли только:

— Братцы, голубчики, не губите...

— За белых ваше село или за советскую власть? — нагнувшись с седла, закричал Емельянов.

— Братцы, голубчики, сами не знаем... Все у нас взяли, пограбили, все разорили...

Все же удалось от них допытаться, что село пока не занято никем, что ждут действительно казаков Врангеля и что за рекой, за железнодорожным мостом, в окопах находятся большевики. Полк снял погоны, нацепил звезды и перешел через мост на свою сторону. Здесь выяснилось, что по всему фронту белые наступают как бешеные и этот мост велено защищать — хоть сдохни; а воевать нечем: пулеметные ленты к пулеметам не подходят, в окопах — вши, хлеба нет, красноармейцы от вареного зерна распухли до последней степени, как ночь — разбегаются; агитатор был, да помер от поноса.

Командир полка соединился по прямому проводу с главковерхом: действительно — было велено защищать мост до последней капли крови, покуда армия не выйдет из окружения.

— Живыми отсюда не уйдем, — сказал Емельянов.

Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславовне и, присев около нее, вглядывался в не-

ясное очертание дальнего берега. Мутная желтоватая звезда стояла над рекой. Весь день врангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ: форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село.

Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый неподвижный след звезды на реке,— в нем была тоска.

— Ну, пойдём, Оля,— сказал Дмитрий Васильевич,— надо поспать часик.— В первый раз он назвал ее по имени.

Из кустов на крутой берег выползали с котелками воды крадущиеся фигурки бойцов: весь день к реке не было подступа, никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней.

— Поцелуй меня,— с тихой тоской сказала Ольга Вячеславовна.

Он осторожно поставил котелок, привлек ее за плечи,— у нее упала фуражка, закрылись глаза,— и стал целовать в глаза, в рот, в щеки.

— Женой бы тебя сделал, Оля, да нельзя сейчас, понимаешь ты...

Ночные атаки были отбиты. Белые укрепили мост, запутав конец его проволокой, и били вдоль него из пулеметов. Серое утро занялось над дымящейся рекой, над сырыми лугами. Земля на обоих берегах взлетала поминутно, будто вырастали черные кусты. Воздух выл и визжал, плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди. Множество уткнувшихся, раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно. Люди не могли больше идти на пулеметный огонь.

Тогда за железнодорожной насыпью восемь коммунаров съехались под полковое знамя; разорванное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. Два эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал: «Нужно умереть, товарищи»,— и шагом отъехал под знамя. Восьмым был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста.

Ольга Вячеславовна видела: вот конь одного повалился на перила, и конь и всадник полетели с десяти-

женной высоты в реку. Семеро достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился с седла. Передние, доскавав, рубили шашками проволоку. Рослый знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, и — сейчас же конь его забился.

Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась по щелястым доскам над головокружительной высотой. Вслед за Зотовой загудели, затряслись железные переплеты моста, заревело полтораста глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги, держал древко перед собой, лицо его было мертвое, из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя. Он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны — гривы, согнутые спины, сверкающие клинки.

Все прорвалось на ту сторону; враг бежал, пушки замолкли. Долго еще над лавой всадников вилось по полю и скрылось за ветлами села в клочья изодранное знамя; с ним теперь уже скакал, колотя лошадь голыми пятками, широкомордый парень-красноармеец, — размахивая древком, кричал: «Вали, вали, бей их!..»

Ольгу Вячеславовну подобрали в поле; она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее: не знали, как ей и сказать, что Емельянов убит. Послали депутацию к командиру полка, чтобы Зотову наградили за подвиг. Долго думали — чем? Портсигар — не курит, часы — не бабье дело носить. У одного конника нашли в вещевом мешке брошку из чистого золота: стрела и сердце. Командир полка без возражения согласился на эту награду, но в приказе выразился с оговоркой: «Зотову за подвиг наградить золотой брошью — стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, убрать...»

4

Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, так вся жизнь Ольги Вячеславовны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей не нужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых

теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые, для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости, во всем свете — никого близкого. Жить было тошно и мрачно, и все же смерть не взяла ее.

Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до того, что шинель и голенища болтались на ней, как на скелете, — пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то, на людей не похожие, люди. Куда было ехать? Весь мир — как дикое поле. Вернулась в город, на сборочный пункт к военкому, предъявила документы и наградную брошь-стрелку и вскоре с эшелоном уехала в Сибирь — воевать.

Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму, тысячи, тысячи верст, долгие, как путь, песни, вонь и загаженный снег казармы, оружие буквы военных плакатов и черт знает каких афиш и извещений — клочья бумаги, шелестящие на морозе, мрачные митинги среди бревенчатых стен в полумраке коптящей лампы — и опять снега, сосны, дымы костров, знакомый звук железных бичей боя, стужа, сгоревшие села, кровавые пятна на снегу, тысячи, тысячи трупов, как раскиданные дрова, заносимые поземкой... Все это путалось в ее воспоминаниях, сливалось в один долгий свиток нескончаемых бедствий.

Ольга Вячеславовна была худа и черна; могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень тоща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бездомный фронтовик с большими губами — «Губан» — и попросил у нее побаловаться, но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносье, что братка увели в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о «Гадючке»...

Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз она увидела океан — синий, темный, живой. Бежали, стремились к берегу длинные гривы пены, поднимались волны еще на горизонте и, добежав, били в мол, взлетали жидким облаком. Ольга Вячеславовна захотела уйти на корабле... Ожили в воспоминаниях картинки, над которыми мечталось в детстве: берега с невиданными де-

ревьями, горные пики, луч солнца из необъятных облаков и тихий путь кораблика... Проплыть мимо мыса Бурь, посидеть, пригорюнясь, на камешке у реки Замбези... Все это был, конечно, вздор. Никто не принял на корабль, только в портовом тайном кабаке старый лоцман, приняв ее за проститутку и с пьяными слезами пожалев за погибшую молодость, нататуировал на ее руке якорь: «Помни, сказал, это надежда на спасение...»

Потом — кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям: машинисткой при исполкоме, секретаршей в Главлесе или так, писчебумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа в этаж.

На месте долго не засиживалась, все время передвигалась из города в город — поближе к России. Думалось: проехать бы по тому мосту, над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич... Нашла бы и тот куст ракитовый и место примятое, где сидели...

Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее, — Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной...

5

В двадцать два года нужно было начинать третью жизнь. То, что теперь происходило, она представляла как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась, глаза, еще налитые кровью, искали — что разрушить, а уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить.

Она читала и слышала об этом, и ей казалось, что это труднее войны. Города, где она проживала, были разрушены с неистовой яростью, все покривилось и повалилось, крапивой заросли пожарища, — человек жил под одной рогожкой. Человек ел и спал, и во сне все еще грезилась ему видения войны. Творчество выражалось в производстве банных веников и глиняной посуды — такой же, как в пращуровские времена.

Листочки декретов звали восстанавливать и творить. Чьими руками? Своими же, вот этими — все еще скрюченными, как лапа хищной птицы... Ольга Вячеславовна в часы заката любила бродить по городу, — вглядывалась в недоверчивые, мрачные лица людей с неразглаженными морщинами гнева, ужаса и ненависти, — она хорошо знала эту судорогу рта, эти обломки, дыры на месте зубов, съеденных на войне. Все побывали там — от мальчика до старика... И вот бродят по загаженному городу, в кисло пахнувшей одежде из мешков, из буржуйских занавесок, в разбитых лаптях, взъерошенные, готовые ежеминутно заплакать или убить...

Листки декретов настойчиво требуют — творчества, творчества, творчества... Да, это потруднее, чем пироксилиновой шашкой взорвать мост, в конном строю изрубить прислугу на батарее, выбить шрапнелью окна в фабричном корпусе... Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Кто-то уже перекрестил его куском штукатурки, нацарапал похабное слово. Она рассматривала лица, каких не бывает, развевающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам: «индустриализация»... Она была девственно впечатлительна и мечтала у нарядного плаката, — ее волновало величие этой новой борьбы.

Закат мрачнел; последнее неистовство его красок, пробившись из-под свинцовой тучи, зажигало осколки стекол в зияющих пустынных домах. Изредка брел прохожий, грызя семечки, плюя в грязь разъезженной улицы, где валялись ржавые листы и ощеренная кошачья падаля. Семечки, семечки... Досуг человека заполнялся движением челюстей, мозг дремал в сумерках. В семечках был возврат к бытию до каменного топора. Ольга Вячеславовна сжимала кулачки — она не могла мириться с тишиной, семечками, банными вениками и огромными пустырями захолустья...

Ей удалось получить командировку в Москву; она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения.

К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно: бывало с ней и похуже. Первые неде-

ли в Москве ютилась где попадетсЯ, затем получила комнату в коммунальной квартире, в Зарядье. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих, как улей, учреждений, она поступила на службу в отдел контроля Треста цветных металлов. У нее было чувство воровья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных курантов. Она поджала хвост. Минута в минуту приходила на службу. Присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючья злость. Здесь только постукивали ундервуды, как молоточки в ушах в сыпнотифозном бреду, шелестели бумаги, бормотали в телефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне: ясно, отчетливо, под пение пуль — всегда к видимой цели...

Затем, разумеется, она по привычке, обошлась, «разгладила шерстку». Побежали дни, рабочие, однообразные, спокойные. Чтобы не утонуть с головой в этом забвении канцелярий, она стала брать на себя общественную нагрузку. В клубную работу она внесла дисциплину и терминологию эскадрона. Ее пришлось удерживать от излишней резкости.

Первый щелчок она получила от помзава, сидевшего сбоку от нее, по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава. Произошло это по случаю курения махорки. Помзав сказал:

— Удивляюсь вам, товарищ Зотова: такая, в общем, интересная женщина и — провоняли все помещение махоркой... Женственности, что ли, в вас нет... Курили бы «Яву».

Должно быть, это пустячное замечание пришлось как раз вовремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и, впервые за много лет, по-женски оглядела себя: «Черт знает что такое — огородное чучело». Протертая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта... Как же это случилось?

Две пишбарышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и — ниже площадкой — фыркнули со смеху; можно было разобрать только: «...лошади испугаются...» Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны... Одна из этих пишбарышень жила в той же квартире на Зарядье — звали ее Сонечка Варенцова.

.

Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке (что на Зарядье), были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставилась блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на ее чулки: «Это где купили?» — задрала Сонечкину юбку и, указывая на белье: «А это где купили?» И спрашивала со злобой, словно рубила клинком.

Сонечка, нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна: мягким голосом подробно объяснила, что эти вещи Ольга Вячеславовна сумеет достать на Кузнецком мосту, что теперь носят платья «шемиз», чулки телесного оттенка и прочее и прочее...

Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой, повторяла: «Есть. Так... Поняла...» Затем схватилась за Сонечкину светленькую кудряшку, хотя это была и не конская грива, а нежнейшая прядь:

— А это — как чесать?

— Безусловно стричь, мое золотко, — пела Роза Абрамовна, — сзади — коротко, спереди — с пробором на уши...

Петр Семенович Морщ, зайдя на кухню, прислушался и отмочил, как всегда, самодовольно блестя черепом:

— Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна...

Она стремительно обернулась к нему (впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы) и проговорила не громко, но внятно:



«ДРЕВНИЙ ПУТЬ»



«СОЮЗ ПЯТИ»

— Сволочь недорезанная! Попался бы ты мне в поле...

В управлении Треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном, с короткими рукавами, шелковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках; каштановые волосы ее были подстрижены и блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, уши у нее горели.

Помзав, молодой и наивный парень, ужасно вылупился, сидя под бешено трещающим телефоном.

— Елки-палки, — сказал он, — это откуда же взялось?

Действительно, Зотова до жути была хороша: тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза — как ночь, длинные ресницы... руки отмыла от чернил, — одним словом, крути аппарат. Даже зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зотову свинцовым глазом...

— Ударная девочка! — впоследствии выразился он про нее.

Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой.

Когда прошло первое смущение, она почувствовала на себе эту новую кожу легко и свободно, как некогда — гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутый полушубок и шпоры. Если уж слишком палились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу.

На третий день, в пять часов, когда Зотова оторвала кусок промокашки и, помуслив ее, отчищала на локте чернильное пятно, к ней подошел помзав Иван Федорович Педотти, молодой человек, и сказал, что им «нужно поговорить крайне серьезно». Ольга Вячеславовна чуть подняла красивые полоски бровей, надела шляпу. Они вышли.

Педотти сказал:

— Проще всего зайти ко мне, это сейчас за углом.

Зотова чуть пожала плечиком. Пошли. Жарким вет-

ром несло пыль. Влезли на четвертый этаж, Ольга Вячеславовна первая вошла в его комнату, села на стул.

— Ну? — спросила она. — О чем вы хотели со мной говорить?

Он швырнул портфель на кровать, взъерошил волосы и начал гвоздить кулаком непроветренный воздух в комнате.

— Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу в лоб, прямо... В ударном порядке... Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность... Романтику всякую там давно пора выбросить за борт... Ну — вот... Предварительно я все объяснил... Вам все понятно...

Он обхватил Ольгу Вячеславовну под мышки и потащил со стула к себе на грудь, в которой неистово, будто на краю неизъяснимой бездны, колотилось его неученое сердце. Но немедленно он испытал сопротивление: Зотову не так-то легко оказалось стащить со стула, — она была тонка и упруга. Не смутившись, почти спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у запястий и так свернула их, что он громко охнул, рванулся и, так как она продолжала мучительство, закричал:

— Больно же, пустите, ну вас к дьяволу!..

— Вперед не лезь, не спросившись, дурак, — сказала она.

Отпустила Педотти, взяла со стола из коробки папиросу «Ява», закурила и ушла...

Ольга Вячеславовна всю ночь ворочалась на постели... Садилась у окна, курила, снова пыталась зарыться головой под подушки... Припомнилась вся жизнь; все, что казалось навек задремавшим, ожило, затосковало... Вот была чертова ночка... Зачем, зачем? Неужели нельзя прожить прохладной, как ключевая водица, без любовной лихорадки? И чувствовала, содрогаясь: уж, кажется, жизнь била ее и толкла в ступе, а дури не выбила, и «это», конечно, теперь начнется... Не обойтись, не уйти...

Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой:

— ...Поразительно, до чего она ломается... Противно даже смотреть... Тронуть, видите ли, ее нельзя, такая разборчивая... При заполнении анкеты прописала вот такими буквами: «девица»... (Смех, шипение примусов.)

А все говорят: просто ее возили при эскадроне... Понимаете? Жила чуть не со всем эскадроном...

Голос Марьи Афанасьевны, портнихи:

— Безусловный люис... По морде видно.

Голос Розы Абрамовны:

— А выглядывает — что тебе баронесса Ротшильд.

Басок Петра Семеновича Морша:

— Будьте с ней поосторожнее, гадюку эту я давно раскусил... Она карьеру сделает — глазом не моргнете...

Возмущенный голос Сонечки Варенцовой:

— Вы уж, знаете, и брякнете всегда, Петр Семенович... Успокойтесь, — не с такими данными делают карьеру...

Ольга Вячеславовна вошла на кухню, все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой, и проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали. Но крика никакого не вышло на этот раз.

.....

После случая с Педотти, возненавидевшим ее со всей силой высеченного мужского самолюбия, вокруг Зотовой образовалась молчаливая враждебность женщин, насмешливое отношение мужчин. Ссориться с ней опасались. Но она затылком чувствовала провожающие недобрые взгляды. За ней укреплялись клички: «гадюка», «клеяменная» и «эскадронная шкура», — она расслышивала их в шепотке, читала на промокашке. И — всего страннее, что весь этот вздор она воспринимала болезненно... Будто бы можно было закричать им всем: «Я же не такая...»

Недаром когда-то Дмитрий Васильевич назвал ее цыганочкой... С темной тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже со зрелой силой, просыпаются желания... Ее девственность негодовала... Но — что было делать? Мыться с ног до головы под краном ледяной водой? Слишком больно обожглась, страшно бросаться в огонь еще раз... Это было не нужно, это было ужасно...

.....

Ольга Вячеславовна всего минуту глядела на этого человека, и все существо ее сказало: он... Это было необъяснимо и катастрофично, как столкновение с автобусом, выгромыхнувшим из-за угла.

Человек в парусиновой толстовке, рослый и, видимо, начинающий полнеть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Мимо, из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице, бегали служащие. Пахло пылью и табаком. Все было обычно. Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стенгазеты карикатуру на хозяйственного директора Махорочного треста (помещавшегося этажом выше). Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней и, указывая на карикатуру (кисть руки его была тяжелая, большая, красивая):

— Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? (Голос его был сильный и низкий.) Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против... Но это же никому не нужно, это — мелочь, это не талантливо!

На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности...

— Больно укусить побоялись, а тьякнули — поллакейски... Ну что же, что чай... В девятнадцатом году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать...

Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза: серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те — любимые, навек погасшие... Чисто выбритое лицо — правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой... Она вспомнила: в девятнадцатом году он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию, на десятки тысяч верст его имя наводило ужас... Такие люди ей представлялись — несущие голову в облаках... Он тасовал события и жизни, как колоду карт... И вот — с портфелем, с усталой улыбкой — и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями...

— Так все мельчить неумело, — опять сказал он, — можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам... Значит, старики сделали дело и — на свалку... Жалованье получили, теперь пойдем пиво пить... Молодежь то хороша, да вот от прошлого отрываться опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки... Так-то...

Он ушел. Ольга Вячеславовна глядела ему на сильный затылок, на широкую спину, медленно поднимающуюся по каменным ступеням в помещение Махорочного

треста, и ей казалось, что он делает большое усилие, чтобы не согнуться под тяжестью дней... Ей пронзительно стало его жалко... А как известно, жалость...

При первом случае, с бумажкой от месткома, Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты Махорочного треста и вошла в кабинет хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем, на портфеле его лежала сдобная плюшка. У окошка шибко стучала пишбарышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на нее внимания, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подписал. Она продолжала стоять. Он сказал:

— Все, товарищ.. Идите.

Это было действительно все... Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пишбарышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума... Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале, он не вынесет ее на руках, не сядет у койки, не пообещает сапожки с убитого гимназиста...

Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать. Наутро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину, и тогда-то именно Петр Семенович Морш предложил дунуть из трубочки граммов десять йодоформу: «Бесится наша гадюка-то», — сказали на кухне. Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась, в голубеньких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности.

Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти; но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу: надо — стало быть, надо. Ожидать случая, счастья, действовать по мелочам — где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голое плечико из платья, — было не по ней. Решила: прямо пойти и все сказать ему: пусть что хочет, то и делает с ней... А так — жизни нет...

Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же, на улице, схватить его за рукав: «Я люблю вас, я погибаю...» Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих... В эти как раз дни она запустила в Журавлева горящим примусом. Коммунальная квартира насыщалась

грозовым электричеством. Сонечка Варенцова нервничала и уходила из кухни, заслышав шаги Зотовой... Шутник Владимир Львович Понизовский проник при помощи подобранного ключа в комнату Зотовой и положил ей под матрац платяную щетку, но она так и проспала ночь, ничего не заметив.

Наконец он пошел пешком со службы (автомобиль был в ремонте). Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула, — во рту, в горле пересохло. Пошла рядом, не могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорщила локти. Секунда разлилась в вечность, ей было и жарко, и зябко, и нежно, и злобно. А он шел равнодушный, без улыбки, — строгий...

— Дело в том...

— Дело в том, — сейчас же перебил он с брезгливостью, — мне про вас говорят со всех сторон... Удивляюсь, да, да... Вы преследуете меня... Намеренье ваше понятно, — пожалуйста, не лгите, объяснений мне не нужно... Вы только забыли, что я не нэпман, слюней при виде каждого смазливового личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет — выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее. Из вас может выйти хороший товарищ...

Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Пожимая плечами, возмущаясь, она начала что-то ему говорить. Он продолжал брезгливо морщиться, высвободил свою руку и шел, опустив тяжелую голову. Облако бензиновой гари от автобуса скрыло их от Ольги Вячеславовны.

Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора Махорочного треста о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно...

В воскресное утро, уже описанное нами выше, когда скрипнула дверь Ольги Вячеславовны, Сонечка бросилась к себе и громко заплакала, потому что ей стало невыносимо обидно жить в постоянном страхе. Вымывшись, Ольга Вячеславовна произнесла неизвестно к че-

му: «Ах, это — черт знает что» дважды — на кухне и возвращаясь к себе в комнату, — после чего она ушла со двора.

На кухне опять собрались жильцы: Петр Семенович в воскресных брюках и в новом картузике с белым верхом. Владимир Львович — небритый и веселый с перепоею. Роза Абрамовна варила варенье из мирабели. Марья Афанасьевна гладила блузку. Болтали и остряли. Появилась Сонечка Варенцова с запухшими глазками.

— Я больше не могу, — сказала она еще в дверях, — это должно кончиться, наконец... Она меня обольет купоросом...

Владимир Львович Понизовский предложил сейчас же настричь щетины от платяной щетки и каждый день сыпать в кровать гадюке, — не выдержит, сама съедет. Петр Семенович Морш предложил химическую оборону — сероводородом или опять тот же йодоформ. Все это были мужские фантазии. Одна Марья Афанасьевна сказала дело:

— Хотя вы и на редкость скрытная, Лялочка, но признайтесь: с директором у вас оформлена связь?

— Да, — ответила Лялочка, — третьего дня мы были в загсе... Я даже настаивала на церковном, но это пока еще невозможно...

— Поживем — увидим, — блеснув лысиной, проскрипел Петр Семенович.

— Так этой гадине ползучей, — Марья Афанасьевна потрясла утюгом, — этой маркитантке вы в морду швырните загсово удостоверение.

— Ой, нет... Ни за что на свете... Я так боюсь, такие тяжелые предчувствия...

— Мы будем стоять за дверью... Можете ничего не бояться...

Владимир Львович, радостный с перепоею, заблеял баранчиком:

— Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного производства.

Лялочку уговорили.

Ольга Вячеславовна вернулась в восемь часов вечера, сутулая от усталости, с землистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки в колени... Одна,

одна в дикой, враждебной жизни, одинока, как в минуту смерти. не нужна никому... Со вчерашнего дня ею все сильнее овладевала странная рассеянность. Так, сейчас она увидела в руках у себя велодок — и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку...

В дверь постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шархнулись жильцы, — кажется, в руках у них были щетки, кочерги... В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами... Сразу же заговорила срывающимся на визг голосом:

— Это совершенное бесстыдство — лезть к человеку, который женат... Вот удостоверение из загса... Все знают, что вы — с венерическими болезнями... И вы с ними намерены делать карьеру!.. Да еще через моего законного мужа!.. Вы — сволочь!.. Вот удостоверение...

Ольга Вячеславовна глядела, как слепая, на визжавшую Сонечку... И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло, все мускулы напряглись, как сталь... Из горла вырвался вопль... Ольга Вячеславовна выстрелила и — продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо...

ЭМИГРАНТЫ



Факты этой повести исторически подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств. Профессор Стокгольмского университета сообщил мне подробности этого забытого дела. Остальные персонажи и сцены взяты по возможности документально из материалов, из устных рассказов и личных наблюдений. В первой редакции эта повесть называлась «Черное золото».

А. Толстой

Летом тысяча девятьсот девятнадцатого года ветер с океана приносил короткие ливни, солнце сквозь разрывы облаков освещало мокрые асфальты Парижа, бульвары, каштановые аллеи, аспидные крыши, полосатые парусины над столиками кабачков, потоки потрепанных автомобилей, снова вернувшихся с полей войны к услугам парижан и иностранцев.

Город испускал сложное благоухание. Центральные бульвары пахли бензином и духами, боковые улочки — ванилью, овощами, винными лавками, непроветренными постелями, гигантские железо-стеклянные рынки — всеми дарами моря и земли. В старых, взбирающихся на холмы извилистых улицах, где жили те, чье мускульное напряжение наполняло город золотом и роскошью, пахло жареной картошкой, мокрыми опилками кабачков, ацетиленовыми фонарями уличных палаток, где жарились вафли и крутились пестрые рулетки.

Ветер с востока, с полей войны, разгонял пленительную лазурь полутеней, солнце жгло зеркальный асфальт, сухо шелестела каштановая листва, лоснились потом проборы у толстеньких гарсонов, смахивающих салфетками пыль с мраморных столиков на тротуарах, нездоровье проступало на женских лицах, загримированных с послевоенной решительностью, нехорошее возбуждение — на лицах юношей, свинцовая усталость — под седыми усами у стариков.

Ветер с полей войны, где под тонким слоем земли еще не кончили разлагаться пять миллионов трупов про-

межуточного поколения французов, немцев, англичан, африканцев, нагонял на город тление. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбункулами, рожей, гнилостными воспалениями, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи.

Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококковой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты, траур остался лишь в черных оттенках мужских галстуков, женщины обнажились по пояс, и город с часу дня до розовой зари надрывающе пел саксофонами.

Всюду, где был квадратный метр свободной площади, взывала стальная пластинка флексотона, мурлыкала скрипка, хрипела кривая дудка, стучали дощечки, бухал турецкий барабан, и демобилизованный, плотно прижимая к себе растопыренными пальцами женщину, шаркал и шаркал подошвами...

Каждый демобилизованный не прочь был бы устроить веселенькое побоище по возвращении с войны. В конце концов, покуда дураки сидели в окопах, умные не теряли времени в тылу. Но власть предоставила вернувшимся «защитникам отечества» лишь мирным путем стыскивать себе место в жизни. Все было ново, потрясено, сдвинулось, перемешалось. Франк падал, цены росли.

Руки, привыкшие к винтовке, не легко протягивались в окошечко кассира за скудной субботней выручкой. Что ни говори о прекрасной родине, а ухлопать такую уйму народа, чтобы вновь одним — с парусиновым свертком инструментов на плече благонамеренно шагать в дымах рассвета к гудкам кирпичных корпусов, другим — проноситься по тем же мостовым в шикарных машинах (сонные морды, завядшие бутоньерки, смятые груди смокингových рубашек), — тут можно было задуматься: «Так что же, выходит — ты чужое счастье купил своей кровью? Дурак же ты, Жак!»

Правительство, обеспокоенное настроениями рабочих кварталов, стремилось сгладить остроту: около миллиарда франков было отпущено на стабилизацию цены на превосходный белый хлеб. Двести тысяч франков взлетело вечером четырнадцатого июля с мостов Парижа пышными ракетами, огненными дождями, павлиньими

хвостами в черно-лиловое небо. Ежедневно все восемьдесят столичных газет раскрывали таинственные преступления, жуткие убийства — трупы в багажных корзинах, головы, выловленные в Сене. Удалось потрясти воображение сексуально-кровавым процессом Ландрю: этот второй Рауль Синяя Борода заманил на свою дачу двенадцать женщин, ограбил, задушил и сжег их в печи. Ландрю казнили в Версале, куда устремились еще с вечера толпы шикарных парижан. Коротая теплую ночь на площади перед гильотиной, они веселились, как дети. Звезда эстрады, Мистангет, плясала на верху лимузина. На рассвете палач, в черном сюртуке, в цилиндре, появился рядом с двумя столбиками, где наверху поблескивал треугольник ножа, — палач дал знак. Из тюрьмы выволокли упирающегося лысого человека со всклокоченной черной бородой... Несколько секунд — и он привязан под ножом, он вздрагивает икрами. Палач нажимает кнопку, глухой стук ножа, голова Ландрю отскакивает в корзину. Туда же палач, сняв осторожно, бросил белые перчатки. Приподнял цилиндр. Рукоплескания...

Организованы были экскурсии на развороченные поля сражений, где торчали обломки городов и ряды деревянных крестов пропадали за горизонтом. Ни травинки, ни птиц, ни насекомых — почва была еще пропитана нарывным газом. За двадцать франков можно было поглядеть на места гибели пяти миллионов человек.

Эти экскурсии подготавливали общественное мнение: Совет Десяти медлил с подписанием мира, — Германию ожидала суровая кара. Двадцать семь стран и народов, воевавших против Германии, послали представителей на парижскую мирную конференцию, в ней выделилось ядро из пяти великих держав — Совет Десяти. Во главе стоял президент США — Вудро Вильсон. Он привез из Вашингтона четырнадцать пунктов вечного мира для человечества. Эти четырнадцать заповедей из страны, которая загребла все золото Европы, должны были восстановить дух христианства, мирные рынки и свободу торговли на суше и море.

Четыре остальные державы — Франция (представитель Жорж Клемансо), Англия (Ллойд-Джордж), Италия (барон Сонино) и Япония (барон Макино) — готовились вонзить зубы в колонии и богатства Германии и

ее союзниц. Их волчий аппетит президент Вильсон упрямо пытался ограничить бесплодными, как англосаксонское воскресенье, проповедями о победе добра над злом. Премьер-министры четырех держав задыхались от негодования. Не подымайся за его спиной из-за океана такая распухшая золотом махина — США, они давно бы вышвырнули за дверь этого божьего посланника с его квакерской шляпой и тощими брюками.

Непримиримее всех, мстительнее, жаднее была Франция. Она готовилась к огромному индустриальному подъему: приобретая Эльзас и Лотарингию, оккупируя угольные богатства Рейна, захватывая африканские колонии, Франция намеревалась занять место Германии в промышленности.

С первых же заседаний Совета Десяти Франция повела линию на завоевание мира. Восемидесятилетний «национальный тигр», злой и злопамятный Жорж Клемансо предоставил Вильсону бороться сколько влезет за торжество добра, и ждал, когда он всем опротивеет. Клемансо разрабатывал французский мир: двести миллиардов долларов германских репараций (по три тысячи долларов с каждой немецкой души), провинции, Рейн, колонии, раздел Турции, создание и вооружение «великой» Польши и, наконец, большой военный поход на восток Европы: Берлин — Москва. Словом — возобновление империи Наполеона I.

Восток особенно тревожил французских буржуа. Красная зараза могла испортить все дело. Уже Германия и Венгрия сотрясались от революционных бурь. Галицийцы, бунтуя против польских панов, осаждали Львов. Итальянские рабочие выбили медаль с профилем Ленина. Славяне бывшей Австрии казались ненадежными. Никто не мог поручиться (так говорил Ллойд-Джордж), что вся Восточная Европа, охваченная большевистским безумием, не двинет на Париж стомиллионную Красную Армию.

Когда Вильсон, длинный, розовый, седой, похожий на пастора, говорил о разоружении народов и милосердии к врагам, Жорж Клемансо только лающе покашливал, и косматые брови его нависали плотским ужасом над призрачными идеями президента. По существу он опасался одной только Англии.

Прошло уже восемь месяцев с окончания войны. Банкеты, праздники и фейерверки сопровождали каждый шаг мировой конференции. Журналисты обшаривали Париж в поисках таинственной особы, с которой веселился Вильсон. Старик был дьявольски скрытен, — несомненно он веселился, и вовсю, — он худел, у него дергалось лицо на заседаниях, он волочил ноги. Ребенку было ясно, что он где-то проводит ночи в чудовищном разврате. Когда об этих предположениях сообщили Клемансо, он в первый раз за восемь месяцев усмехнулся, зажмурил глаза, седые усы приподнялись, лицо сморщилось, как у тигра, увидевшего мышь.

Мир все еще не был подписан. Союзный флот продолжал блокаду Германии. Немцы питались сырой брюквой и десятками тысяч умирали от истощения. Никто не знал, чем окончатся заседания конференции. Война могла возобновиться. От нее охраняли только четырнадцать пунктов Вильсона. Доходили слухи, что в Америке деловые люди хмурятся, как от сделанной глупости: Вильсон ставил соотечественников в смешное положение, — чего, поди, в Европе начнут думать, что США населены одними мечтателями... Вокруг Вильсона образовалась пустота... Тогда-то Жорж Клемансо ознакомил Совет Десяти с основами французских мирных требований.

Четырнадцать пунктов летели к черту. Президент возмутился и пригрозил отъездом. Но он не уехал. Он хотел спасти хотя бы осколок идеалистической философии — Лигу Наций. Он отчаянно боролся. Лига Наций была провозглашена, тогда он уступил во всем, отдав европейские народы на растерзание. Франция победила. В Версаль затребовали немецких представителей, чтобы вручить им на рассмотрение мирный договор.

В безоблачное утро седьмого мая германский министр иностранных дел — граф Брокдорф-Ранцау (в черном, черных перчатках, с черной тростью), высокий, замкнутый, вошел с пятью представителями в белый зал Версальского дворца. Немцы увидели потоки солнечного света сквозь переплеты высоких окон. Свет и зелень лужаек, шпалер, синева фонтанов отражались в старинных зеркалах противоположной стены; казалось, солнце мира летело в восемь оконных пролетов. Там, где некогда помещался трон Людовика XIV, короля солнца, за сто-

лом, завершающим амфитеатром расположенные золотые кресла, сидел Клемансо в темно-серой стариковской визитке — коренастый, с угловатыми плечами; опухшие руки в серых перчатках сжаты в кулаки, квадратное лицо топорщилось белыми бровями, пожелтевшими усами. Направо от него — высохший президент Вильсон, налево — приветливо улыбающийся, франтоватый, румяный, седо-гривый Ллойд-Джордж с опущенными на губу седыми усами и хищным носом. Ниже — в креслах — пестрые представители двадцати семи стран и народов, посланных купечеством урвать, что можно...

«Господа делегаты германского государства. Здесь не место для лишних слов... Вы навязали нам войну... Мы принимаем меры, чтобы подобной войны более не повторилось... — так заговорил Жорж Клемансо, тяжело дыша от ярости. — Час расплаты настал. Вы просили нас о мире, мы согласны вам предложить его...»

После его речи секретарь конференции с изящным поклоном поднес графу Брокдорфу-Ранцау книгу в триста печатных страниц, переплетенную в белый сафьян, — условия мира. Ранцау бросил на нее черные перчатки, надел роговые очки, разобрал листочки ответной речи. Он знал, что слова бесполезны — одну только силу можно было противопоставить этому купающемуся в солнце амфитеатру разбойников... Но этой силы у него не было.

Пятьдесят два дня спустя в том же зале Версаля к инкрустированному, на изогнутых ножках, столику подошел Клемансо, привычным движением матерого журналиста обмакнул золотое в золотой ручке перо, стряхнул, — черная капля как бы понеслась мимо чернильницы в мутную бездну воспоминаний («в семидесятом году в Бордо я поклялся отомстить пруссакам, — я мщу»), — и он подписал...

Шестьдесят миллионов немцев упали на колени. Из-за Рейна во Францию — день и ночь, день и ночь — потянулись тоскливо длинные поезда с углем, сырьем, пушками, машинами. Тощие, с землистыми щеками немцы, костлявые немки, дети, покрытые болячками, глядели вслед этим поездам, вслед улетающей на долгие годы надежде поесть, отдохнуть... На Германию опускалась ночь, озаренная заревом с востока. Но для тех, кто правил Германией, этот отблеск был страшнее ночи.

Французское правительство пышно отпраздновало переход к мирной жизни по древнеримскому обычаю — триумфом.

В центре Парижа — на площади Согласия, вдоль широкой аллеи Елисейских полей и на площади Звезды вокруг приземистой арки Наполеона — навалены были кучами (с трехэтажные дома) немецкие заржавленные пушки. Повсюду торчали высокие жерди в форме средневековых копий, спирально перевитые лентами. Между ними висели гирлянды цветов из желтой бумаги... Одна из сидящих каменных статуй на площади Согласия — статуя города Страсбурга, пятьдесят четыре года покрытая трауром, — сегодня утопала в знаменах.

Августовский день был зноен и сух. В бледном небе, сверкая, кружились аэропланы. С голых ветвей каштанов падали последние сухие листья. Между шестов и бумажных роз по этой страшной аллее войны, похожей на обгорелый лес, несли впереди войск полусгнивший труп без лица — неизвестного солдата. Могила ему была вырыта под триумфальной аркой Наполеона. Играли рожки, били барабаны. Из-за Сены, из горячей мглы, стреляли пушки. Республика отдавала воинские почести народу: каждый бедняк теперь вправе думать, что в центре столицы мира, под аркой Звезды, лежит его брат, его сын, пропавший без вести. Человеческие потоки медленно двигались за войсками. Тончайшая пыль поднималась от мостовых, ложилась на миллионы лиц, обозначая морщины усталости, опустошения, невозвратимых утрат. Кое-где пробегала молодежь, взявшись за руки... Но разве это было веселье? За все муки — подарить народу гнилой труп без лица! Веселились всю лишь американские солдаты — сытые жеребцы, шатались под руку с девчонками, нахлобучив их шляпки себе на железные шлемы...

Вечером над черной Сеной взвились потешные огни. В рабочих кварталах завертелись карусели, отражая миллионами зеркалец хмурые пыльные лица. По опустевшим улицам поползли на колесиках четырехугольные рамы с зажженными плашками, за ними ковыляли безногие, безрукие, безглазые, — это инвалиды войны соби-

рали милостыню. На перекрестках играли уличные оркестрики. Но Парижу не плясалось в этот душный, безветренный вечер. Сидя на стульях у порогов своих домов, у кофеен, на скамейках бульваров, люди поглядывали на лиловое зарево над городом, на догорающие кое-где за рекой линии иллюминаций, на огоньки Эйфелевой башни. «Эх, Жак, не думаешь ли ты, что кто-то здорово надул тебя сегодня?..»

Немецкие миллиарды поплывут мимо носа, прямо в банки Больших бульваров. Краснеют огоньки папирос у дверей, тихо бредут по домам неясные в темноте фигуры... Вот когда сказала старость... Дикой бы крови сюда. Великих бы замыслов — в этот прекраснейший из городов...

3

Около часу дня на Елисейских полях (где уже убрали шести и пушки) в кафе Фукьец, посещаемое иностранцами, вошел человек, одетый по моде, завезенной американцами: короткий пиджак с подложенными плечами, широкие штаны, полубашмаки с острыми носками, глубоко — набок — надвинутая мягкая шляпа, галстук бабочкой, в руке камышовая трость, в кармане полузасунуты свежие перчатки.

Он быстро прошел через первый зал с накрытыми для завтрака столиками, спустился на две ступеньки и положил трость и окурок сигары на цинковый прилавок бара.

— Что угодно, мосье?

— Степную устрицу.

За стойкой усатый тучный красавец в белой куртке начал готовить смесь из джина, томатного соуса, кабуля, кайенского перца и сырого желтка. Человек сел на высокий табурет, загнув за дубовые ножки носки туфель; впавшие сизо-выбритые щеки, прямой рот, быстрые глаза. На мизинце веснушчатой руки — крупный бриллиант.

Человек был не из тех, кто любит болтать всякий вздор за стойкой. Глотнув адской смеси, он сильно потянул ноздрями кривого носа и, повернувшись всем телом на высокой табуретке, стал глядеть на дверь. Он

ожидал кого-то. Веки его время от времени полузакрывались, увлажняя сухость глаз.

И вот с тротуара в бар забежал человек, настолько странный, что бармен за стойкой высоко морщинами собрал кожу на лбу.

Вошедший не одну уже ночь, видимо, провел на бульварных скамейках — до того был помят и грязен. Розовое от пьянства лицо его не то шелушилось, не то давно было не мыто. К Фукьецу неудобно заходить в шляпе, снятой с огородного пугала. Но вошедший как будто не испытывал неудобства. Не подавая руки человеку с бриллиантом, он мутноватыми глазами обвел зеркальные полки с бутылками.

— Виноградной водки, — приказал человек с бриллиантом и ногой подвинул второй табурет. — Садитесь, Налымов. Если вы не пьяны до потери сознания, поговорим о деле.

Вошедший сел на табурет прямо, привычно, даже изящно, и мягкое лицо его сморщилось, будто от беззвучного смеха.

— Я необыкновенно трезв... Но водки пить не стану. Вы все-таки не держитесь со мной, как хам... Августин, коньяку с содовой...

Бармен поднял обе брови, округлил рот под серпообразными усами:

— Мосье Налимофф!.. О ля-ля... Это вы, мосье... (Он защелкал языком, дружески наливая рюмку коньяку, полез под стойку, обтер салфеткой холодный сифон содовой.) Уже скоро год, как вы не посещаете Фукьец.

— Были причины, Августин... (Налымов налил из сифона пенной содовой в фужер с коньяком, жадно — с каким-то даже стоном — выпил. Глаза его увлажнились. Итак... (Обернулся к человеку с бриллиантом. Тот брезгливо холодно оглядывал его лицо, одежду, башмаки.) Прошу извинить, я опять забыл вашу фамилию...

— Александр Левант, — сквозь зубы, редкие и желтые, ответил человек с бриллиантом.

— Левант, Левант, — повторил он, как бы втискивая это имя в пропитую память. — Итак, Левант, вы хотели, чтобы я вас познакомил?..

— Пойдемте за стол. — Левант схватил трость и пошел через арку.

Августин негромко спросил:

— Мосье Налимофф хорошо знает мосье?

— Нет, Августин. Но это не важно. Предположим, что его действительно зовут Александр Левант. С этим нужно мириться. Это — люди будущего. Итак, мы завтракаем.

Потерев сухие ладони, он слез с табурета и пошел к уединенному столу, где, спиной к свету, поместился Левант.

4

— Вам нужно одеться приличнее, Налымов. Что это значит? Так опуститься! Семеновский офицер! И — бросьте вы это пьянство. Кому это нужно? Можете меня не благодарить, но после завтрака я повезу вас в английский магазин...

Александр Левант ел торопливо и неразборчиво, губ не вытирал. Почти не пил вина. Темные глаза его, не участвуя в еде, тревожно бегали по лицам входивших в кафе.

— Вижу, вы такой человек, — с вами нужно быть откровенным. Я на вас наткнулся, просматривая в военном министерстве списки русских офицеров. Отозвались о вас благопринято. Признаться — ожидал вас найти в более приличном виде... Что это вас потянуло на дно? С головой на плечах не найти денег в Париже? Вздор!

Из верхнего зала доносилась музыка. Налымов жмурился, наслаждался — рюмочка за рюмочкой, — слегка под музыку раскачивался. Еды почти не касался и ничем не выражал внимания к собеседнику. Лицо его оживлялось внезапно, когда с залитого солнцем тротуара в кафе входила какая-нибудь американочка с детским лицом и птичьим голоском. Внимание его привлекала роза в узкой вазе, он, всхлипнув, глядел на опадающие лепестки. Его рассеянность не смущала Александра Леванта. Подали десерт, кофе, ликеры, сигары. Левант выбрал гавану, золотыми ножничками осторожно отрезал кончик, закурил, откинулся, положил веснушчатые руки на скатерть.

— Поговорим о деле?

— Я все время слушаю вас внимательно.

Левант подумал: «Эге, парень, кажется, хитрее, чем прикидывается».

— Я хотел бы через вас устроить некоторые знакомства... Обставлено будет вполне корректно. Вам нужен аванс,— пожалуйста...— Он хрустнул бумажками в боковом кармане.— Предварительно увезу вас на недельку-другую в Севр. Там у меня вилла. Отдохнете, повеселитесь... Подружимся,— кто меня узнает — за меня в огонь и воду... А потом кое с кем — хотя бы здесь, у Фукьеца — встретимся, позавтракаем.

Налымов, кивая шелушащимся лицом в такт музыке, спросил:

— Очевидно, я должен познакомить вас с великими князьями?

— Отчего же... Делу не помешает, наоборот — красивое знамя... Несколько одиозное... Там увидим. Моя идея строится на других людях. Идея большая — грандиозное дело. Заметьте — я предлагаю вам работать на процентах,— солидно... Из пяти процентов вы будете иметь тысяч триста годовых, обещаю под любую гарантию.

— Предположим, я убежден... Но у меня долги.

— Сколько?

— Восемь тысяч необходимых... Остальные подождут.

— Счета и векселя передадите мне, все будет улажено.

С той же легкостью Налымов ответил:

— Ладно, согласен...

Мимо стола проходил бледный высокий человек, несколько сутуловатый, в темном пиджаке, в котелке набекрень. Повернул к Налымову вялое продолговатое лицо с темными усиками под носом. Налымов сейчас же встал, опустил руки. Человек словно обласкал его сверху вниз беспечальными глазами:

— А-а, Налымов... Что же ты?.. Ну, сиди... А я здесь не завтракаю... Дрянь — Фукьец...

И он опять, сверху вниз погладив глазами, пошел к стойке, выделяясь среди всех уверенной медлительностью. На него оборачивались. Александр Левант спросил:

— Великий князь? А какой именно?

- Кирилл Владимирович.
- Претендент на престол?
- Кажется... Хотите познакомиться?
- Знакомство возможно?
- Отчего же... Позвать к столу...
- Заманчиво. Но не сегодня... А что, у него есть войска, народ? На что он рассчитывает? Вы мне подробно должны рассказать о русских делах. Берите вашу шляпу, едем к портному.

5

С российскими делами в Париже происходила неясность. Буржуа, держатели русской ренты, черпали из газетных заметок скупые и путаные сведения. С полгода тому назад сообщалось, что для охраны французских капиталов, вложенных в торговые, металлургические, угольные предприятия на Украине, на Дону и Урале, правительство вынуждено послать в одесский порт некоторое количество колониальных войск. Мысль была удачная.

Действительно, войска высадились в Одессе, не только французские колониальные, но и греческие. Русская рента, годная лишь для домашнего употребления, начала ползти вверх. Войска как будто победно маршировали по Новороссии. Хотя Советом Десяти и был отклонен план Клемансо о широкой военной экспедиции на восток Европы, но зато сама Россия подавала надежды на скорое освобождение от большевиков: на Северном Кавказе успешно воевал генерал Деникин, под Петроградом — генерал Юденич; в Сибири с помощью французского генерала Жанена и чехословаков образовалось правительство Колчака. Его солдаты очищали Сибирь и восстанавливали право собственности.

Совет Десяти с охотой обещал Колчаку всемерную помощь. Русское золото (увезенное чехословаками из Казани) находилось в его руках. Клемансо — как всегда, резко и отчетливо — указывал ему в шифрованных телеграммах линии желательной политики... Огромные военные запасы, оставшиеся после мировой войны и засорявшие рынок, шли теперь в освобождаемую Россию, оживляя частную торговлю. В Архангельске и на Мур-

мане высаживались английские десанты. Рента ползла вверх.

И вдруг, казалось бы без видимой причины, победоносные французские и греческие войска отплыли из Одессы на родину, бросив заводы, шахты и торговые предприятия своих соотечественников на произвол большевикам. Уплыли и англичане из Архангельска и Мурманска. Газеты объясняли эти досадные события причинами внутренней политики: не имело смысла лишний раз раздражать рабочие кварталы. Рабочие поднимали каждый раз невероятный шум из-за русского вопроса.

Держатели русской ренты (за столиками кафе, вздев очки и насупясь серыми усами в газету) ничего не могли понять в русских военных делах. Грандиозные битвы, кавалерийские рейды, занятие провинций величиной во всю Западную Европу... Москва окружена, большевикам — смерть. Но Деникин отступает, Юденич отступает, Колчак отступает... В Англии забастовка, в Италии волнения, Германию и Венгрию трясет коммунистическая лихорадка... (Буржуа снимает очки, потирает уставшие глаза...)

Не меньшее изумление вызывали и сами русские, пачками прибывающие в Париж через известные промежутки времени. Более чем странно одетые, с одичавшими и рассеянными глазами, они толкались по парижским улицам, как будто это была большая узловая станция, и все без исключения смахивали на сумасшедших. Сахар, хлеб, папиросы и спички они закупали в огромном количестве и прятали в каминны и под кровати, уверяя французов, что эти продукты должны исчезнуть. Встречаясь на улице, в кафе, в вагоне подземной дороги, они как бешеные размахивали газетами. Русских узнавали издали по нездоровому цвету лица и особой походке человека, идущего без ясно поставленной цели. У них водились драгоценности и доллары. На их женщинах (в первые дни по приезде) были длинные юбки, сшитые из портьер, и самодельные шляпы, каких нельзя встретить даже в Центральной Африке. К французам они относились почему-то с высокомерной снисходительностью.

Но были и другие русские: эти смахивали на европейцев и селились в дорогих отелях. Правда, их чемоданы были ободраны и даже с клопами, но фамилии зву-

чали внушительно в промышленных, банковских и биржевых кругах.

У них был здесь свой политический центр: парижское совещание доверенных лиц правителя России (адмирала Колчака) и уполномоченных генерала Деникина для сношения с союзными правительствами. Во главе совещания стоял председатель бывшего Временного правительства князь Львов.

Очевидно, на эти-то русские деловые круги и намекал Левант за завтраком у Фукьеца.

6

Когда были внесены на подносе горячие закуски — по-русски, — последовала минута молчания, передавали графин с водкой, не чокаясь выпили. Кто-то по-довоенному крякнул. Засмеялись. Кто-то вздохнул: «Да, господа...»

Хозяин дома князь Львов сидел спиной к камину — в поношенном пиджаке, в истрепанном жилете, в заштопанной мягкой рубашке. В этой одежде он бежал из екатеринбургской тюрьмы через Сибирь. Круглая седая борода, серебряные, зачесанные назад волосы и неподвижные беловатые глаза придавали ему сходство с земским деятелем девяностых годов; он не ел мяса и не пил вина.

Напротив него сидел известный барин, елецкий помещик, с желто-седой бородой по пояс, с медным орлинострогим лицом, с волосами ежиком, — Михаил Александрович Стахович. Когда-то он был близок к Николаю II, но после 9 января оставил двор и уехал к себе в Елец, где и развивал независимые суждения. Временное правительство отправило его послом в Испанию. Он прибыл туда в день Октябрьского переворота, не успел вручить верительных грамот, истратил в Мадриде все деньги, вернулся в Париж и поселился у Львова. В политике он снисходительно оправдывал и белых и красных.

Направо от хозяина сидел директор-распорядитель Русско-азиатского банка Николай Хрисанфович Денисов, низенький, воспаленный, с крупным мясистым носом и жесткой бородой сатира. Он только что много говорил,

был возбужден, выпил шесть рюмок водки и пододвигал к себе самые острые закуски. Рядом с ним сидел русский посол в Англии (назначенный Временным правительством) Константин Дмитриевич Набоков, изящный и выхоленный. Он привез из Лондона важные сообщения о русском вопросе и с любопытством разглядывал пятого собеседника, для которого в сущности и собрались за этим столом.

Пятый собеседник сидел налево от хозяина, — круглоголовый, широколицый, с волчьим лбом и выбитыми двумя передними зубами, которые он не успел еще вставить себе в Париже. Это был знатный азербайджанец Тапа Чермоев, бывший конвоец и владелец огромных нефтяных участков в Баку.

За столом он еще не сказал ни слова. Все знали, что привела его сюда острая нужда в деньгах. В восемнадцатом году англичане, заняв Баку, предложили Чермоеву образовать Азербайджанскую республику. Он выказал англичанам преданность, но от продажи им нефтяных участков до времени уклонился. Тогда представлялось, что Азербайджан, Дагестан, Грузия, Абхазия и Армения прочно подпадут под державное покровительство Англии, и только безумец мог бы при таких перспективах торопиться продавать нефтяные земли.

Противно здравому смыслу, большевики выбили англичан из Баку и Азербайджана. И англичане почему-то не послали ни флота, ни войск, чтобы вернуть Чермоеву власть и нефть. Он бежал в Париж и стал, как все здесь, просыпаться с надеждой, засыпать в мрачном отчаянии. Денег ему не давали под национализированные большевиками нефтяные участки — предлагали сначала вернуть их от большевиков. За последнее время мысли его начали устремляться к военным успехам Деникина. Чем это пахло для Азербайджана, он понимал. Но в конце концов ему не плохо было и при империи в свите его величества.

Задача (у сидящих за столом) была: прощупать намерения Чермоева и убедить его в безусловной и близкой победе белого оружия...

За столом шел покуда что легкий разговор. Денисов рассказывал парижские новости. Год тому назад Николай Хрисанфович и не подумал бы утруждать себя бол-

товней с такими музейными барамми. Он искренне презирал высокородных вырождаков и дураков, все еще уверенных, что Россия — их большое именье, которым они призваны управлять. Выродки и дураки привели Россию к тому, что она оказалась неподготовленной к мировой войне, и в семнадцатом году история поставила запоздалую точку на самодержавии. Денисов был «демократом». Во время февральской революции он стал владельцем Русско-азиатского банка. Соразмерно этому выросло его честолюбие, раскрывались возможности вплоть до президента Российской демократической республики. Большевиков он воспринял как завершение революционного хаоса, из которого тоже умудрился извлечь пользу, широко скупая недвижимую собственность, акции и прочее. Приди сейчас успокоение и порядок — он сразу становился в ряды миллиардеров.

Весь восемнадцатый год он выжидал и покупал. В девятнадцатом большевики начали внушать ему опасения. Дело с их ликвидацией затягивалось, Колчак начал было хорошо, но от него понесло такой доисторической монархией, грабежом и безобразиям, что французы подумывали об его ликвидации. Деникин воевал тоже пока что недурно, но чем ближе он придвигался к Москве, тем скупее Англия отпускала ему помощь и тем яснее обозначались различные точки зрения Англии и Франции на его успехи. Выигрывали на этом одни большевики. Ясное близкое будущее отодвигалось в неопределенную даль.

Николай Хрисанфович остроумно рассказывал о театральной новинке — комедии Саша Гитри, где отец, сын, жена и любовница играли ничем не прикрашенную, на самом деле этой весной случившуюся неурядицу в семье Гитри: Саша Гитри стал изменять жене (мадемуазель Претан), его отец (Люсьен Гитри) пожертвовал своими старческими силами, наставил Саша рога с его любовницей (мадемуазель Бланш) и вернул его к жене. Так это и написано в комедии — слово в слово. Первый акт — в столовой, второй и третий — в постели. Пресса разделилась: одни кричали, что это — натурализм, вечер французского искусства, другие — что это заря великой правды, с которой война сорвала послед-

ние блески лжи. Париж валом валит к Саша́ Гитри в театр.

— А вот,— сказал Стахович,— в «Олимпии» так совсем уж голые — двести девочек на сцене...

Беловато-стеклянный взгляд Львова с упреком остановился на Стаховиче, лицо которого уже побагровело от коньяка.

— Несколько удивляет,— проговорил князь Львов,— что сделалось с французскими женщинами? Я повел племянницу в этот, как его, самый приличный вечерний ресторан, и сейчас же пришлось уйти... Нельзя предположить, что естественное целомудрие исчезло. Скорее — это массовый психоз. Сегодня мне сообщил секретарь министра исповеданий, что решен вопрос о причислении Жанны д'Арк к лику святых...

Львов, как всегда, был тяжелым собеседником. Никто за столом не подхватил темы о моральных проблемах. Стахович налил себе красного вина.

— Носят прозрачные юбочки по колено, а весь верх открыт, сзади — даже ниже талии,— это поражает непривычный глаз... Что прикажешь делать? Убито полтора миллиона отборных самцов... Поневоле обрежешь юбочку.

Денисов сказал:

— Куда дальше,— в Ростове-на-Дону все режут юбки. На Садовой в четыре часа — как на пляже... Деникин, говорят, возмутился, но за короткой юбкой преимущество — безопасность от тифозных вшей и минимум материала...

Молчаливый до этого времени Тапа Чермоев медленно повернул круглое лицо к хозяину, спросил вежливо-презрительным голосом:

— Как сыпной тиф в добровольческой армии, Георгий Евгеньевич? Идет на убыль?

— Да... да, тиф — это великое испытание.— Львов вытащил из-за жилета салфетку. Все встали и перешли в салон, где дымилась чашки с кофе. Опустив голову, заложив руки под пиджак за спину, Львов прошелся по ковру и остановился около Чермоева.— Тиф — наша основная забота. Но, может быть, и наше главное оружие. Мы широко снабжены медикаментами... У большевиков их нет, у красноармейцев нет сменных рубах... Смерт-

ность у них — семьдесят процентов, у нас вдвое меньше. Лучше пуль и штыков за нас борется тифозная вошь...

Чермоев без улыбки поклонился, показывая, что убежден. Львов опять, — руки под пиджаком, опустив голову, — прошелся и стал около Набокова, осторожно мешавшего ложечкой черный кофе в чашечке.

— Константин Дмитриевич, нам бы хотелось послушать ваше сообщение о лондонских делах...

Набоков наклонил голову:

— Слушаю-с...

Он поставил чашечку на камин. По его понятиям, приличные в высшей степени люди (комильфо) существовали только в Лондоне. Немецкая аристократия, кичащаяся готским альманахом (этой адресной книгой для брачных контрактов с коронованными особами), французские блестящие фамилии, смешавшие свою кровь крестоносцев с кровью еврейских банкиров, русское дикое, безграмотное, пропахшее водкой и собаками дворянство, не умеющее хранить ни земель, ни чести, ни блеска имен, — все это были варвары. В том числе и милейший Михаил Александрович Стахович. Англичанин, меланхоличный, замкнутый, равнодушно-гордый, в замке у очага в сумерках, на том же самом месте, на том же самом кресле, обитом тисненой кожей, где восемь столетий сидели его предки, — такой человек по праву, недоступному пониманию толпы, истинный патриций, хозяин мира, что вы там ни кричите со своих плебейских трибун... Разумеется, эти мысли не были написаны на бледном, с черными волосиками на губе, по-английски спокойном лице Набокова, оно выражало лишь величайшее внимание к собеседникам...

— Господа... на днях я говорил с Черчиллем... Кажущийся страх перед рабочей партией — лишь простой маневр. Слагаемые английской внутренней политики таковы, что выгоднее уступить крикунам в палате общин, чем вооружать против себя прессу Ирландии, Индии и так далее. Мы как будто уступили в эвакуации Архангельска и Мурмана, на самом деле эвакуация оттуда английских войск будет производиться крайне замедленно. Второе — отвод английских частей с деникинского фронта...

Львов тотчас заложил руки под пиджак и опять заходил, как в одиночке.

— ...На их место Черчилль посылает две тысячи пятьсот инструкторов-добровольцев... Эти уступки позволили Черчиллю сообщить мне: из секретного фонда английского военного министерства ассигновано двести сорок миллионов рублей на материальное снабжение Деникина...

На истуканьем лице Тапы Чермоева вдруг открылись зубы с изъязном. Денисов схватился за мясистый нос.

— ...Это тем более во всех отношениях приятно, что военное министерство не может потребовать и не требует от России компенсации... Я боюсь, господа, быть непонятым... Мы знаем, что двадцать третьего декабря семнадцатого года Клемансо и Ллойд-Джордж договорились о разделе сфер влияния... Линия влияния проходит через Босфор, Керченский пролив, на Царицын и дальше к северу... Грехи русского народа были слишком вопиющи, Россия должна чем-то поплатиться. Да, сферы влияния! Да, мы теряем из суверенного хвоста несколько павлиньих перьев... И это все, чем мы платимся за Брестский мир... Мое глубочайшее убеждение: потеряв, мы приобретаем гораздо больше. Своими силами нам все равно не восстановить разрушенного. В мирное время нам приходилось занимать направо и налево. Одна Франция вложила столько денег, что фактически владела пятьюдесятью пятью процентами русского железа, семьюдесятью процентами русского угля и тридцатью процентами нефти...

Набоков поднял красивые глаза, как бы припоминая цифры, затем отхлебнул из чашечки, поставил ее снова на камин и осторожно платком потомпонировал губы.

— ...Сферы влияния? Прежде всего это: две высшие цивилизации приходят исцелять тяжелобольного... Я приветствую Колчака — он трезво учитывает неизбежность вмешательства Англии в нашу экономическую политику... Менее понятна позиция великодержавных генералов на юге России. Звон оружия заглушает в них голос здравого смысла. Единая, неделимая — это красивое знамя, но это игра дикарей в войну, господа. Нельзя ссориться со взрослыми.

Львов что-то хотел сказать, но только коротко кашлянул. Стахович сопел, раздувая сигару.

— Россия — это организм, переросший самого себя. Дом несчастных Романовых кое-как слеплял разваливающиеся куски... Отсюда эта профессиональная великодержавность у наших генералов. Но — распался великий Рим, и — да здравствует европейская цивилизация... Так думают в Англии. Война окончена... Мы на развалинах Рима... Англия принимается наводить у нас порядок...

Поймав блеснувший, как олово, взгляд Львова, Константин Дмитриевич чуть-чуть нахмурился.

— ...Это право высшей культуры... Право патрицианского духа над всем этим — квас, тройка, самовар... — Он незаметно с юмором покосился в сторону Стаховича. — Индусы, арабы, негры проходят тяжелую колониальную школу, но зато они прикасаются к цивилизации. Когда римляне несли в глушь германских лесов орлы своих легионов, это было первым уроком ребенку говорить «папа» и «мама»... Я понимаю французского буржуа: у него чулок набит русской рентой и промышленными акциями царской России, он с яростью будет кричать о восстановлении «великой и неделимой». Но такой ясный ум, как Жорж Клемансо?! Хотя в конце концов это не важно — совершится то, что совершится...

Слушатели молчали, не то подавленные, не то от недоумения. Набоков приподнял брови, медленно закурил от восковой спички, покусал прилипший к губе кусочек папиросной бумаги.

— Теперь сообщу наиболее важное... Черчилль находит, что военный спектакль в России утомителен... Белые отступают, белые наступают, красные отступают, красные наступают... Черчилль находит, что большевики засиделись в Москве. Если у них нет такта уйти самим, придется прибегнуть к давлению извне... План коалиции четырнадцати государств для военной прогулки на Петербург, Минск, Киев, Одессу и концентрического наступления на Москву нужно считать решенным в положительном смысле... Вопрос в деталях — кое у кого сбавить аппетита, кое-кому прибавить храбрости... Я кончил, господа...

Гости взяли лежавшие в прихожей на креслах пальто, шляпы и трости. Сказали несколько последних шуток и гуськом молча спустились на влажную улицу, под мягко шелестящую листву платанов, скупо озаряемых высоко взнесенными электрическими лунами.

Львов и Стахович вернулись в маленький салон. Стахович, потеряв всей ладонью медное лицо, спросил неожиданно:

— Как тебе понравился коньяк?

Львов гневно взглянул на старого друга:

— Как тебе понравился Набоков? Если так рассуждают русские, то как же должны... Прости, я никогда не был славянофилом, но... Эта англомания, это западничество, доведенное до... И все же... Я посылаю Деникину танки — расстреливать наших мужиков... Набоков удовлетворен... (Голос уже ушел вглубь и рвался оттуда все раздражительнее.) Но я-то, я — не удовлетворен. До большевиков можно добраться только через трупы русских... Я буду гореть на вечном огне, но я не знаю, как по-другому спасти Россию... Читай Апокалипсис, Михаил Александрович... Если бы я мог все бросить, бросить и — в монастырь...

— В русском западничестве, — ответил Стахович, полулежа в кресле и запустив пальцы в бороду, — в русском западничестве более глубокие и отдаленные корни, чем у славянофилов... Первое проявление западной ориентации я отношу ко времени Тушинского вора: это так называемый перелет к нему московских бояр. В сущности, они просили у польского короля того же, что просит Набоков у Черчилля...

— Вздор, вздор говоришь...

— Когда у нас начали читать Гегеля, западничество разделилось на две ветви — дворянскую и разночинную... Первая вылилась в устройстве английских парков. Перестали отправлять нужду под лестницей на горшке и завели ватерклозеты... Разночинцы начали бороться с богом, а впоследствии читать Маркса... Я вот сижу и думаю: не находишь ты, Георгий Евгеньевич, что Маркс понятнее русскому мужику, чем славянофилы?.. Не знаю, не знаю...

— Да, идем спать,— сказал Львов. Засопел, закрутил стальной цепочкой от ключей и вышел.

Стахович остался в кресле — курить и пить коньяк.

8

Набоков пошел пешком через Марсово поле. Под решетчатой ногой Эйфелевой башни, отраженной вместе с бледными звездами в маленьком озерке, он остановился закурить папироску. Здесь его нагнал, слегка задыхаясь, Тапа Чермоев.

— Я не нашел такси,— сказал Тапа,— и повернул за вами... Может быть, поедем развлечься?

Набоков вздохнул. Он чувствовал утомление, а нужно делать усилие, чтобы отвязаться от этого татарина. Чуть-чуть поморщился. Пошли туда, где через Сену, под аркадами моста, проносился, ярко светясь окошками, поезд метро. Не надеясь, что Тапа поймет, Набоков все же сказал, глядя на лиловатое зарево над центром города:

— Париж напоминает мне корзину с влажными розами, внесенную в кабак.

Тапа подумал, ответил серьезно:

— Сейчас нет хороших кабаков. Парижане еще не оправились от войны.

— Да, постоянно жигь в Париже я не хотел бы... Я люблю наше печальное лондонское солнце, наши туманы, чинное однообразие улиц...

Набоков покосился на одну из парочек в тени куста на скамейке. Женская рука белела на груди мужчины, где поблескивала военная пуговица. Они сидели неподвижно, и со стороны казалось, что они погружены в безнадежное горе.

— У меня всегда желание — вот таким предложить десять франков на ночную гостиницу, немножко комфорта.— Набоков обернулся на хруст колес такси, поднял трость, но шофер покачал указательным пальцем.

Тапа сказал:

— Константин Дмитриевич, вы меня обрадовали сегодня... Что ж такое? — так думаешь.— Неужели на свете нет правды?.. Да, Черчилль хороший человек, ум-



«ГАДЮКА»



«ГАДЮКА»

ный человек... То, что вы сообщили, еще не опубликовано в газетах?

— Нет, и не будет...

— Понимаю, понимаю...

— Вас интересуют нефтяные курсы, Чермоев?

— Да. Нефть меня интересует.

— Когда я входил к Черчиллю, у него сидел Детердинг...

— Так, так... Нефтяной король... Очень обрадовало и заинтересовало ваше сообщение... Такси! (Тапа, весь оживившись, побежал к перекрестку, где медленно проезжал автомобиль.) Константин Дмитриевич, свободен,— крикнул он оттуда.— Едем на Монмартр?

9

Выйдя от Львова, Николай Хрисанфович Денисов из ближайшего кафе позвонил по телефону. Трубку сейчас же взяли, и слабый ноющий голос проговорил:

— Да, это я, Уманский... Здравствуйте, Николай Хрисанфович... Отчего так поздно?... Знаете, у меня болит восемнадцать зубов... Врач уверяет, что нервное, но мне не легче... Приезжайте, меня тут развлекают кое-какие друзья...

Бросившись в такси и крикнув адрес, Николай Хрисанфович увидел в автомобильном зеркальце свое лицо — налитый возбуждением нос и среди черной бороды оскаленные свежие зубы... «Ловко! — подумал.— У Семена Уманского болит восемнадцать зубов — значит, военные стоки он еще не продал и о Черчилле ничего не знает...»

Семен Семенович Уманский, низенький и плешивый, с белобрысыми глазами, лежал на неудобном диванчике. Носок лакированной туфли его описывал круги, замирал, настораживался и начинал подскакивать кверху, затем опять описывал круги — в зависимости от дерганья зубной боли.

У стола, заваленного дорогими безделушками, сидели пышноволосяя дама с вишневыми губами и молодой, бледный, медлительный человек. Они пили шампанское.

Длинное лицо молодого человека усмехалось, в синих глазах дремала ледяная тоска. Это был довольно известный на юге России журналист Володя Лисовский, фантастический нахал и ловкач. Ему надоели вши, война и дешевые деньги. Он заявил начальнику контрразведки, что едет в Париж работать в прессе, ему нужна валюта и паспорт... Он явился к начальнику штаба генералу Романовскому и бесстрастно доказал, что гораздо дешевле послать в Париж одного русского журналиста, чем там покупать дюжину французских. Он явился к профессору Милюкову, ехавшему в Париж, и, несмотря на его хитрость, в пять минут убедил взять себя личным секретарем.

Сейчас, грызя миндаль, он рассказывал о знаменитых публичных домах, куда было принято ездить с приличными дамами после ужина смотреть через окошечки на забавы любви.

Семен Семенович, хватаясь за щеку, тянул слабым голосом:

— Перестань, Володя, ты смущаешь баронессу...

Баронесса Шмитгоф была не из робких. Чувствуя себя превосходно в кресле, за шампанским, она махала рукой на Семена Семеновича:

— Молчи, мое золотко, тебе вредно волноваться...

Когда несколько отпустила боль, Уманский говорил:

— Ах, деточки мои, меня не зубы мучают, меня мучает несправедливость... Я люблю делать добро людям... Я ведь тогда счастлив, когда делаю добро... Ой, ой!.. Сколько страданий!.. И мне — подрезают крылья... Но не огорчайтесь... Справимся, деточки, вылезем как-нибудь... Пейте и веселитесь...

В дверь постучали, нога Семена Семеновича судорожно подскочила. Вошел Денисов.

— Николай Хрисанфович, уж простите меня, буду лежать... Знакомьтесь, пейте, курите... Володя, голубчик, принеси — на кухне, в тазу во льду, — бутылочка... Ох, боже мой, боже мой, какая мука!.. Чудное довоенное клико... Граф де Мерси, громадный аристократ, предлагает продать родовой погреб. Боюсь только, что эту бутылку он дал не из своего погреба... Ведь обмануть меня ничего не стоит...

Сморщенное лицо Семена Семеновича изображало томную муку. Денисов сказал, что заехал исключительно от беспокойства — справиться о здоровье. Уманский собачьей улыбкой выразил, что поверил. У баронессы Шмитгоф горели щеки, — в эту минуту ей, непринужденно болтающей с двумя такими денежными тузами, позавидовали бы многие женщины. Держалась она несколько по-старомодному, подражая кошечке, — шифоновое, с узким, до пупка, вырезом черное платье, нитка жемчуга, встрепанные волосы, тонкий носик, близорукие глазки... (Денисов сразу определил: над девушкой нужно еще работать, но материал — не дурен...)

Забравшись кошечкой в большое кресло, она болтала о тайне «больших домов» (знаменитые портные), готовивших осенний переворот в модах. Президент палаты Дюшанель приподнял покрывало тайны: в интервью он сказал: «Передайте женщинам Парижа, что вихрь осенней листвы закроет весь траур...»

— Как вы это понимаете, Николай Хрисанфович? «Эхо бульваров» объясняет, что цвет осенней листвы — это тона от багрового до нежно-желтого. И, конечно, шифон... Кстати, Дюшанель вчера в Люксембургском саду, гуляя, упал в бассейн, где дети пускали кораблики. Газеты это скрывают. Все уверены, что Дюшанель будет президентом после Пуанкаре. Пуанкаре пора уходить, он всем надоел со своей войной...

Уманский с наслаждением слушал эту бурду из журнальных заметок и газетных сенсаций. Было очень кстати то обстоятельство, что акула Денисов, приехавший, по-видимому, что-то заглотнуть, застал у него в будуаре за бутылкой шампанского настоящую светскую женщину.

— Не волнуйтесь, дорогая, — повторял он, когда баронесса коротенькими глоточками пригубливала бокал, — у вас будут платья от лучших домов... Ах, Николай Хрисанфович, какое счастье помогать людям! — И он валился на круглую подушечку, щелками глаз наблюдая за непроницаемым лицом Николая Хрисанфовича. «Эге, — подумал, — не мешает ли ему Лисовский?»

Володя Лисовский налил в бокалы вина и сел в тень. Сейчас же с этой стороны у Денисова напряг-

лось ухо. Он медленно взял папиросу и закурил не с того конца...

«Так и есть,— подумал Уманский,— он знает что-то важное».

— Ну, как русские дела, Николай Хрисанфович?

— Неопределенно...

— А вот Володя Лисовский меня обнадеживает: самое позднее к ноябрю Деникин будет в Москве... В России — ни обуви, ни белья, ни одеял, ни консервов. А мы здесь пьем шампанское!.. Боже мой, боже мой!.. Я, кажется, отправлю в дар москвичам целый эшелон обуви и байковых одеял... (У Денисова заблестел глаз...) Я так решил! (Скинул ноги с дивана.) В чем счастье, наконец, Николай Хрисанфович? Отправлю в подарок пароход с бельем и консервами... Пусть только они возьмут Москву... Володя, можете сказать об этом Бурцеву. Ей-богу, отправлю... Простите, баронесса, мы — все про свою боль... Ах, надоела политика...

Баронесса проговорила трескуче-сухим голоском с живостью:

— Французы в панике, когда в общество попадает хотя бы один русский: только и слышно — большевики, большевики, Москва, Москва... Так прогоните, наконец, ваших большевиков, вы становитесь смешны с вашей вечной политикой: Москва, большевики!..

Кружевным платочком она потрогала носик.

Денисов сказал:

— Вы слышали, застрелился Манус...

Семен Семенович сейчас же подскочил, впился в него расширенными глазами.

— Застрелился Манус?!

— Да, ужасно... В Марселе... Грузил два парохода военными стоками. Портовые рабочие вдруг отказались грузить для Деникина. Пришлось добиться от правительства публикации, что пароходы идут в Аргентину... Рабочие продолжают бастовать. А цены падают. Манус все ждет... Когда разнища дошла до трех миллионов франков, выстрелил себе в рот...

— В рот! Манус, Манус, дорогой друг!..

Уманский притиснул ладони к глазам. Володя Лисовский встал, чтобы сбросить пепел в пепельницу.

— Курьезный факт,— с кривой усмешкой сказал он и стал глядеть на Денисова,— американцы в Булони сожгли целый склад мотоциклов... (Денисов сейчас же быстрым взглядом ответил: «Играете на меня, понял и благодарю».) Двести тысяч новых военных машин!..

Уманский оторвал руки от лица:

— Сожгли мотоциклы? В чем дело?

— Благодарная Франция предложила американцам чуть ли не по пятьдесят франков за мотоцикл. Дороже стоит погрузка и фрахт, а везти их назад в Америку — сбивать там цены... Шикарно: поставили кругом пулеметы, облили склад керосином и, не моргнув глазом, сожгли товару на десять миллионов долларов!.. А теперь французы будут платить по пятьсот долларов за машину...

— Слушайте! — Уманский сорвался с дивана. (Баронесса испуганно открыла ротик.) — Разве нет Деникина и Колчака? Русские армии разуты, раздеты, безоружны! Я имею пятьсот тысяч превосходных одеял, восемьсот тысяч пар башмаков для пехоты, миллион комплектов белья, десять тысяч тонн австралийской солонины... Я могу повести в бой полумиллионную армию... Я не хочу зарабатывать на святом деле, дайте мне только вернуть мои деньги...

Денисов безнадежно закивал носом в пузырящийся бокал:

— Семен Семенович, вы забываете, что американцы привезли в Европу военного снаряжения на два миллиона солдат с расчетом на пять лет войны. Англичане на такой же срок заготовили продовольствие. Кому сейчас нужна эта солонина, бобы, консервированные пудинги, бязевое белье для покойников, пудовые башмаки... В окопы сейчас никого не загоните... А сколько можно продать Колчаку и Деникину? Пссст! Капля в море... Положение с военными стоками катастрофичное...

Уманский, забыв зубную боль, бегал по ковру. Топнул лакированной туфелькой:

— А все-таки я буду ждать! Я окажусь прав, а не паникеры.

— Ну что ж,— Денисов подвигался в кресле, будто собираясь встать.— В игре советов не дают.— Он осторожно покосился на Лисовского.

Тот понял и заговорил насмешливо:

— На днях забегал к Морозовым. Сидят три московские купчихи, где-то раздобыли арбуз, едят, ругательски ругают французов и евреев, собираются ехать в Россию, и Россию тоже ругают на чем свет... Все вещи — в чемоданах; собираются быть в Москве к началу сезона — смотреть премьеру в Художественном театре... Я им говорю: «Что же вы так собрались-то?..» — «А нам, говорят, из Лондона написали, что на днях будет война четырнадцати держав». Я — натурально — шапку, трость и — в редакцию. (Денисов громко засмеялся. Уманский белобрысо моргал.) Там сдуру-то и рассказываю сенсацию... Бурцев, как был, в соломенной шляпенке, пальто набито корректурами, — рванулся писать передовицу: «Осиновый кол вам, большевики...» Кричит из кабинета: «Лисовский, сведения из достоверного источника?» Отвечаю: «Ага...» — «Лисовский, вы не можете достать денег, съездить в Лондон? Добейтесь аудиенции у Черчилля». А я как раз читаю «Таймс» — в Лондоне всеобщая забастовка... Жалко старика... «Вы, говорю, Владимир Львович, на всякий случай передовицу-то покажите военной цензуре...»

Лисовский положил в рот соленую миндалину; похрустев, вернулся в тень. Денисов допил бокал и поднялся.

— Боюсь я, что выйдет самое скверное, — сказал он, — Ллойд-Джордж добьется мирной конференции на Принцевых островах. Большевики, видимо, уже склонны мириться, а Деникина и Колчака англичане уломают... Ну вот, Семен Семенович, рад был вас видеть.

Он взял надушенную руку баронессы и прижался к ней колющими усами.

— С кем вы были вчера в Булонском лесу?

— Вы меня видели? Я была с графом де Мерси... Правда, он очарователен?.. Но он разорен... Он маниакально любит Россию и русских...

— Ах, этот... У него не то в Баку, не то в Грозном — нефтяные земли...

— Граф в отчаянии. Он живет надеждой, что будущий император вернет ему все... Николай Хрисанфович, скажите, кто будет у нас императором: Кирилл, Борис или Дмитрий Павлович?

— Я — демократ, моя дорогая.

— Как вам не стыдно! Я вся за Дмитрия Павловича, — молод, упоительно красив... но замешан в убийстве Распутина... (Расширив глаза, шепотом.) При английском дворе определенное течение против Дмитрия Павловича... Борис и Кирилл Владимировичи должны получить от матери знаменитые изумруды, у них будет на что содержать двор... Кто же, кто — Борис или Кирилл?

— Кирилл, Кирилл, о чем говорить, — нетерпеливо перебил Уманский.

Денисов простился. Уманский торопливо пошел за ним в прихожую. Там оба, сразу постарев лицами, взглянули в глаза друг другу до самой глубины.

У Семена Семеновича дрогнули губы, Денисов проговорил холодно:

— Можно еще кое-что спасти...

Тогда Уманский распахнул золоченую дверцу в маленький зелено-голубой кабинетик с мягким светом потолочного полушара. На столе, покрытом стеклом, где стояли телефоны, и на ковре кучками валялись изорванные в клочки бумаги. Денисов вошел. Разговаривали торопливо, шепотом, не садясь.

Уманский:

— Есть предложение?

Денисов:

— Один приезжий...

— Откуда?

— Это безразлично. Большие деньги. Порет горячку, готов на ажиотаж. Я могу говорить за него. Покупаю весь ваш товар. Я подписываю, я плачу.

Уманский снова пронзительным взглядом измерил глубину человеческой совести.

Но там было непроницаемо. Он опустил голову. Губа его отвисла.

— Сколько я потеряю?

— Шестьдесят пять процентов.

— Шестьдесят пять процентов?! Невозможно! — Уманский заломил руки. — Тринадцать миллионов!! — Сразу сел, уронил руки на клочки разорванных бумаг.

Денисов:

— Семен Семенович, я знаю все сроки ваших платежей...

Уманский — бешеным шепотом:

— Деньги завтра, черт вас возьми...

— Все деньги завтра до часу дня.

— Согласен.

Денисов сухо, важно поклонился, пошел к двери. В прихожей к нему придвинулся Лисовский:

— Нам по дороге, Николай Хрисанфович?

— Едем на Монмартр... Позовите баронессу.

— Нельзя же лишать беднягу сразу всего, Николай Хрисанфович...

10

Денисов и Лисовский уселись за столиком в кафе «Либертис». Здесь было развратно и не слишком шумно — обстановка, всегда вдохновлявшая Николая Хрисанфовича. К ним подошла рослая женщина в глубоко открытом платье, блестящем, как чешуя. Низким, хриповатым голосом спросила, что они пьют, и крикнула в глубину полуосвещенного кафе, мерцавшего зеркалами:

— Гарсон, два сода-виски.

После этого она пальцем приплюснула нос Денисову, показала кончик языка и ушла, покачивая бедрами. В сущности это был мужчина, хозяин бара, знаменитый исполнитель куплетов — Жюль Серель.

Денисов засмеялся ему вслед, закурил и сказал Лисовскому:

— Хорошо, что мы не взяли баронессу, мы поговорим.

Принесли виски, он жадно отхлебнул. Лисовский, у которого начиналось нездоровое сердцебиение, незаметно положил в рот облатку аспирина.

— Я хочу выиграть войну с большевиками. Я хочу реализовать в России мой миллиард долларов, — сказал Денисов. — Желания понятны. Теперь — спрячем-ка их в несгораемый шкаф на некоторое неопределенное время... Дело не так просто, как кажется... Все эти блаженные дурачки вместе с князем Львовым ни черта не понимают... Они размалевывают перед англичанами и французами детские картинки: в милейшей и добрейшей России государственная власть захвачена бандой

разбойников... Помогите нам их выгнать из Москвы и — дело в шляпе. Я утверждаю: французы и англичане точно так же ни свиньи собачьей не смыслят в политике, не знают истории с географией... Взять Москву! А Москва-то, между прочим, у них здесь — в Париже, в рабочих кварталах... Танки и пулеметы прежде всего нужно посылать сюда и здесь громить большевиков, и громить планомерно, умно и жестоко.

Лисовский не отрываясь глядел на красные влажные губы Денисова, шевелящиеся точно в лоснящемся гнезде усов и бородки.

Денисов говорил, смакуя фразы, поблескивая глазами:

— Вы думаете, в восемнадцатом году, в Москве и Петербурге, я только и делал, что прятался по подвалам, скупая акции и доходные дома? Я изучал революцию, дорогой мой Лисовский, я бегал на рабочие митинги и однажды, с опасностью для жизни, пробрался на собрание, где говорил Ленин... Выводы: Россия до самых костей заражена большевизмом, и это не шутки... И Ленин знает, что делает: у него большой стратегический план... А у здешних дурачков одна только желудочно-сердечная тоска... Кто победит — я вас спрашиваю?.. Так вот, у меня тоже свой стратегический план...

Щуря глаза, он отхлебнул виски.

— Я никогда не строю свою игру, рассчитывая на дураков, заметьте... К сожалению, дураков больше, чем следует. Поэтому я не рассчитываю на быстрый успех моих идей... Их нужно подготовить, их нужно выносить, им нужно создать благоприятную почву... Вы мне будете нужны, Лисовский... Завтра я еду с баронессой за город. В понедельник мы с вами завтракаем...

Открылась входная дверь. Стали слышны голоса прохожих, женский смех, хриплое кваканье автомобильных сигналов. Дверь, звякнув, закрылась, звуки затихли, в кафе вошли Чермоев и Набоков. По усталовежливому лицу Набокова можно было предположить, что они уже давно таскаются из кабака в кабак в поисках развлечений.

К ним подошел Жюль Серель, в сверкающем платье. Чермоев, глупо и коротко заржав, потрепал его ниже глубокого выреза на спине.

— Это стоит сто су,— сейчас же сказал Жюль Серель, взмахнув наклеенными ресницами,— платите.

— Я плачу луи,— крикнул Денисов.

Жюль Серель взял четыре фарфоровых блюдечка-подставочки (на каждом стояла цена: 2,5 франка), молча поставил их на столик Денисова и предложил только для него спеть «О, ночные тротуары Парижа». Он сел за пианино, закинул голову...

О, ночные тротуары Парижа.
Поиски минутного счастья.
И безнадежная печаль одиночества,
Которую ты находишь,
Ища совсем другого...

Запел он хриповато и негромко. В кафе не было никого, кроме четырех русских. Но из них только один, Набоков, повернув к Серелю бледное лицо, слушал слова песенки, от которой тянуло сладким тлением... Денисов трогал зубами набалдашник трости, Чермоев с достоинством ожидал минуты, когда можно будет пожаловаться ему на недостаток денег, Лисовский, посаывая вторую облатку аспирина, соображал — сколько можно будет содрать с Денисова за еще неведомую услугу.

11

Русская газета «Общее дело», издаваемая В. Л. Бурцевым, печаталась на плоских машинах. В узкой уличке (в старом квартале Парижа), в почерневшем от копоти здании с пыльными сетками на окнах, помещалась типография. Паутина на потолке, газовые рожки и машины, капающие грязным маслом на кирпичный пол, пережили не менее трех революций. Сейчас эта фабрика мысли занималась более или менее сомнительными делами. Рабочие нанимались сюда на короткие сроки и лишь в крайних обстоятельствах. Их выпачканные свинцом, запавшие лица оживали только под суровым взглядом метранпажа — могучего толстяка с угрожающими усами. Он держал впроголодь свой «свинцовый батальон», набираемый в трущобах и кабаках. Типография работала кое-как, но владелец ее, Ришар, журналист, театральный критик и редактор-издатель газетки «Эхо

бульваров», не плохо зарабатывал отделом хроники и смеси, беря с известных лиц и за то, что печатал, и за то, чего не печатал. Клиентами его были кокотки, жаждущие общественного скандала, дома терпимости, маленькие актрисы и немало членов палаты депутатов — эти платили за молчание, так как Ришар знал все, что касалось грязного белья или иных вещей, которые не стоило выносить на свет.

Над типографией направо помещались редакция «Эхо бульваров», анархический листок «Фонарь» и анонимное издательство «Курочки Парижа»... Налево — в трех пустынных комнатах — расположился знаменитый орган борьбы с большевизмом — «Общее дело».

В редакции были голые и пыльные окна, на полу — пожелтевшие связки газет, несколько камышовых стульев, гвозди в стенах и листочки рукописных объявлений, приколотые булавками к обоям. На двери в крайнюю комнату — надпись: «Я занят». Там сидел Бурцев.

Он сидел спиной к двери. Входящим была видна маленькая, быстро пишущая фигурка с раздвинутыми продранными локтями и седые вихры из-под соломенной шляпы, которую он из торопливости и занятости никогда не снимал. Обойдя стол, посетитель мог видеть горбатый внушительный нос, испачканный чернилами, табачно-седую бородку и худощавое возбужденное лицо Владимира Львовича. Он писал. Обычно он один заполнял всю газету. На столе — вороха рукописей, газет, окурки и пыль. В глубине комнаты на полу — рукописи, окурки и пачки газет, на которых Владимир Львович спал. Из бережливости он жил здесь же, при редакции, мირясь с отсутствием водопроводной раковины.

Сотрудникам, кроме Лисовского, он отказывался платить хотя бы одно су, — в дни уплаты ему гонорара впадал в тихое бешенство:

— Куда вы деваете деньги, Лисовский, куда вы расшвыриваете деньги? Каждую неделю вы отнимаете часть души от «Общего дела». Я спрашиваю: чем отличается ваша беспринципность от шайки московских разбойников? (Он думал и выражался фразами из своих передовиц; пронзительные со сжимающимися, расширяющимися зрачками светло-голубые глаза охотника за провокаторами ощупывали, казалось, все тайные

извилины души Лисовского.) Вы, призванный сорвать маску с преступления большевиков, завтракаете по ресторонам, крикливо одеваетесь, и я вижу,— должны это признать,— вы — ближайший соратник «Общего дела», вы — циник...

После этого Бурцев вытаскивал из-за рваной подкладки пиджака измятые двадцатифранковые бумажки и, удрученный, передавал их Лисовскому. Деньги на издание «Общего дела» доставались ему нелегко: французы не придавали серьезного значения газете, так как в экономической программе Бурцева не было ничего вещественного, кроме позорных столбов, осино-вых кольев и проклятий, а телеграммы от собственных корреспондентов, сочиняемые в соседней комнате Лисовским (большевистские ужасы, социализация женщин и тому подобное), казались более живописными, чем деловитыми. Для Деникина Владимир Львович был слишком красен. В колчаковских кругах вообще собирались повесить Бурцева вместе со многими другими «либералами» после взятия Москвы. Деньги перепали лишь от князя Львова.

Лисовский советовал повернуть руль «Общего дела» от парламентаризма покруче вправо—созвучно с эпохой:

— Владимир Львович, играйте на генерала на белой лошадке. Нюхайте эпоху. Больше нельзя долбить, будто большевики сорвали святую, бескровную революцию... И слава богу, что сорвали,— осино-вый ей кол...

— Замолчите! — страшным шепотом перебивал Бурцев.

— Осознать настоящего хозяина — вот лозунг... Владимир Львович, вы верный слуга буржуазии, и дай бог ей здоровья и процветания...

— Молчите! Вы — циник, диалектик, большевик...

— Хотите, махну четыре фельетона подряд — во всем блеске, как я обо всем этом думаю... Редакция переезжает на Елисейские поля, вход с парадного... В приемной — жизнь, а не гвозди в стенах... Депутаты; дельцы, концессионеры, генералы... Шикарные девочки...

— Я вас больше не слушаю,— Бурцев хватал сухонькими пальчиками перо, и нос его нависал над торопливыми неразборчивыми строками, над чернильными брызгами.

«...у которых отмерло чувство элементарной порядочности; люди, в присутствии которых боишься за целостность твоего носового платка! И мы с полным правом бросаем им в лицо: проклятие вам, большевики!..»

Бурцев осторожно положил перо на стеклянную подставку, потер сухие ладони. Перед ним, усмехаясь, как всегда, стоял Лисовский. Бурцев сказал:

— Я кончил передовицу... Едва ли кто-нибудь писал столь беспощадные слова. Они упадут громом на их голову. Если у них хотя бы остался намек на совесть, они не переживут позора...

Лисовский дернул ноздрей:

— Я только что завтракал с Денисовым. Николай Хрисанфович делает интересное предложение... Знаете, что он сказал? «Для какого дьявола Бурцев издает газету по-русски?..»

Бурцев угрожающе поднял палец:

— Слушайте, от вас несет вином...

— Мы пили великолепное бургонское, будьте покойны... Он сказал: «Бурцев в конце концов пишет для одних большевиков,— чтобы им стало стыдно и они бросили революцию...» В Доброармии вам ни на маковое зерно не верят, сколько ни распинайтесь... Какова аграрная программа «Общего дела»? — Кукиш в кармане... А Доброармии нужно не много, но крепко: землю помещикам, мужиков — шомполами...

— Безумие! — закричал Бурцев, хватаясь за перо. — Я никогда не дам большевикам этого козыря! Скорее я пойду за Черновым, хотя в настоящих условиях это тоже безумие!

— Ну, так вот Денисов именно это и ценит: у Бурцева хороший стаж; французский рабочий если кому-нибудь поверит — только Бурцеву... Рабочие питаются ядом Шарля Раппопорта в «Юманите»... Даже Анатоль Франс объявил себя большевиком... Раппопорт торчит у него каждый день на вилле «Саид»... Пусть рабочие читают «Общее дело», и на это можно дать деньги... Пусть Бурцев для собственного утешения издает пятьсот экземпляров по-русски,— все остальное на французском языке... Бурцев — марксист, революционер, не-

подкупный... (Владимир Львович, сам этого не ожидая, самодовольно усмехнулся...) Пусть он рассказывает рабочим, как их водит за нос шайка бандитов... Бурцев — это марка... Вот что сказал Денисов... (Пауза. Лисовский закурил.) Слушайте, с сегодняшнего вечера я займусь рабочими окраинами. Вы отводите мне весь нижний подвал под зарисовки. Нельзя сразу долбить читателя по башке вашими передовицами. Я его заинтересую. Что вы скажете о серии очерков — «С фонарем по Парижу»? Пусть это будет немного желто — все же лучше, чем ваши осиновые колья. Денисов прав: Москву нужно начать бить здесь, в рабочих кварталах. «Общему делу» суждено спасти Европу...

Лисовский сказал это черт его знает как: с кривой усмешкой и нагло глядя в глаза, но голосом как будто взволнованным и убежденным.

Для Бурцева настала тяжелая минута раздумья, все же он ее пережил.

— Лисовский, я хочу знать происхождение денисовских миллионов. Это чистые деньги?

— Чистые деньги.

— Хорошо... Я его приму... Но пусть он придет сюда... Сюда! (Он ткнул сухоньким пальцем в промокашку.) Пусть эти господа миллионеры увидят, что мы здесь не торгуем своими перьями...

13

В тридцати минутах трамвайного пути от Парижа, в Севре, в лесу стоял уединенный дом в два этажа с мансардой, за каменной высокой изгородью, поросшей ежевикой.

Сведения местных поставщиков мяса, зелени, молочных, хлебных и колониальных продуктов об обитателях уединенного дома в лесу были следующие.

Владелец дачи, мосье Мишо, имевший несчастье вложить две трети сбережений в русские займы и заболевший сердечными припадками после Брест-Литовского мира, получил однажды от комиссионной конторы предложение сдать в аренду на шесть месяцев свой дом иностранцу Хаджет Лаше. Мосье Мишо поставил условие — оплатить аренду за шесть месяцев вперед в англ-

дийских фунтах стерлингов. Контора сейчас же ответила согласием и передала мосье Мишо контракт, уже подписанный Хаджетом Лаше, и арендную плату в английских фунтах. Таким образом, мосье Мишо так и не увидел в лицо своего арендатора. Прислуга, рекомендованная мосье Мишо, мадемуазель Нинет Барбош, также не давала сколько-нибудь определенных сведений. Из многих посетителей дачи ни одного не звали Хаджет Лаше. Он оставался лицом, возбуждающим любопытство.

На даче жили три молодые женщины и угрюмая старуха, Фатьма-ханум. Она следила за хозяйством, расплачивалась с поставщиками, по-французски знала только названия продуктов, никогда не выходила за ограду и спала на чердаке в полутемной клетушке. Три молодые женщины — мадам Мари, мадам Вера и мадам Лили — занимали наверху три спальни. В четвертой комнате останавливался Александр Левант. Случайные посетители, гостившие иногда по нескольку дней, спали внизу, в салоне, на турецких диванах, покрытых смирнскими коврами. Нинет Барбош не могла определить, на каком языке разговаривают молодые дамы, некоторые слова она записала французскими буквами на клочке бумаги, но в Севре на рынке не удалось их расшифровать.

На рынке и в лавочках Севра задавали вопрос: не есть ли дача в лесу просто заведение с «девочками»? Но против этого решительно восстали поставщики. Мужчины бывали на даче не часто и не регулярно: будь там заведение, оно давно бы уже лопнуло, во всяком случае, замечались бы жизненные перебои. Единственно, что можно было там отметить, — это оттенок несемейственности. Но в конце концов всякий живет, как ему нравится, и нет основания совать нос туда, где честно расплачиваются по счетам.

Уважение внушало также и то, что Александр Левант всегда приезжал в автомобиле и никто из гостей никогда не пользовался поездом, тем более трамваем. Из Парижа привозилось шампанское, но после того, как владелец винного магазина в Севре предложил доставлять в любое время дня и ночи вина и шампанское любых марок в любом количестве, и эти случайные суммы стали оседать в Севре.

Мадам Мари, мадам Вера и мадам Лили жили празднично. Спали до десяти утра; непричесанные, в шелковых пижамах, подолгу сидели за утренним кофе, курили папироски. Иногда гуляли, но больше валялись под двумя старыми липами напротив каменного крыльца.

Сад был запущен, розы одичали, на клумбах — сорная трава. Нинет Барбош, перетирая у окна тарелки, часто спрашивала себя: почему эти три кобылицы так боятся испачкать руки? На чудесной лужайке, где в июньском зное слышалось пчелиное гудение, валялись пустые коробки от папирос, бумажки, бутылки. А эти, положив голые руки под затылок, зная себе глядят в облака... Чулки не штопают, порвутся — бросят где попало; платья раскиданы по всему дому.

Мари была полная блондинка с длинными сонными глазами. Вера — высокая, худая, сложенная, как модель из большого дома; лицо азиатское, волосы лиловые. Лили — во французском вкусе: круглое, как у подростка, лицо, вздернутый нос, стриженная трепаная голова, но слишком большой и чуждый по выражению рот выдавал славянское происхождение.

Когда слышался гудок поднимающегося в гору автомобиля, на крыльце появлялась Фатьма-жанум и что-то начинала говорить, ударяла ладонь о ладонь, трясла старым подбородком. Но дамы не слушали ее — может быть, потому, что Фатьма говорила на другом языке. Они лениво покидали парусиновые шезлонги, уходили в дом одеваться. Фатьма тусклыми покорными глазами глядела на железную калитку с колокольчиком. Появлялся Александр Левант, большею частью с гостями. Почти всегда это были иностранцы. Они бросали шляпы и пальто на траву, садились на шезлонги. Курили, спорили, смеялись. Александр Левант уходил за дамами. Обняв их за плечи, широко улыбаясь, сводил с крыльца, знакомил. Им целовали руки.

В один из июньских дней Александр Левант привез на дачу Василия Алексеевича Налымова. Под липами в безветренном зное гудели пчелы. Нинет Барбош энергично стучала тяткой на кухне. Дамы умудрились да-

же стащить с себя пижамы, лежа с папиросками в парусиновых креслах. Повсюду — лень и жаркие голубоватые тени.

Среди полдневной истомы неожиданно раскрылась калитка, за спиной Александра Леванта смеялось одутловатое бритое лицо светловолосого человека, одетого во все новое. Дамы слабо ахнули и понеслись к дому, кое-как прикрывая наготу.

Левант рассердился и начал по-турецки кричать в чердачное окно. Оттуда высунулась перепуганная Фатма, залопотала по-турецки. Левант с бешенством указал ей тростью на пустые бутылки и на пижамы, оброненные на песчаной дорожке...

— Проклятая старуха! — сказал он Налымову, увлекая его в дом. — Но вы не обращайте внимания на некоторый беспорядок. Мой друг, Хаджет Лаше, снявший эту дачу, в отъезде. Дамы, которых вы мельком видели, — его гости. У меня нет времени заняться порядком. Это дом без головы, но здесь можно чувствовать себя не стесняясь. Это — богема...

Он ввел Налымова в небольшой салон, затемненный закрытыми жалюзи, и предложил располагаться на любом из диванов. Присев на подоконник, перекатывал во рту сигару.

— Три дамы, — чтобы сразу вам ориентироваться, — эмигрантки из России. Мой друг, Хаджет Лаше, человек необычайно отзывчивый, подобрал их буквально умирающих от голода на тротуарах Константинополя... Одну из них, кажется, он хорошо знал по петербургскому свету, — та, высокая, чудно сложенная женщина — княгиня Чувашева... Маленькое создание — это несчастная дочь генерала Степанова, — отец пропал без вести, мать умерла во время эвакуации Одессы. Полная блондинка, если не ошибаюсь, — киевская сахарозаводчица, чудный голос, но до сих пор не совсем пришла в себя от потрясений... Сердце обливается кровью, когда подумаешь, что наделали большевики с нашей Россией... Я ведь тоже отчасти русский, у меня были крупные дела в Петербурге... Помните гостиницу «Астория»? Там я держал постоянные апартаменты. Мой друг, Хаджет Лаше... Кстати, вы не знали его?

— Не вспоминаю,— ответил Налымов, прислушиваясь к женским голосам, слышным из раскрытых окон наверху.

— Совсем недавно он купил у стокгольмского эмигранта гостиницу «Астория» и еще ряд других гостиниц в Петербурге. Очень деловой человек... И патриот, русский патриот...

Заметив, что Налымов плохо слушает, Левант несколько изменил направление беседы:

— Сейчас мы отлично пообедаем. Нинет Барбош научилась у старухи восточным блюдам. Затем я вас покину на попечение дам. Отдыхайте, флиртуйте. А через несколько деньков займемся делами. Меня очень интересует Тапа Чермоев,— вы с ним близки?

— Пили где-то...

— Великолепно. Затем — Леон Манташев и другие... Эти нефтяные короли — беспечнейшие люди... И понятно: сиди себе и гляди, как из-под земли с божьей помощью хлещут деньги... Словом, об этом в свое время... Идем обедать...

Дамы вышли к столу в белых батистовых платьях. Александр Левант представил Налымова,— его приняли непринужденно, но равнодушно. Обед, в полумраке закрытых жалюзи, начался молчаливо. Левант с жадностью занялся едой. От щек и толстых рук Нинет Барбош, вносящей блюда, дышало жаром плиты. Мадам Мари изнемогала. Мадам Вера по-мужски пила белое вино — стакан за стаканом. Крошка Лили любопытно поглядывала на Налымова.

Отодвинув тарелку, Александр Левант вытер салфеткой лицо и шею.

— Дорогие создания,— сказал он неприветливо,— я оставляю на ваше попечение Василия Алексеевича. Но, если будете его развлекать, как сейчас, он к вечеру сбежит в Париж. Здесь не английский пансион, мои цыпочки...

— Так бы вы сразу и сказали,— мрачным, хриповатым голосом ответила княгиня Чувашева.

Лили неизвестно чему засмеялась, и ее личико с горькими складочками у рта стало молодым. Мадам Мари лениво подняла веки.

— «Нам каждый гость дарован богом», — пропела она и красивой холеной рукой повела стаканом в сторону Налымова.

Он поклонился, под стулом стукнул каблуками.

Мари спросила:

— Вы военный?

— Бывший...

— Какого полка?

— Право, забыл... (Три дамы изумленно взглянули на него.) Я столько веселился, — право, отшибло память...

Подпрыгивая от беззвучного смеха, топорща локти, он кивал дамам красноватым носом.

Левант сказал:

— Василий Алексеевич командовал серебряной ротой Семеновского полка. Ну-с, давайте о чем-нибудь повеселее...

Но дамы помрачнели от воспоминаний. Княгиня жестко сжала рот, стучала длинными ногтями по скатерти. У Лили увяло личико, будто из него выпустили воздух. Веселья не выходило. Пить кофе пошли в сад, откуда торопливо засеменила Фатьма с приподнятым подолом, полным пустых бутылок и мусора.

Вскоре Левант докурил сигару и уехал. Налымов, поджав ноги, покачиваясь от удовольствия, сидел в траве, потягивал коньячок.

— Слушайте, вы, по-моему, хороший парень, — сказала ему княгиня Чувашева. Теперь, когда не было Леванта, лицо ее стало нежнее, добрее. — Чего ради вы сюда приехали?

— Мой друг Левант находит — мне нужен небольшой отдых.

— Слушайте, давайте по-хорошему... Вам известно, что здесь — притон?

— Княгиня, здесь — очаровательно...

— Меня зовут Верой... Подсаживайтесь ближе... Вы что же — в самом отчаянном положении, что ли? В мусорном ящике?

Налымов все так же — со смешком:

— Я писал моему орловскому управляющему, — он чертовски затягивает с деньгами... Не то мужики не

хотят платить,— вообще что-то курьезное... Накопились долги, пришлось несколько стесниться...

— ...Ночевать на бульваре,— низким голосом сказала княгиня.

— Как вы угадали? Ночевать на бульварах...

— ...Воровать хлеб в ресторанах...

— Воровал... Но не столько стесняло ограничение в еде, как в напитках, представьте... Вы когда-нибудь работали, княгиня, по очистке канализации?

— Работала кое-где похуже...

— На вас надевают огромные сапоги, и вы с лопатой стоите по колени в жижице. В каналах — множество заржавленных булавок, если такая штука воткнется в ногу, вам будет плохо. Но зато под землей я подружился с отличнейшими людьми... Все они отчаянные анархисты, и мне пришлось скрывать кое-что из прошлого... В общем, нужно забыть, что мы жили... Травка, пчелки, коньячок...

— Забыть — умно... Но не так-то легко...

— Забыть, где родились, как вас зовут. Перестаньте надеяться — и станет легко, как птичке...

Княгиня подперла щеку, сдвинула мужские брови:

— Перестать надеяться?

— Это такая же глупость, как воспоминания...

Мари и Лили сквозь дремоту прислушивались к их словам. В словах этого человека из мусорного ящика, в его трясущемся смешке, в пропитых водянисто-серых глазах была какая-то жуткая убедительность. Когда Вера повела его показывать усадьбу, Мари сказала в нос:

— Вера заинтересована...

Лили, лениво болтавшая туфелькой на кончике ноги:

— И он и все мы тут пропадем, как собаки...

Левант не показывался целую неделю. Наконец от него пришла на имя Налымова телеграмма из Стокгольма: «Приезжаю понедельник, прошу быть порядке»...

Всю неделю на даче была тишина, благодать, ленивые разговоры. Дамы уходили спать рано, в их комна-

тах наверху слышались некоторое время тихое всхлипывание и сморканье. Затем гасли все окна, и дача засыпала. Только Налымов еще сидел в траве, поджав ноги. Над липами — черная теплая ночь, над горой наклонились семь звезд Большой Медведицы. Далеко — лиловатый свет над Парижем.

Пропитая душа Василия Алексеевича прислушивалась к нежным, как деревянные трещотки, голосам древесных лягушек. Когда кончался коньяк в полубутылке, он бодренько поднимался и шел в салон, где, не раздеваясь, засыпал на одном из диванов.

Часов с семи утра дамы (с припудренными веками) начинали подходить к двери салона, участливо дожидаясь, когда человек из мусорного ящика перестанет посапывать, откашляется и ясным голосом, как ни в чем не бывало, проговорит будто про себя:

— Ну вот и чудесно...

Тогда подавали кофе, и день начинался — солнечный, длинный, лениво-бездумный. Василий Алексеевич мог бы взять посох и увести трех дам на край света — так они предались ему. Должно быть, и вправду на дне мусорного ящика он отыскал секрет, как жить в это фантастическое время. При нем затихал, как зубная боль, невыразимый ужас будущего... Когда заговаривали о близкой гибели большевиков, о возвращении в Россию, он валился навзничь в траву, дрыгал ногами, хихикал:

— Птички мои, не сходите с ума... Надейтесь только на эту минутку, на эту минутку...

Когда пришла телеграмма от Леванта, Вера появилась в саду в холщовом костюме, в маленькой изящной шапочке и сурово сказала Налымову:

— Я иду в парк, нам нужно поговорить...

Налымов поднялся, отряхнул с костюма травинки. Они пошли сначала по прямой и широкой улице, где за каменными изгородями и колючими кустарниками, среди садиков, клумб, газонов нежилось французское благополучие. Потом спустились в городок Вилль-Давре и по шоссе поднялись к парку Сен-Клу... Вера шла быстро, по-мужски. На Василия Алексеевича ни разу даже и не покосилась. В глухой части парка свернула к скамье. Села — прямая, колючая.

— Слушайте,— сказала она отрывисто,— я вас люблю. Хотя это менее всего важно... Я вас люблю... И на этом кончим...

Она передохнула, но даже и в этот раз не взглянула на него.

— Предупреждаю, вы попали в скверную компанию... Например, за этот разговор, если Хаджет Лаше узнает, не поручусь, что не отправит меня куда-нибудь по частям в багажной корзине... У него уже были такие случаи... В Константинополе мы подписали с ним договорчик... Когда-нибудь, если буду очень пьяна, расскажу об этом... Так вот, на даче мы не просто три публичные девки... Нас для чего-то готовят... Догадываюсь только, что все связано со Стокгольмом... Когда Левант объявит, чтобы мы собирались, нас повезут именно в Стокгольм, и там будет главное... Я не жалею, заметьте... Сделать для меня вы ничего не сможете... Ну, да к черту... Предупреждаю, держитесь очень осторожно,— Левант страшный человек. А страшнее его — тот, главный хозяин, Хаджет Лаше...

Она угрюмо замолчала. Сладкий ветер шелестел в листве высокой платановой аллеи. По боковой дорожке проехал худой, как скелет, велосипедист в кепке. На раме, прильнув к нему, сидела с закрытыми глазами девчонка в черном платице.

Когда они проехали, Вера обхватила шею Василия Алексеевича, прижала его лицо к себе, к сердцу. Молча вся содрогнулась. Отодвинулась подальше на скамье:

— Непонятнее всего, что я — живу... Вот этого раньше никак бы не могла представить...

Когда она отсела, Налымова подняло будто пружинной. Отбежав, описал круг около скамьи:

— Вера Юрьевна, только не выдумывайте меня, боже упаси. Во мне — никакого проблеска, никакой надежды... Чучело на огороде машет руками — это я... Меня забыли похоронить... Я — тот самый неизвестный солдат...

— Люблю вас,— мертво повторила она. Расширенные сухие глаза ее жадно глядели на Василия Алексеевича...

В понедельник Александр Левант вызвал к телефону Веру Юрьевну и потребовал спешно привести дом и сад в наилучший порядок, — особенно позаботиться о кухне и погребе. Будут солидные гости. Налымову он сказал, что вылетает на два дня в Лондон, и просил за это время подготовить почву для свидания с Чермоевым. «Напоминаю — от этого шага зависит все будущее, вы сможете возродиться...» Василий Алексеевич побрился, повязал галстук бабочкой, надел несколько набок новую шляпу и, помахивая тросточкой, отправился в Париж.

У калитки его ждала Вера Юрьевна. Рука ее была холодная и вялая, — он прикоснулся к ней носом и отпустил; рука ее, как неживая, ударилась о бедро. Василий Алексеевич отвернулся. Мощенная плитами дорога уходила под гору. Внизу — старенькие домики, аспидные крыши Севра, извилины реки, сады уже с багровой зеленью, золотистые полосы на волнистой равнине. Все это — будто по ту сторону жизни, как на цветной картинке из далекого детства: спальня матери, и он — на полу, опершись на локти, глядит в книгу с картинками...

— Вы вернетесь? — спросила Вера Юрьевна.

Не оборачиваясь, он ответил сквозь зубы:

— Куда же я к черту денусь?..

— Вы в счастливом настроении едете в Париж...

— В превосходнейшем.

Она — тихо, с упрямством:

— Скоро не вернетесь, я уж чувствую...

Осторожно она потянула полу его пиджака и что-то положила в карман. Он покачал головой, в кармане нащупал пачку денег и, вытащив, осторожно положил на траву. Взглянул на Веру Юрьевну, — губы ее дрожали, в глазах было такое, что ему стало холодно. Он совсем было примирился, приспособился, выдумал даже особую философишку — простейшего организма, амфибии, похихикивающей в рюмочку среди оглушительно мчащихся времен. И вдруг — назад, к человеку, в жаркую женскую тьму! Самое простое было — приподняв шляпу, бодренько уйти вниз по беловатой дороге.

Но потемневшие глаза Веры Юрьевны умоляли: ведь ты не убежишь, ты видишь, ты чувствуешь — уйдешь навсегда, — я же не буду защищаться.

— У меня пять франков, Вера Юрьевна, хватит на поезд, метро и папиросы... Постараюсь быть к обеду... (Взял ее за руку, потом — осторожно — за другую...) Может быть, это глупее всего, но — вернусь, вернусь к вам...

У нее забилося горло. Вырвала руки. Он неожиданно всхлипнул (почти так же, как тогда у Фукьеца за столом, нюхая розу), перекинул через плечо тросточку, пошел к вокзалу.

17

Чермоева он застал дома. Тапа завтракал в кругу родственников, — за столом было человек шестнадцать. Как глава рода, он ел важно и молча. Рядом сидели две красивые татарки в парижских туалетах, сильно надушенные, с розовой кожей, хрупкие, длинноглазые. Татарки и Тапа пили вино. Остальные расположились по родству и знатности: почтенные люди с крашеными бородами, горбоносые смуглые усачи, старухи с косицами, в черных платках. Чермоев вывез в Париж весь цвет многочисленного рода — с нефтяных приисков, из Баку и из горных аулов. Понятно, что нужны были большие деньги содержать с достоинством семью в этом сумасшедшем городе, где у татарок дико загорались глаза перед витринами магазинов, смуглые усачи желали носить шелковые носки и лакированные ботинки, почтенные старики бродили, как голодные шакалы, по центральным бульварам, поворачивая крашеные бороды за каждой толстозадой девчонкой. Тапе приходилось трудно.

Он подумал, что Налымов пришел просить денег. Другого бы он просто велел прогнать из прихожей, но Налымов был из придворной знати: прогонишь — ославит. Скомкав салфетку, Тапа вышел к Василию Алексеевичу, по-кунацки обнял: «Доставил радость, спасибо, пойдем кушать», — и посадил его между красивыми татарками, пахнувшими головокружительными духами.

Русоволосую звали Анис-ханум, медноволосую — Тамара-ханум. Обе — троюродные сестры Тапы. У обеих высокие, подведенные, как ниточки, брови и тонкие руки, обремененные кольцами. У Анис — приподнятый нос и пухлые губы. Тамара — скуластая, худая, с глазами, как горячие пропасти. Они, видимо, вполне освоились с парижской жизнью, — шурша коленями по шелку, потягивая ликеры и куря из золотых мундштучков, говорили, что Париж невыносимо скучен в июле, можно рассеяться только в Булонском лесу, где танцуют на паркетном помосте под открытым небом при свете луны. Но мужчин нет. Французы, говорят, все от двадцати пяти лет до сорока убиты, остались подростки, но эти поголовно занимаются гомосексуализмом. Иностранцы все сейчас в Довилле. Вот где шикарно! (У обеих руки рассыпались брызгами колец над столом.) В казино игра, — банк в три миллиона — ничто... В Довилль рекой текут доллары и фунты... Счастливая Франция!..

Тапа встал, сложил ладони, как книгу, пошептал, провел ими по лицу. Завтрак кончился. Родственники неслышно исчезли. Татарки продолжали болтать, но он взял их за плечи, потрепал и поцеловал обеих в волосы. Захватив золотые портсигарчики и сумочки, они вышли.

— Чудные женщины, — сказал Тапа, запирая за ними дверь, — одна вдова, у другой, Тамары, муж пропал без вести в горах... Молоды, красивы, что с ними делать, ума не приложу. — Он придвинул стул к Налымову и круглыми неподвижными глазами стал глядеть на него.

— Тапа, я к тебе по делу. Ты знаешь Александра Леванта? (Тапа мотнул тяжелой головой.) Я у него — поверенным в делах... Ты, наверное, слышал — я одно время опустился... (Тапа кивнул.) Да, было такое настроение... России нет, армия погибла, государь убит... Все, чему присягал, — гнилой труп...

— В белые армии не веришь?

— Белые, красные, зеленые — пусть их там делят остатки... Я тут при чем? Семеновский мундир растоптан в грязи, — думал: трагедия, и трагедии не вышло... И конца не вышло... А Россия — что ж... В России будут хозяйничать англичане... (Тапа насторожился.)

Словом, я к тебе с предложением от моего доверителя, Александра Леванта. Он хочет с тобой встретиться.

— Можно.

— Нефтяные земли ты никому еще не продал? (Тапа усмехнулся.) Отлично. Назначим день и час. Я хотел бы привлечь другого нефтяного короля — как его... этого... Манташева — к этому свиданию.

— Ты думаешь — Кавказ будет английским? Деникин отдаст Кавказ англичанам?

— Об этом спросишь Леванта, он все знает... Левант предложил в пятницу завтракать в Кафе де Пари...

Нефтяной магнат, расточитель миллионов, липнувших к нему безо всякого, казалось, с его стороны, усилия, человек с неожиданными фантазиями, лошажник, рослый красавец Леон Манташев находился в крайне жалком состоянии. Он занимал апартаменты в одном из самых дорогих отелей — «Карлтон» на Елисейских полях, и только это обстоятельство еще поддерживало его кредит в мелких учетных конторах, ресторанах, у портных.

Но окружение кредиторов непреклонно сжималось, душило его ночными кошмарами. Он утратил ценнейший дар жизни — беспечность. Особенно по утрам, просыпаясь от тревожного сердцебиения, гнал и не мог отогнать мрачные мысли, — в бессилии, в бешенстве курил, ворочался в постели, придумывая фантастические планы спасения и кровожадные планы мести.

Это была расплата за легкомыслие. В Москве (в двенадцатом году) неожиданный скачок биржи однажды подарил ему восемь миллионов. Он испытал острое удовольствие, видя растерянность прижимистых Рябушинских, меценатов Носовых, Лосевых, Высоцких, Гиршманов. Восемь миллионов — бездельнику, моту, армянскому шашлычнику! Чтобы продлить удовольствие, Леон Манташев закатил ужин на сто персон. Ресторатор Оливье сам выехал в Париж за устрицами, лангустами, спаржей, артишоками. Повар из Тифлиса привез карачайских барашков, форелей и пряностей. Из Уральска доставили саженных осетров, из Астрахани — мерную стерлядь. Трактир Тестова поставил расстегаи. Трактир

Бубнова на Варварке — знаменитые суточные щи и гречневую кашу для опохмеления на рассвете.

Идея была: предложить три национальных кухни — кавказскую, французскую и московскую. Обстановка ужина — древнеримская. Столы — полукругом, мягкие сиденья, обитые красным шелком, с потолка — гирлянды роз. На столах — выдолбленные глыбы льда со свежей икрой, могучие осетры на серебряных цоколях, старое венецианское стекло. В канделябрах — церковные, обвитые золотом свечи, — свет их дробился в хрустальных аквариумах с драгоценными японскими рыбками (тоже закуска под хмелье). Вазы с южноамериканскими двойными апельсинами, фрукты с Цейлона. Под салфетками каждого куверта ценные подарки: дамам — броши, мужчинам — золотые портсигары. Три национальных оркестра музыки. За окнами на дворе — экран, где показали премьерой фильмы из Берлина и Парижа... Гостей удивили сразу же первой горячей закуской: были предложены жареные пиявки, напитанные гусиной кровью. Ужин обошелся в двести тысяч... Теперь хотя бы половину этих денег!

Был уже третий час пополудни, когда Налымов вошел к нему в номер, полный табачного дыма. Высокие портьеры на окнах спущены, розовый ночник у постели освещал на раскиданных подушках крупного мужчину в полосатой пижаме, с измятым лицом и черными жокей-клубскими усами. По скаковой традиции, Леон Манташев пил с утра шампанское с коньяком.

— Я болен, я измучен. Нервы, перебои, — приподнимаясь на локте, сказал он Налымову. — Придвигайте кресло. Хотите вина? Они мне, черт возьми, все еще подают, хотя у лакея рожа такая — хочется залепить плюху. Василий Алексеевич, когда же домой? Я больше не могу... Вы представляете, я, я, я — без денег... Хохотать хочется. Пропал даже вкус к лошадям... О женщинах я и не говорю...

— Вы не прочь, Леон, поговорить с одним крупным человеком о продаже нефтяных земель в Баку?

— Продать мои земли? Вы с ума сошли! Лучше я полгода здесь проваляюсь, но уж дождусь, когда вырежут большевиков... Они укорачивают мою жизнь!.. Вы вдумайтесь! Они распоряжаются моими землями, мои-

ми домами, моими деньгами, моим здоровьем... (Он вскочил, с яростью подтянул штаны пижамы и заходил в одной туфле.) О чем думают эти болваны англичане, я вас спрашиваю? О французиках я уже и не говорю — лавочки, трусы, хамы... Я решил написать английскому королю: «Ваше величество, вы первый джентльмен в мире, — меня ограбили, меня убивают медленной пыткой, прошу защиты...» Мои лошади бежали в Англии в тринадцатом году, он меня знает... А что, этот человек, с которым вы хотите, чтобы я говорил, — жулик, наверное?

— Он, насколько я помню, агент крупной компании. Моя роль маленькая — познакомить...

Манташев плюнул со злости:

— Довели — помещик, аристократ, семеновский офицер и служит фактором... Кошмар!.. Василий Алексеевич, давайте пить коктейль... (Позвонил.) В номер дают сколько угодно, а пойдя я через улицу к Фукьецу — сейчас же посылают мальчишку проследить: ага, я у Фукьеца!.. И вечером — счет... (Он поджал губы, черные усы взъерошились, выкатил бараньи глаза.) Тридцать восемь тысяч франков счет... А? Когда же с этим типом вы предполагаете встретиться? Что?

18

Налымов вернулся на дачу, как и обещал, в сумерки. У Веры Юрьевны похорошело лицо, когда он медленно затворял за собой калитку. Из окон столовой лился приветливый свет. Сейчас же сели обедать.

Вечер был теплый, влажный, из темного окна влетела зеленая мошкара, ночные бабочки крутились под шелковым абажуром. Казалось, за столом сидела дружная тихая семья, а не четыре тени из невозвратной жизни постукивали вилками и ножами, учтиво передавая друг другу блюда. Во всем этом было извращение настолько очевидное, что мадам Мари вдруг резко засмеялась:

— Семейка!..

Расширенные зрачки Веры Юрьевны остановились на Василии Алексеевиче. Он потянулся за бутылкой, сказал с усмешкой:

— На примере нашего ужина, дорогие женщины, вполне приличного, мы видим всю призрачность так называемого благополучия... Ах, мои птички, хорошо чувствовать себя невинно потерпевшими, но это утешение тоже призрачно...

Лили перебила плаксиво:

— Я еще в Константинополе хотела утопиться... Ни жить, ни умереть — вот в чем виновата.

Мари — низким голосом:

— А я в чем виновата? Отняли все бриллианты, меха, на триста тысяч... Я бы здесь ферму купила... Княгиня Мышецкая разводит цыплят, чудно живет...

Пришел час изливать горечь... Женщины начали жаловаться. Что они сделали, за что такое им не в меру грехов возмездие?

Мари продолжала:

— Жили, как все живут. Ну, мотали деньги... Вот и вся вина... Керенским восхищались, устраивали даже базары в пользу революционеров... Так нет — оказались виноваты, что мы хорошо одеты, мы — красивые, в ванне моемся... В судомойки, что ли, было идти? Судомойки только там и царствуют... А когда у вас вывозят дорогую мебель, в квартиру вселяют солдатню и матросню — революцией прикажете восхищаться?.. Хоть и вернемся когда-нибудь — как на пожарище: ни кусочка, ни клочочка не осталось... — Она сердито кулаком смахнула слезы. — Оскорбляют, выкидывают на улицу, обируют до нитки всех счастливых, всех нарядных, всех богатых... И при этом кричат, — вы же виноваты! стыдно вам, Василий Алексеевич!

— За что, за что, за что? — шепотом повторяла за ней Лили, кивая распухшим носом над тарелкой.

Женщины бежали от апокалиптического ужаса через фронты к своим милым, хорошим «рыцарям духа», подставлявшим грудь под большевистские пули во имя восстановления красивой жизни. Женщины металась по полуразрушенным городам, грязным, переполненным гостиницам, угарным кабакам, где песенки Вертинского прерывались револьверными выстрелами и треском разбиваемых о головы бутылок... Знакомые, милые, изящные люди занимались спекуляцией и грабежом, во время эвакуаций сталкивали женщин с вагонных площадок...

«Рыцари духа» мечтали о шомполах и веревках, и в мутных глазах убийц не найти было приюта для любви измученной женщине... Снова и снова — теплушки с сыпнотифозными, грязные кровати, разделяемые черт знает с кем за бутылку вина, за красновские, за деникинские кредитки... И так — все ниже, на дно человеческого водоворота...

Когда они вырвались из этого царства крови, сыпняка, сифилиса и разбоя на лазурные берега Константинополя, выбора не оказалось: тротуар, ночной фонарь и вдали пуговицы полицейского мундира...

— Да, да, Лилька верно сказала: в том и виноваты, что не утопились вовремя! — крикнула Мари и выругалась непристойно по-русски.

Так они плакали до полуночи. Фатьма-ханум несколько раз встревоженно появлялась в дверях, покуда Мари не запустила в старуху бутылкой.

Самое бесполезное, что можно было придумать, — и этому немало дивились французы, — сидеть у стола под газовым рожком и ночь напролет бродить по психологическим дебрям... Если взять, например, резиновый шар, наполненный воздухом, и поместить его в безвоздушное пространство, он начнет раздуваться, покуда не лопнет. Русских беженцев распирала сложность собственной личности. Для ее ничем не стесняемого расцвета Россия когда-то была удобнейшим местом. Неожиданно поставленная вне закона, она с угрозами и жалобами помчалась через фронты гражданской войны. Она докатилась до Парижа, где попала в разреженную атмосферу, так как здесь никому не была нужна. Иной из беженцев помирился бы даже с имущественными потерями, но никак не с тем, что из жизни может быть вышвырнуто его «я». Если нет меня, то что же есть? Если я страдаю — значит нужно изменить окружающее, чтобы я не страдал. Я — русский, я люблю мою Россию, то есть люблю себя в окружении вещей и людей, каким я был в России. Если этого нет или этого не вернут, то такая Россия мне не нужна.

Революция, революция! Взбрело же в жизнь такое страшное и неуютное... Опустевший город. На окнах заколоченных магазинов — декреты о классовой борьбе... Холод... Ночной звонок. И все мое, весь я отскаки-

ваю от кожаной куртки человека с безжалостно сжатым ртом и мрачными глазами, глядящими сквозь мое «я».

У Веры, Мари и Лили будущее отягчалось еще и тем, что в Константинополе, затем во Франции они были зарегистрированы как профессионально занимающиеся проституцией. Эту услугу оказал им Левант. У него хранилась из марсельской префектуры какая-то гнусная бумажонка, он каждый раз угрожал ею, когда женщины начинали строптивиться.

Жалобы были излиты, слова все сказаны. Мари и Лили ушли спать. Вера Юрьевна придвинула стул к Василию Алексеевичу, положила голову на стол, на руки.

— Помимо всех художеств, за мной числится еще «мокрое» дело в Константинополе... Рассказать?

— Зачем, птичка моя? (Налымов заложил пальцы в жилетные карманы и шурился блаженно.) И без того все ясно. Одним мокрым делом больше? Какой вздор, какой вздор! Происхождение совести? Меня это занимало в прошлую зиму. Я даже ходил в публичную библиотеку... Семь миллионов спрессованных мыслей о совести на книжных полках... Я много смеялся про себя. Я чудно грелся у калориферов,— был январь, и я очень зяб. Я так и не стал читать книг. Мировая совесть, закопанная в телячью кожу, почиет в публичной библиотеке, ею питаются книжные клещи... Когда мой зад начинал согреваться на калорифере, я размышлял о том, что все условно... Птичка моя, вы жили в хорошем обществе — оно разбежалось. Ваши деньги запиханы в мужицкие онучи. Вас нет, вы — только грустный рассказ о человеке. Кому нужна ваша совесть? Самой себе?.. Так, так — вы заботитесь о чистоплотности... Старый, добрый буржуазный мир, где нам было так уютно жить, махнул рукой на чистоплотность. Видите, иногда я читаю газеты... Я даже пытался читать московские газеты. Читал, но испугался... Они требуют — значит за ними сила. Они неприлично ругаются — значит ничего не боятся. Несомненно, они в конце концов разобьют вдребезги этот старый мир... Но нам с вами от этого не станет легче... Итак, да здравствует мрак души, если у тебя, птичка моя,— мрак... Да здравствует

кривой турецкий нож, если тебе хочется воткнуть его в сонную артерию пьяному негодяю...

Вера Юрьевна вскочила. Зрачки — во весь глаз. Спросила одними пересохшими губами:

— Откуда вы это знаете?

— Это довольно обычный прием константинопольских проституток. Садись, любовь моя, выпей винца. Поговорим о чем-нибудь невинном.

19

Лисовский доехал на поезде подземной дороги до последней остановки и по движущейся лестнице поднялся на небольшую площадь.

Посреди площади горел газовый фонарь. Под ним стояли два агента полиции, заложив руки под пелерины. Наверху — звезды, не омраченные городскими испарениями. В кирпичных невысоких домах, кругом обступивших площадь, кое-где свет керосиновой лампы. В пролете одного из узких переулков, уходящих ступенями вниз, вдалеке — скопища электрических огней, зарево реклам. Но шум Парижа сюда не долетал.

Лисовский надвинул кепку и вошел в кафе, где слышались голоса. В табачном дыму, за потемневшими от жира и пива столиками сидело человек полсотни рабочих. Они слушали человека, стоявшего спиной к цинковому прилавку. У него было маленькое круглое лицо с широко расставленными водянистыми глазами и взъерошенные усы. Левая рука обмотана окровавленной марлей. Когда вошел Лисовский, он быстро обернулся. Но ему закричали:

— Эй, Жак, продолжай!..

— Если это шпик, свернем шею.

— Да ошпим.

— Да поджарим.

— Да полакомимся...

От шуточек, сказанных с угрозой, Лисовскому стало неуютно. Все же он подошел к прилавку, спросил стакан белого вина. Жак поднял руку, — снизу на марле запеклась просочившаяся кровь.

— Я пошел в контору, я показал мою руку директору: «Вы размалываете пролетариев на ваших прокля-

тых станках, вы питаете машины нашим мясом, вот как вы добываете ваши денежки, малютка Пишо». Ха! Он до того налился кровью,— я испугался, как бы он тут же и не лопнул,— он выкатил глаза, как осьминог... «Послушайте, Жак, несчастный случай произошел по вашей неосторожности, вам оказана бесплатная медицинская помощь, если вас это не удовлетворяет — идите жаловаться в ваш профсоюз». — «Где,— я ему говорю,— секретарем ваш двоюродный братец». — «Если вы пришли мне говорить дерзости, убирайтесь вон!» — заревел малютка Пишо... «Великолепно,— говорю я ему,— но сначала посмотрим, как вы подавитесь этим сгустком!» Одним словом, я хотел ему вымазать сопатку моей кровью... Крик, звонки, полиция... Пишо визжал, как будто на него набросился бешеный волк. «Возьмите его, это агент Москвы, это большевик!..» Меня волокут из конторы... Ха!.. Как раз обеденный перерыв, двор полон рабочими. Ого, как они зарычали! Тогда я высказал полицейским мое сомнение в целесообразности тащить меня сквозь строй товарищей в префектуру... Полицейские поблагодарили меня за толковый совет двумя бодрыми пинками и в порядке отступили в заводскую контору... Ха!.. Через пять минут там не осталось ни одного целого окошка... Это уже бунт! Директор вызвал подкрепление... Мы завалили ворота булыжником и железным ломом... Мы заявили о готовности весело провести время до конца рабочего дня... Заморозить бессемеровские печи, пустить в вальцы холодный рельс... Администрация вступила в переговоры... Мы послали расторопных ребят на соседние заводы — бить стекла... Начинать так начинать!..

Жак, не оборачиваясь, взял со стойки стакан белого вина и вылил его в пересохшее горло. На матовых щеках его краснели пятна, густые ресницы прикрывали веселое бешенство глаз. Лисовский осторожно наблюдал. Из тридцати — сорока человек больше половины слушали Жака с восторгом,— видимо, он был здесь коноводом, другие — пожилые рабочие, усатые, успокоенные — слушали со сдержанными усмешками, иные — хмуро.

— Ребяческая игра,— сказал один, шевеля усами.

— Затевать ссору с хозяином,— так уж знай, чего ты хочешь...

— Обдумать да взвесить... Да и предлог нужен покрупнее, если уж бастовать...

Выпив, Жак щелкнул языком:

— О, ля-ля! Предлог! Не все ли равно... Когда-нибудь надо начинать!

— Верно, верно, Жак! — подхватили молодые, топая башмаками. — Начинать, Жак, начинать!..

— Тише, мои деточки, помолчите-ка! — Грузный седой человек повернул к стойке кирпично-румяное лицо. — Жак, ты меня знаешь, полиция не раз пропускала меня «через табак» подкованными каблуками, в девятьсот восьмом я первый влез на баррикаду. Так вот, я хочу сказать: после войны мы неплохо стали зарабатывать...

— Кто это мы? — закричали молодые. — Говори про себя, не про нас... Старику Шевалье, видно, ударили в голову его три тысячи франков!..

Кирпично-седой Шевалье — с добродушной улыбкой:

— У меня, деточки, в ваши годы была не менее горячая голова. Заткнитесь на минутку... Я только хочу спросить Жака — что начинать? Дело? — Тогда я готов... А выплескивать темперамент, колотя заводские стекла да улепетывать по бульвару от конных драгун, — на это вы сейчас не много найдете охотников... Франк падает, мои деточки, это значит — к нам начнут приливать доллары и фунты, и работы всем будет по горло... Поднимать заработную плату — вот за это мы должны бороться. И мы ее здорово поднимем, или я ничего не смыслю в политике... Выставляйте экономические требования, это я поддержу. А то — начинать да начинать... А что начинать? Прошло то время, когда знаменитый Боно со своими анархистами гремел по Парижу, стрелял полицейских, как кроликов, днем на Больших бульварах захватывал автомобили государственного банка... Тогда мы рукоплескали Боно, а сейчас бандиты-апаши и те бросают шалости, им выгоднее служить в больших магазинах приказчиками... Нет, деточки, буржуа в наших руках. Мелкий торговец зарабатывает меньше квалифицированного металлиста. А восстановление городов, разрушенных войной? Знаете, почему туда контрактуют чернорабочих? Начинать! Буржуа сегодня — курочка с золотым яичком, так что

же — варить из нее суп? Плохой суп вы сварите, ребята...

Пожилые и солидные закивали:

— Умно говорит Шевалье.

— Довольно выпущено крови из Франции, мы хотим капельку счастья.

— Пусть наши жены и дочери узнают вкус настоящего паштета да походят в шелковых юбках...

— Правильно, Шевалье, пожмем из буржуа золото.

— Единодушно и умно поставим наши требования. А что же лезть в ссору и драку, когда сам не знаешь, чего хочешь...

Водянистые глаза Жака яростно упирались в говорившего, торопливо перебегали на другого, под взъерошенными усами появлялась и исчезала злая усмешка. Он опять поднял руку в окровавленной марле.

— Довольно, мои барашки! — сказал он резко, и молодежь три раза стукнула по столам доньшками пивных стаканов. — Слыхали мы ваше мэ-мэ-мэ, бэ-бэ-бэ... У тебя, Шевалье, прикоплено деньжонок на лавочку, ты уж и лавочку присмотрел в Батиньеле. Нет, ты вот что нам объясни... В траншеях мы сидели локоть о локоть с буржуа, германские пули пробивали кишки и нам и им, не разбирая... По Марне наши трупы плыли кверху синими спинами во славу Франции... (Он сжал зубы, и маленькое кошачье лицо его собралось морщинами.) Мы пробовали на вкус кровь буржуа, — она ничуть не слаще нашей... Наша-то, может быть, только посолонее.

— Солоней, солоней, солоней, — стуча стаканами, повторили молодые...

— Четыре года нас гоняли с одной бойни на другую... Франция загораживалась нами, как щитом из живого мяса, куда всаживали штыки, вгоняли пули, рвали в клочья, ослепляли, душили газами, жгли фосфором, ломали танками... О Шевалье, ты в это время спокойно покуривал трубку у станка на пушечном заводе... Тебе хорошо платили... А мы не могли даже сказать: «Нам страшно», — за это в тылу отвечали пулеметами... Ты, наверное, не видал дороги из Шарлеруа, где лежали «пуалю»¹ с дощечками на груди: «Так ру-

¹ Так называли во Франции солдат.

ка отечества карает беглеца и труса»... Четыре года нас дурачили люди, которым мы не поручали вести войну и распоряжаться нашими жизнями... Нам раздавали фотографии с дерьма необыкновенной величины, найденного в немецких траншеях, чтобы мы охотнее стреляли в бошей, оставляющих такие следы. К каждому из нас прикрепили в тылу хорошенькую «мамочку», — какие письма они нам писали, раздушенные и облитые слезами: «О мой дорогой солдатик, спаси нашу дорогую Францию, не бойся умереть как герой, господь вознаградит твои страдания...» О, до чего ловкий народ буржуа! А скажи, Шевалье, если бы немцы разбили нас тогда же, в первый месяц, да заняли Париж, мы бы проиграли от этого?

— О бог мой! — Возмущенный Шевалье тяжело положил обе ладони на стол. — Проиграть войну немцам! Договорился же ты, Жак!..

И Шевалье покосился в сторону Лисовского, и многие за ним поглядели на неизвестного человека у стойки. Жак усмехнулся, переступил незашнурованными тяжелыми башмаками:

— Ни на десять су мы бы не проиграли! Только не наши, а немецкие буржуа вцепились бы нам в глотку... А тебе-то что хлопотать вокруг чужой драки!.. И полились бы к нам денежки не американские, а немецкие, и копил бы ты на лавочку не франки, а марки... И выходит, что война — чистейшее надувательство. Как там ни поверни, буржуа устроил широкий сбыт заводской продукции... Подумай-ка покрепче, не все ли равно, куда повезут продавать то, что сделано этой рукой: в немецкое или французское Конго!.. Рурский уголь — в Берлин или Париж, — ведь под землей тебе не видать... Мы только из траншей увидели, как велик свет, когда убивали три миллиона одураченных ребят... И это еще не все, Шевалье... Локоть о локоть сидели мы с буржуа в траншеях? Сидели... На язык кровь пробовали? Да... А когда вернулись домой, буржуа растопырили карманы на немецкие репарации, а мы рот разинули, — денежки мимо... Буржуа надели смокинги, а мы снова стучим ногтем в фабричную кассу: «Эй, бывшие товарищи по крови, не нужны ли вам наши мускулы?..» Так вот, Шевалье, за эти четыре года мы поняли одну про-

стую, как пустая бутылка, истину: Франция с городами, заводами, виноградниками, с землей и солнцем, с двенадцатью месяцами хорошей и дурной погоды — наша!

— Наша, наша, наша! — повторили молодые.

— Русские повернули штыки в тыл... «Наше», — сказали они и выворотили страну наизнанку вместе с рукавами... Русские смогли, а мы прозевали... Ха! Французы, не стыдно вам тащиться, как жирным скотам, позади человечества?.. (Веселыми глазами он оглянул все собрание.) Что правда, то правда — русским было легче заваривать революцию... Но мы даже и не пытались... Смерти, что ли, мы боимся на баррикадах? Детская забава... После Шампани, Ипра и Вердена — тьфу! А вот, кто там сказал про паштет и шелковые юбчонки? Вот эта дрянь завязла на наших штыках... Берегитесь! Мы знаем парижские соблазны. О, Париж, Париж!! От всего мира слетаются лакомки на этот город. Здесь продают себя на три поколения вперед за кусочек паштета... Вот — сидят трое, они были под Одессой, спроси у них о русских. Они тебе расскажут об этих варварах с горячей кровью... Русские верхом на конях бросались на наши танки, покуда мы не оставили им и танки и аэропланы; мы были удивлены, черт возьми!.. Русские сражаются на телегах, как древние франки... Они едят на завтрак, в обед и ужин хлеб цвета земли. Вместо вина пьют спирт. Многие одеты в шкуры, не покрытые материей, в ботфорты из древесной коры или валяной шерсти... Ты скажешь, Шевалье, — это просто дикари, свергнувшие тирана?.. Нет, старичок, нет... Они давно уже могли бы успокоиться, если бы их революция была за сытный кусок хлеба... Но этот сытный кусок они с бешенством отталкивают от себя, они хотят чистого хлеба, пойми, Шевалье... Эти суровые люди верят в неминуемое и близкое освобождение всех эксплуатируемых... Они не продают свою веру за вкусный паштет... Ты назовешь их безумными? Ха!.. Посмотрим, кто окажется безумным — большевики (он в первый раз произнес это слово; в кафе стало тихо, только шипел газовый рожок) или ты со своими паштетами и шелковыми юбчонками. У них больше практического смысла, чем тебе кажется, Шевалье... Теперь ты понял, наконец, что мы хотим на-

чать... (Жак облизнул губы, взял со стойки стакан вина.) Нас — ограбленных, обманутых, одураченных — много, очень много... Мы еще не организованны, ты скажешь? Нас сформируют битвы и борьба... Нам не хватает суровости, — из Парижа слишком сладко тянет? Заткните носы, ребята! Подтяните пояса! Мы начинаем игру...

Он сказал и вылил в глотку остатки вина. В кафе молчали. У молодых блестели глаза. Шевалье с усмешкой постукивал по столу толстыми пальцами.

— Поговорить всегда хорошо, в свое время и мы обсуждали за стаканом вина судьбы человечества, и не менее горячо, — сказал он. — На большой разговор всегда больше охотников, чем на малое дело... Только вот дело-то у нас пострадает, когда одни в небо тянут слишком круто...

— А ты что же хочешь, чтобы я тебе сказал день и час, да еще при этом молодчике из Сюрте?..¹

Жак стремительно повернул кошачье лицо к Лисовскому, — в широко расставленных глазах его была угроза. Володя Лисовский вскочил, и сейчас же несколько молодых поднялись и стали в дверях. Хозяин кафе, мрачный, одноглазый, весь в шрамах, волосатыми ручищами равнодушно перемывал кружки. Лисовский сразу оценил обстановку: влип! На юге России бывали, между прочим, положения и похуже. Все же побелевшие губы его застыли в перекошенной усмешечке...

— Ну, ты, мосье Вопросительный знак, — сказал Жак, — докладывай, зачем залетел на огонек? Говори правду, как перед смертной казнью... Отсюда, видишь ли, можно уйти, но можно и не уйти совсем...

— Я русский журналист, — сказал Лисовский, засовывая дрожащие руки в карманы, — в Париже я затем, чтобы именно слушать то, что сегодня слышал, и сообщать моим читателям в Россию... Большого я вам не могу сказать по весьма понятным причинам...

— А мы сейчас проверим. — Жак кивнул в глубину кафе: — Мишель!

Оттуда подошел красивый, болезненно-бледный малый в синей прозодежде, деревянных башмаках и соло-

¹ С ю р т е — охранка.

менной шляпенке. Став перед Лисовским, он оглядел его глазом знатока. Обернулся к товарищам:

— Поляк, турок или русский? — Затем всей щекой подмигнул Лисовскому: — Одесса, рюсски? Делал революсион... Карашо... Солдатский совет... Ошень карашо... Слюшал Ленин... Стал большевик... Пиф-паф Деникин... Э?..

Лисовский нагнулся к его уху:

— Я русский, из Москвы... Только — молчи, в Париже конспиративно. Понял?

— Будь покоен, старина! — Мишель здорово хлопнул его по плечу: — Свой... Карашо...

20

Лисовского поразила доверчивость этих ребят. Его похлопывали, с ним чокались, каждый, звякнув медяками по стойке, спрашивал для себя и русского стаканчик. Спрашивали, много ли раз он видел Ленина и что Ленин говорил. Спрашивали, много ли русских рабочих ушло на гражданскую войну. Сдвигая брови, раздувая ноздри, слушали рассказы о героизме красных армий и сокрушались о бедствиях при наступлении Деникина и Колчака. Лисовский рассказывал то именно, что от него хотели слышать.

Хлопая его по спине, по плечам, французы говорили:

— Передай своим, пусть они не боятся Колчака и Деникина: эти генералы выдуманы в Париже Клемансо. И бить их нужно в Париже, об этом мы позаботимся, так и передай...

Лисовский чувствовал богатейший материал, даже стало жалко, что достается Бурцеву: «Старикашка не поймет, еще и не пропустит...» И тут же мелькнуло: «Написать книгу с большевистским душком — скандал и успех...» В конце концов ему было наплевать на белых и на красных, на политику, журналистику, на Россию и всю Европу. Все это он равнодушно презирал как обнищавшие задворки единственного хозяина мира — Америки, куда ушло все золото, все счастье.

Ему ничего не стоило сейчас прикидываться большевиком, — пожалуйста! Даже осторожный Жак, ко-

гда посетители кафе стали разбирать шапки, дружески кивнул Лисовскому и пошел проводить его до подземной дороги. С Жаком нужно было держать ухо востро. Лисовский, выйдя на пустынную площадь, где под фонарем все так же неподвижно стояли двое полицейских, сказал вполголоса:

— Не хочу вас обманывать, я по убеждениям — анархист. (Жак усмехнулся, кивнул.) Короткое время был в партии большевиков, но меня душит дисциплина... В Париже мои задания скорее литературные, чем партийные... Здесь приходится выдавать себя за белогвардейца и работать в «Общем деле»... Противно, но иначе не проникнешь в политические круги. В московских «Известиях» печатаюсь под псевдонимом. Вот вы уверены, что я просто авантюрист... Пожалуй, вы и правы. Но без нас в революции было бы мало перцу... И все же я — ваш со всеми потрохами...

Жак, подумав, ответил:

— Я предполагал, что вы так именно про себя и скажете, хотя вначале принял вас за агента... И половина того, что я говорил, предназначалась именно для вас.

— Понимаю, вы бросали вызов.

— Э, нет: Клемансо и Пуанкаре должны знать, что думают и говорят в предместьях... Пусть они не преуменьшают ни нашей ненависти, ни нашей силы... («Эге, — подумал Лисовский, — малый хитер, как черт».) Скажите, в Советской России знают, что Франция в восемнадцатом году была на волосок от революции? И эта опасность далеко не миновала...

Они перешли темную площадь и подходили к узкой улочке, откуда давеча Лисовский видел огни Парижа.

— Клемансо смелый человек, — сказал Жак. — Настолько смелый, что его доверители, думать надо, скоро уберут старика...

— Вы говорите, что — в восемнадцатом?..

— Да... Помешали кое-какие внешние причины, например: присутствие в Булони американской армии в миллион штыков... Но главное — это желтая сволочь... Желтая сволочь!..

Жак потянул носом сырой воздух:

— У вас, у русских, правильный прицел... Между нами и капиталистами должно быть поле смерти... Ни-

каких перебегающих фигурок... На мушку желтую сволочь!..

Он некоторое время шагал молча, затем рассмеялся:

— А вы знаете, что такое маленький французский буржуа? Отца и мать и царствие небесное отдаст за теплый набрюшник... В него и не выстрелишь, — он сейчас же поднимет руки и закричит: «Да здравствуют Советы!» Сейчас он окрылен. На Францию валятся миллиарды немецких репараций... Но тут-то ему такая катастрофа, о какой ни в каких книгах не написано... Мы ждем грандиозного подъема промышленности. Будет перестройка в иных масштабах. — все мелкое, копеечное на слом... Маленькому буржуа придется надеть вельветовые штаны и подтянуть брюхо пролетарским кушачком... Ну, что же, — приветствуем железную волну, девятый вал капитализма... Наши силы удесятятся... (Кивком головы Жак указал в пролет узкой улицы на черную яму Парижа, куда будто упали все звезды из черно-лиловой ночи.) Мы окружаем его, мы — на высотах, мы спустимся вниз за наследством.

У двух столбиков метро, освещенных двумя фонарями в виде красноватых факелов, перед лестницей в глубокое подземелье Жак пожал руку Лисовскому:

— Если вам нужен материал для статей, приходите завтра в Мон-Руж, на бульвар, наберетесь кое-каких впечатлений...

Он пристально взглянул на Лисовского.

Из-под земли слышался гул двигающихся стальных лестниц, несло теплым, пыльным сквозняком. Увлекаемый вниз на лестничной ступени эскалатора, Лисовский увидел, как из серого тоннеля, описывая полукруг, вылетел, светясь хрустальными окнами, белый поезд Норд-Зюйд. Шипя тормозами, остановился под изразцовым сводом.

И сейчас же почему-то у него сжалось сердце тоской и жутью. Глядя на поезд, он почувствовал, что отняли от него стержневую надежду, и в будущих днях он уже не ощущает себя беспечным и шикарным, с пачками долларов по карманам... Чувство — неожиданное и неясное... Он даже остановился на площадке, где кончалась бегущая лестница. Кондуктор поезда крикнул:

«Торопитесь, мосье, последний!» Усевшись в почти пустом вагоне на сафьяновой скамейке, Лисовский закурил.

«Иначе и не может быть, это должно случиться, они спустятся вниз. Социализм! Ой, не хочу, не хочу!..»

Он прижался носом к стеклу, — мимо неслись серые стены, электрические провода, надписи... Поезд мчался к центру города, в низину. Лисовскому чудилось: на возвышенности, вокруг города, под беспросветным небом — толпы, толпы людей, глядящих вниз, на огни. Внизу — беспечность, легкомыслие, изящество, веселье (ох, хочу, хочу этого!), наверху — пристальные, беспощадные, широко расставленные глаза Жака... Мириады этих глаз светятся в темноте неумолимым превосходством, ненавистью... Ждут знака, ждут срока... (Ох, не хочу, не хочу!)

Нужно было стряхнуть наваждение. «Какого черта! Ничего еще плохого не случилось, — мир стоит, как и стоял...» Лисовский с отвращением подумал о своей постели. Пересчитал деньги, перелез с Норд-Зюйда на метрополитен и через десять минут вылез на площади Оперы.

На Больших бульварах было уже пустынно, театры окончились, гарсоны в кафе ставили столики на столики, гасили огни. Огромные серые дома с темными стеклами витрин казались вымершими. Лисовский стоял на перекрестке. По маслянистым торцам проносился иногда длинный лимузин или такси.

Автомобили направлялись наверх, по старым улочкам, в места ночных увеселений. Там можно было завить тоску веревочкой, шатаясь по ярко освещенным тротуарам, пахнущим пудрой, потом и духами, — от кафе к кафе, толкаясь между девчонками, пьяными иностранцами, сутенерами. Не пойти ли? Но с двадцатью франками — о сволочь, беженское существование! — благоразумнее не раздражать и без того болезненно возбужденные нервы.

Он стоял, опираясь задом на трость, курил и оглядывался. Подошел длинный человек в черном широком пальто почти до пят, в белом кашне, какое надевают при фраке, в шелковом цилиндре. Топнув со всей силой лакированной туфлей (чтобы проклятый тротуар не шатался), он стал около Лисовского. Закурил медленно,

твердо, но спичку держал мимо папиросы, покуда не обжег пальцы.

— Прошу прощения,— сказал он с сильным английским акцентом,— какая это улица?

— Бульвар Пуассоньер.

— Благодарю вас.. Прошу прощения, а какой это, собственно, город?

— Париж.

— Благодарю, вы очень любезны... Странно... Очень странно...

Так же, как и Лисовский, он оперся задом на трость и глядел остекленевшими глазами вдоль бульвара. Появились сутулый мужчина и полная женщина,— они шли под руку, медленно, и говорили по-русски:

— Не понимаю, Сонюрка, откуда у тебя такая кровожадность...

— Оставь меня в покое...

— Согласен,— в самый момент подавления большевиков, конечно, будут эксцессы, но настанет же день всепрощения...

— Всепрощения!.. Противно тебя и слушать...

— Сонюрка, смотри, какая тихая ночь... Как эти громады черных домов заслоняют небо... Тишина великого города!.. Гляди же, дыши,— а тебе все мерещатся веревки да ножи...

Они прошли. Неожиданно человек в цилиндре вздрогнул, будто просыпаясь, вдруг тяжело повалился на спину. Не поднимаясь, он как-то странно побежал ногами... Лисовский осторожно выпростал из-под себя трость, перешел на другую сторону улицы. Оглянулся, тот лежал и дергался... «Эге, аорта не выдержала...» К лежащему приближались двое каких-то низкорослых...

«Ох, тоска! — Лисовский побрел дальше... Неостывшие каменные стены, высокие фонари, тени от деревьев на асфальте.— И значишь ты здесь столько же, друг Володя, сколько эти тени... Можешь идти по бульвару, а могло бы тебя совсем здесь не быть,— тень, голубчик, тень человека... Тьфу!.. (Он выплюнул окурок и посмотрел на свое мертвенное отражение в темной зеркальной витрине.) А все-таки ничего у них не выйдет.

Черт, Жак хвастун, враль!.. А вот книгу я напишу, что верно, то верно... Циничную, гнусную, невообразимую, — выворочу наизнанку всю человеческую мерзость. Чтоб каждая строчка налилась мозговым сифилисом... Это будет — успех!.. Исповедь современного человека, дневник растленной души, настольная книга для вас, мосье, дам...»

Навстречу шла девушка, руки ее, точно от холода, были засунуты в карманы полумужского пиджачка. Поравнялась, кивнула вбок головой и глазами, — невинное лицо подростка, вздернутый носик, пухлые губы. Лисовский сказал:

— Пойдем, моя курочка, но заплачу, предупреждаю, только любовью.

Она даже отступила, хорошенькое личико ее сморщилось отвращением.

— Кот, — сказала хриповато, — дрянь, дерьмо!..

Подняла полудетские плечики, и — топ-топ-топ — высокими тоненькими каблучками между теней на асфальте ушла разгневанная любовь.

Завтрак с Чермоевым и Манташевым состоялся в Кафе де Пари. Болтали о том и о сем. Манташев был мрачен, Чермоев — спокоен и, как всегда, насторожен. После третьей бутылки шампанского Левант безо всякого предварительного перехода заговорил об английской политике:

— Я только что из Лондона, где имел удовольствие видеться с кругами, близкими к Черчиллю... Они непримиримы к России. Если бы это зависело от них одних, английские танки уже давно бы стояли в Кремле. Я виделся с кругами либералов и пять минут беседовал с Ллойд-Джорджем... (Левант покосился на Налымова, но тот, подняв белесые брови, глядел словянными глазами на пузырьки в бокале шампанского.) У либералов — все та же нерешительность, их девиз: «Время играет за нас...» Господа, мое впечатление ст Лондона таково: война с большевиками — еще на долгие годы...

Чермоев тяжело вздохнул, Манташев, откинувшись на стуле, укусив зубочистку, подозрительно оглядывал Леванта. Тот изобразил лукавую улыбку, свернул по-собачьи нос.

— Но есть люди, думающие иначе... Правы они или нет — бог им судья... К таким принадлежит Детердинг... Завтра мы с Василием Алексеевичем выезжаем в Лондон, чтобы с ним видеться... Сегодня хотелось бы прийти к кое-каким предварительным решениям...

— Что же предлагает Детердинг? — сквозь зубы спросил Манташев. — Купить за грош пятак?

— Господа, Детердинг ничего не предлагает. Детердинг начинает мировую борьбу за нефть. В этой борьбе не только он — судьба Англии поставлена на карту. На сегодняшний день нефть — это знамя. Транспорт — это нефть. Химическая индустрия — нефть... Военное и морское могущество — нефть... Нефть — кровь цивилизации.

Чермоев пощелкал языком. Манташев, отодвинув стул, задрал ногу на колено, схватился за щиколотку.

— Борются нефтяные силы Америки и Англии... Но есть третья сторона: Россия, где находится третья часть всех мировых запасов нефти. Россия — не в игре... Но она войдет в игру, и та сторона, которая овладеет русскими запасами нефти, победит... Вы представляете — какими миллионами пахнет вокруг этой игры?

Он опять покосился на Василия Алексеевича, — тот продолжал глядеть на пузырьки. Левант перешел ближе к делу:

— Ллойд-Джордж и либералы не учитывают всей величины русского вопроса. Они идут на компромисс. Господа, это факт: мирная конференция на Принцевых островах решена, и большевики на нее идут...

Чермоев и Манташев настороженно перевели глаза на Леванта.

— Ллойд-Джордж будет мирить белых с большевиками. Я сам, этими глазами, видел в кабинете Ллойд-Джорджа карту раздела России. Ленину оставлено московское государство. Предполагается, что там без угля, нефти и железа большевики умрут естественной смертью... Теперь, господа, спрошу вас, можете ли вы

быть спокойны за свои нефтяные земли, покуда в центре России, милостью английских либералов, сидит Ленин?

— Сумасшествие! — прошептал Чермоев.

— Ничего не понимаю! — сказал Манташев, сбрасывая ногу на ковер. — Господа, я давно это говорю: я напишу королю...

— Детердинг смотрит на дело так же, как и вы, господа... Гражданская война в России кончается. Европа успокаивается. Помощи белым ждать неоткуда. Не пройдет и года, большевики ворвутся в Баку и Грозный... («Да уж будьте уверены», — трезвым голосом неожиданно сказал Налымов.) Исходя из этого, Детердинг желает сосредоточить в одних руках, — иными словами — в своих руках все права на русские нефтяные земли, чтобы более решительно воздействовать на русскую политику Англии. Вот что я имею вам сообщить, господа... Я ни на чем не настаиваю... Бескорыстность моих намерений может подтвердить Василий Алексеевич. Обдумайте. Дело серьезное, но предупреждаю: спешное... В Лондоне я видел Нобеля, он, кажется, уже договорился с Детердингом...

Это последнее — про Нобеля (крупнейшего шведско-русского нефтяника) — он ввернул ловко, без нажима. Впечатление было, как от выстрела над ухом. Манташев вскочил и, поддергивая клетчатые брюки, забегал по кабинету. Чермоев гнул и ломал кофейную ложечку.

В расчеты Леванта не входило выпускать из сферы влияния обоих нефтяников до их окончательного решения. Он предложил автомобильную прогулку за город. У ресторана уже стояла новенькая машина. Садясь на переднюю скамейку, Левант поморщился:

— Машинка — хлам... Хочу сделать глупость — разориться на рольс-ройс.

По пути заехали за шампанским. Когда Левант вскочил у магазина, Чермоев сказал Налымову:

— Тебе верю, как брату, но этот твой — жулик?

— А, черт, не с ним же будем иметь дело, — с досадой сказал Манташев, — пускай хлопочет... А вы как на него смотрите, Налымов?..

— Что ж... Конечно, жулик, — спокойно ответил Налымов. — С открытыми жуликами легче, по-моему...

Манташев с воодушевлением стукнул тростью:

— Я всегда говорил... Разные там идеи, принципы — первейшее жульничество. Современный человек — открытый человек... Деньги на стол — и точка... А сглупил — твоя вина. Так же и с женщинами, господа, так же и с женщинами... Вообще все пора пересмотреть...

Левант, улыбающийся, с сигарой в зубах, снова повалился на переднее сиденье и — вполоборота к гостям:

— У меня маленькое предложение. Дела — делами, а мы все, как я вижу, не прочь пошалить. Шофер, в Севр...

22

По дороге Левант рассказывал о приключениях с девочками во всех европейских столицах. На круглом щербатом лице Чермоева была спокойная скука, Манташев позевывал, поднося к губам серебряный набалдашник трости.

Желтое солнце низко светило над лесом, когда подъехали к воротам дачи. Здесь стоял наемный автомобиль. Левант необычно оживился.

— Вот это — кстати, это — радость... Господа, вы не пожалеете, что приехали...

Гости лениво вылезли из машины. Левант, распахнув калитку, кланялся, приглашал. Сад был прибран. Дам — не видно. По дорожке одиноко прохаживался плотный низенький человек в белой черкеске с серебряными галунами. Левант поспешил к нему. Оба протянули руки, обнялись. И Левант растроганно обратился к гостям:

— Позвольте познакомить — мой ближайший, чудный друг... Поэт, известный писатель, политический деятель, полковник французской службы, кажется бывший турецкий паша, но с головы до пят — русский патриот. А по-нашему, восточному, — благороднейший и умнейший человек, душа общества, Хаджет Лаше...

— Ну, ты все же умерь пыл, — добродушно, с достоинством, с легким восточным произношением ответил Хаджет Лаше. — Ишь сколько надавал мне чинов.

Крепким рукопожатием он поздоровался с гостями.

Налымов поклонился ему издали.

— Ты откуда свалился, Хаджет?

— Прямо из Ревеля, на день задержался в Стокгольме. И завтра же — назад...

— Небось приехал пошептаться с Клемансо? Знаем мы вас, политиков... (Левант подмигнул, своротил нос.) Молчу, молчу, молчу... (Приложил палец к губам, даже пошел на цыпочках.) Простите, хочу узнать, как у нас с обедом...

Он убежал на кухню, крича: «Барбош, Барбош!» (Хаджет Лаше со снисходительной улыбкой вслед: «Весельчак, добрый парень».) Гости сели в парусиновые кресла. Нинет Барбош принесла поднос с горькими настойками, вермутом и портвейном. Налымов незаметно скрылся.

Как он и думал, Вера Юрьевна ждала его в маленьком салоне, где были закрыты жалюзи. Она изо всей силы схватила его за руки, почти прижалась лицом к лицу и — прерывающимся шепотом:

— Это — он, он... Боже мой, как это страшно!..

— Кто он, Вера? Что с вами?

— Хаджет Лаше... (Захрипела.) Это — он, он...

— Ну, хорошо, хорошо... Успокойтесь...

— Не могу... Принеси вина...

Он принес вина. У нее зубы застучали о стакан. Василий Алексеевич угрюмо заходил по маленькой комнате. Она со стоном выдохнула воздух:

— Ты его видел?

Он неопределенно пожал плечами. До чего же человек оберегал свое червячковое благополучие! Ему бы в ореховую скорлупу, в середину ореха забиться от всех кошмаров. Глаза Веры Юрьевны понемногу отошли, суженные ужасом зрачки расширились и даже с юмором следили за шагающим, опустив голову, Налымовым.

— Бабы — сволочи, правда? — сказала она. — То ли дело — без баб... Ты прав — все вздор... Переживем и этот случай...

— В чем дело, Вера? Что у тебя было с этим человеком?

— Не скажу.

— Как хочешь.

Тогда она обхватила колено и засмеялась тихо:

— Знаешь, Вася, в сутенеры ты совсем не годишься. Скажи, почему ты все-таки так цепляешься за жизнь?

— Не знаю, не думал.

— Врешь... Вот когда ты меня потеряешь,— а я долго такого не пролюблю,— тогда тебе будет плохо... Потому что я — последний человек на твоём пути... (Тихо, мечтательно.) И ты — умрешь...

Василий Алексеевич споткнулся, остановился:

— Чего ты добиваешься от меня, Вера? Чтобы я ожил, как весенняя муха между рамами? Но ведь оживать нужно для какого-то продолжения... А у меня его нет. Еще недавно я с величайшим облегчением думал о конце: разумеется, с минимумом болезненных ощущений — это самое желательное. Колесо автобуса или удар ножа в пьяной драке...

— Еще недавно? — тихо переспросила Вера Юрьевна.

— Подожди! У меня был круг каких-то моральных понятий и какие-то устремления... То есть человеческое лицо... Я принадлежал к обществу, которое называло себя высшим... Вместе с этим обществом меня вышвырнули из России... Но этого мало: моральные понятия и устремления и мои и всего этого общества оказались чистойшей условностью... вздором... грязным тряпьем... И целей — никаких. У других — кровожадные планы и надежды вернуть все обратно. Но я устал от крови и ненависти и, главное, ни в какие возвраты не верю... Ты понимаешь меня? Неожиданно появляешься ты... Я сопротивляюсь этому... Я сопротивляюсь больше, чем собственному уничтожению...

Прижав подбородок к поднятому колену, Вера Юрьевна прошептала:

— Люблю, люблю...

— Вот это и ужасно.— Он закашлялся и рассмеялся дребезжащим смешком.— Значит, предстоит еще коротенькая дорожка. Весьма извилистая и темная... Ну что ж, любовь моя,— станем жуликами, бандитами или еще похуже.

Вера Юрьевна вскочила, обхватила его голову холодными пальцами,

— Ты — мой, мой, мой... — повторяла, прижимая его лицо к груди. — Кот мой, гаденький мой, страшенький мой... Все теперь вместе, все — вместе... (Она неловко царапала его кожу длинными ногтями, целовала в волосы, в висок.) Устрой, устрой только одно... Хаджет Лаше везет нас в Стокгольм... Устрой так, чтобы быть нам вместе.

Василий Алексеевич освободился от ее рук, медленно пригладил волосы.

— Для чего — в Стокгольм?

Вера Юрьевна не ответила. Он взглянул на нее и сейчас же отвел глаза. Послышалось хлопанье в ладоши и голос Леванта, зовущего гостей ужинать...

23

— ...Столько привелось видеть... Жалко, не обладаю талантом Льва Толстого... Бодливой корове бог рог не дает... Да теперь и времени не хватает — заниматься литературой... Все душевные силы уходят в борьбу...

Жирноватое лицо Хаджет Лаше с твердой нижней челюстью, с мясистым носом, ноздреватой, трудно пробриваемой кожей было чрезмерно красное. Короткие жесткие волосы — с бобровой сединой. Прямой рот — без улыбки, с жесткими морщинками. Глаза он добродушно жмурил. Лицо незаметное, но приглядеться — чем-то притягивало. К тому же он оказался занимательным собеседником и компанейским парнем.

Он сидел под темной листвой липы, расстегнув шелковую сорочку на волосатой груди. Свечи, обсыпанные мошкаррой, догорали. Край неба зеленел на востоке. По всему саду валялись бутылки, ковры, подушечки, опрокинутые стулья — следы развлечений. Дамы были пьяны. Вера и Мари ушли в дом. Лили спала на траве, прикрытая скатертью. Левант (плясавший с кухонным ножом лезгинку) дремал в парусиновом кресле, как режиссер, окончивший спектакль. Необходимое согласие вести переговоры с Лондоном было дано Манташевым и Чермоевым.

Они сидели под липами и слушали Хаджет Лаше. Приятно тянуло предутренней прохладой. Он рассказывал:

— Я русский патриот, господа, и мне тяжело видеть, как святое белое дело тормозится безумной политикой англичан.. Они до какой-то черты поддерживают нас, даже толкают на борьбу... Чего дальше, полковник Бермонт-Авалов формирует в Германии эшелоны из русских добровольцев, и английская миссия устраивает на берлинском вокзале торжественные проводы — раздают продовольственные посылки, деньги, погоны. Оркестр играет «Боже, царя храни»... Но как только мы начинаем одерживать решительные успехи, англичане начинают тормозить, устраивают иной раз прямое предательство... Создается ужасное впечатление, как будто им нужен только самый факт гражданской войны, и чем она будет дольше и разрушительнее, тем лучше для англичан. Возьмите наш участок, Северо-Западный фронт... Поначалу все шло гладко: немцы взялись формировать армию: генерал фон-дер-Гольц сколотил серьезный кулак в сорок тысяч штыков, Бермонт-Авалов — корпус в Митаве, Булак-Балахович — псковскую группу. Ригу, всю Латвию очищаем от большевиков. Эстония выметена, как метлой. Жалованье войскам с немецкой аккуратностью выплачивается из Берлина: Шейдеман и Носке всей душой за белый поход на Петроград... Ждем только весеннего пути.. Так — нет!.. Вмешиваются англичане: им нужно Балтийское море, им нужны острова Эзель и Даго, этого они не хотят отдавать. Английская эскадра адмирала Коуэна начинает усиленно крейсировать в районе Биорке, и — бац! — ультиматум: расформировать армию фон-дер-Гольца, лишить Бермонта материальной поддержки... В Ревеле высаживаются английские генералы Гоф и Марш, заявляют, что берут в свои руки очищение Севера и Петрограда от красных... Пожалуйста, сделайте милость... Даже есть некоторый плюс: умерить эстонские аппетиты, — чухонцы в Ревеле спят и видят захватить Балтийский флот в Кронштадте. Словом — перспективы веселенькие. Хорошо. С чего же начинают англичане? Предлагают на пост главнокомандующего северо-западной армией генерала Юденича... Да, господа, генерала Юденича!.. Вам, Леон, это имя особенно должно говорить... Юденича, известного резней аджарцев под Батумом в шестнадцатом году, когда в несколько дней были вырезаны сотни аулов... Земли

под Батумом и на Чорохе он распродал под дачные места. Известного резней армян... Расстрелом трехсот семидесяти офицеров и солдат Эриванского полка. Тупой, упрямый, свирепый человек и кабинетный генерал... Англичане выбирают именно его. Почему? Да потому — если он и возьмет Петроград, то зальет его кровью, и неминуемо вспыхнет новая революция, и — опять начинать сначала, — что и требовалось доказать... Ллойд-Джордж послал Колчаку предложение утвердить Юденича, и Колчак утвердил и авансировал из золотого запаса... А как они снабжают армию? В Ревель прибыло два парохода — табак, бритвенные приборы, варенье, футбольные мячи, пипифакс, ну, там, френчик, башмаки... А у пулеметов нет запасных частей, у пушек нет замков... Оказывается, пароходы направлялись в Архангельск для английского десанта, но Ллойд-Джордж побожился в палате, что интервенции нет и не будет, и пароходы направил в Ревель, где они сейчас грузятся льном из Пскова и Гдова... Эстонцы всю зиму скупали лен у русских мужиков... А замки от орудий и запасные части сняты, чтобы хорошее оружие нам не попало... Прислали десять тысяч винтовок времен франко-прусской войны, ни один патрон не подходит... На прошлой неделе я говорил с Лианозовым... Тот самый нефтяной магнат, да, да... Он — министр финансов в правительстве Юденича, в так называемом «Политическом совещании».

Хаджет Лаше, смеясь одними глазами, — рот оставался жестким, жестоким, — потащил из заднего кармана штанов бумажник, отыскал газетную вырезку.

— Показал мне вот этот образец... (Качая головой, пододвинул подсвечник, надел роговое пенсне.) Образец — как мы боремся с большевистской пропагандой... Воззвание.

«Ленины, Апфельбаумы и прочие ненадолго сумели заглушить голос совести и разума русского народа.

Легендарный Народный Витязь, освободитель Северо-Западной России, генерал Юденич поднял и лично ведет рати народные на освобождение Белокаменной.

Уже раскрывается чуткая душа народа навстречу близкой великой радости.

Солнце свободы и обновления всходит над многострадальной Землею Русской.

Так хочет бог.

Так повелевает народ.

Так приказывает излюбленный Вождь Народный.

Пойдем за ним!..»

— Недурно? (Смеясь, снял пенсне, спрятал вырезку.) Лианозов сказал мне буквально (мы с ним друзья еще со школьной скамьи): «Не верю в наши силы, не верю людям, начинаю не верить самому себе... И больше всего не верю англичанам... Генерал Марш в восторге от этого воззвания, он в восторге от Юденича... Мы погибли, если англичане будут продолжать вести двойную игру. Пусть Россия — колония. Пусть — вторая Индия. Имей мужество открыто заявить об этом. Но не разорение...» Вот что мне сказал Лианозов, а он не глупый человек... Особенно тогда меня поразило, даже испугало: он, всегда такой выдержанный, с чрезвычайной нервностью ведет сейчас переговоры, — уж не знаю с кем в Лондоне, — о продаже всех нефтяных земель в Баку. Очень характерно, очень характерно...

Манташев взглянул на Чермоева, у того открылся изъян между передними зубами. Помолчали. Огонек свечи, лизнув розетку, затрещал, погас. И тогда стало заметно, что уже светает. Гости поднялись, потягиваясь.

Нинет Барбош принесла крепкого кофе в неубранную столовую со следами ночного безобразия, открыла жалюзи. Утро было сырое. Под горой, за деревьями, поднимались ленивые дымки Севра. Неохотно чирикали воробьи. Густая роса лежала на измятой траве, с липовых листьев падали тяжелые капли...

Хаджет Лаше, в кавалерийских штанах и в туфлях, стоял у окна. За ночь у него отросла сизая щетина, лицо было помято, но усталости он, казалось не чув-

ствовал, — раздутые ноздри его с наслаждением втягивали запахи серенького утра, глаза блестели настороженно.

Когда Александр Левант, в пижаме и в туфлях, принес сверху портфель и присел у стола, сжав виски («Фу, черт, как трещит голова!»), Хаджет Лаше сказал с оттенком изысканной меланхолии:

— Только во Франции может так восхитительно пахнуть утро. Всюду человек приносит вместе с собой отвратительные запахи. но здесь даже дым из каминов пахнет восхитительно...

— Зависит от пищи, ничего особенного, — с неохотой ответил Левант.

— Мне сорок семь лет, как жалко, как жалко. — Хаджет задвигал бровями, сморщил лоб, и казалось, его лицо с мясистым носом и жирными скулами — маска, и вот-вот он сдерет ее. — Все чаще думаю — а не надо ли было всем пренебречь, все страсти принести на алтарь... Ах! Как ничтожны, мелки, банальны все эти писателишки с мировыми именами... Хотя бы один из них дал мне ощущение вот такого утра... Женщины открывают ставни, метут пороги жилищ... Какой древний запах очага! А чирикание нахохлившихся пичужек?.. А шорох капель?.. Ведь это божественный оркестр!..

Левант взглянул на его несоразмерно плотный широкий загривок, хотел было сказать, что «будет уж ломаться, не перед кем», но промолчал.

— Бывают минуты, Александр, когда я чувствую, что мог бы... мог бы... Жаль и больно такой аппарат (коснулся лба) отдавать грязной работе... (Левант опять изумленно взглянул на его двигающуюся маску.) Искусство! Обдуманная и осторожная игра на тончайших воспоминаниях. Ты меня понял? Есть воспоминания, ставшие физическими точками в мозгу... Может быть, я их получил от матери, от прадеда, от предков... Когда ты их затронешь, сыграешь симфонию на этих таинственных точках, — рождается чудо искусства... Я ношу в себе силы для такого искусства, Александр... Сорок семь лет! Право, брошу-ка все наши авантюры, поселюсь в Париже, в уединении, в мансарде, под небом, возьмусь за перо.

— Ты что это, серьезно? — с тревогой спросил Левант.

— А хотя бы и серьезно.

— То-то, а то я уж...

Левант, усмехнувшись, налил себе коньяку. Каждый раз этот человек-дьявол дурачил его, как маленького... Интересно, какой ход он делает сейчас этим разговором. Левант не верил, разумеется, ни одному его слову, но замыслов его до конца понять никогда не мог. Одно можно было предположить, что он боится, как бы Левант не почувствовал в чем-то над ним превосходство. «Эге,— подумал Левант,— да не плохи ли его дела в Стокгольме? То-то он так быстро прикатил по телеграфному вызову».

— Ну что ж,— сказал Левант,— сорвем куртаж с Манташева и Чермоева, две-три сотняшки тысяч нам перепадет, марай себе на здоровье бумагу, мансарду тебе подыщу. Мне тоже надоели наши авантюры,— тревог много, ночи не спишь, а где они, эти миллионы? Я тоже, пожалуй, от дел отойду, право, ей-богу, отойду.

Хаджет Лаше рассмеялся, подошел к столу и похлопал Леванта ладонью по шее так, что у того отдалось в ушах.

— Не старайся, Александр, меня не перехитришь. Мои дела далеко не плохи, далеко не так плохи. Видишь ли, в жизни нужно делать время от времени крутые повороты,— руль направо, руль налево, но всегда вперед... А кроме того, только то делать, к чему влечет страсть...

Он отомкнул ключиком замок портфеля и осторожно вынул пачку писем и фотографии. Освободил от грязной посуды место на столе.

— Теперь слушай внимательно... Завтра ты выедешь в Лондон с Налымовым. Я с вами не поеду,— на это есть причины. Я навел о нем справки в военном министерстве и в Интеллиженс Сервис, сведения благоприятны. Сегодня же закажешь ему приличные визитные карточки. Он одет? Нужны визитки и фрак.

— Достанем...

— Будет лучше, если вы встретитесь с самим Детердингом, но можно взять в оборот и секретаря. Раз-

говаривать, конечно, должен Налымов. Пусть начнет с борьбы за Петроград,— это ключ ко всей России. Колчак и Деникин отрезают большевиков от угля, хлеба, нефти, моря и так далее, но смертельный удар им наносит генерал Юденич. Понятно? Затем вы начнете козырять мной... Я ближайший друг, советник и помощник генерала Юденича. А Юденич — это герой и военный гений... (Левант изумленно заморгал.) Я организовал в Стокгольме политический центр из европейских дипломатов и журналистов для моральной поддержки северо-западной армии. Наш центр связан с Парижем... Налымов может показать невзначай вот эти фотографии.

Надев роговое пенсне, Хаджет Лаше отобрал из пачки два снимка. На одном были сняты — спускающиеся с какой-то лестницы Хаджет Лаше, в черкеске, при кинжале, и на шаг позади низенький, плотный, с висячими усами, хмуро скосившийся из-под огромного козырька фуражки генерал Юденич. На другой фотографии — Хаджет Лаше (широко улыбающийся) у подъезда гостиницы среди каких-то разноплеменных молодых людей в мягких шляпах и дорогих пальто, все они также смеялись чему-то перед объективом.

— Достоверные фотографии? — спросил Левант.

— Идиот, они же были напечатаны в журнале. Затем — четыре письма генерала Юденича ко мне. Это, как ты и сам понимаешь, липа, но первоклассная, работа моего нового помощника, Эттингера — концертмейстера Мариинского театра. Я подобрал его в Гельсингфорсе, — он ходил по кафе и показывал фокусы: разувался, ногой брал карандаш и писал справа налево любой автограф. Клад, а не человек.

— У тебя широкие планы?

— Как всегда... Если бы мне на этот раз по-настоящему повезло... Ого! с моими планами... Я пасынок счастья, Александр. Какому-нибудь ишаку Манташеву везет, — принц... Мы же вот ломаем голову, как его обогатить. Да, друг мой, от рождения нужно быть вымазанным медом, чтобы к тебе липли деньги... А впрочем, я слишком артист, меня больше увлекает сама игра, чем деньги... С Манташевым я бы не поменялся.

— Ну, заливай кому-нибудь другому.

— Друг мой,— со спокойной ясностью сказал Хаджет Лаше,— ты настолько сложившийся тип бандита, притом мелкого и унылого, что тебе непонятны взрывы фантазии. Ладно, теперь вот еще что: Детердинг после ваших объяснений несомненно примет вас за дешевых авантюристов. Налымов должен блестяще опровергнуть такое подозрение. (Он вынул из портфеля еще два письма и пачку газет — стокгольмское «Эхо России».) Вот письмо в редакцию,— полномочия для сбора денег на издание антибольшевистского «Эха России», здесь подписи двух великих князей, кроме того — сенаторов, графов, баронов, фрейлин и прочие. Тоже работа Эттингера. Убедительно, как выстрел в лоб, и безопасно: здесь одни покойники... Детердинг должен понять, почему вы, не имея никакого касательства к нефти, хлопочете о продаже нефтяных земель: вы договорились с Манташевым и Чермоевым о крупном взносе в пользу «Эха России».

Левант внимательно прочел письма, сделал пометки в записной книжке.

— Теперь — какие твои распоряжения насчет дачи?

— Ликвидировать. Через неделю девки должны выехать в Стокгольм.

— Хотя бы приблизительно можешь ты посвятить меня в стокгольмские планы, Хаджет?

— Видишь ли, мой друг, это уже высокая политика, тут начинаются вещи особо секретные.

— Ах, вот как... Значит, я остаюсь в Париже?

— В Стокгольме мне нужны люди только со звонкими фамилиями. Жулья и бандитов и там достаточно.

— Ну, ладно.. Я когда-нибудь все-таки обижусь, Хаджет... Теперь объясни — почему ты так мало придаешь значения нефтяным делам?

— Двух таких дураков, как Чермоев и Манташев, тебе вряд ли еще придется подколоть. Афера случайная. Нефтяники сами скоро узнают дорогу к Детердингу.

— Да, ты прав, конечно... Что ж... идем, заснем на часок.

Наверху, у запертой двери в комнату Веры Юрьевны, Хаджет остановился, подманил пальцем Леванта,

и вся ухмыляющаяся, зубастая маска его заходила ходуном.

— Эта длинная красивая женщина, как ее... Вера...

— Ну да, Хаджет, эта та самая, константинопольская.

— Вот память, подумай. Ну, конечно. Очень хорошо, очень кстати.

25

Однопалубный широкий пароход покачивало подводной зыбью. Утонули зеленые французские берега, и в беловатом полутумане-полумгле висело большое солнце над Ламаншем.

Левант и Налымов, разговаривая вполголоса, лежали в парусиновых креслах на палубе. Василий Алексеевич был трезв, в петлице серого костюма краснела розетка Легиона. Левант чрезвычайно удивился, узнав, что орден у Налымова не липовый (пожалован в 1916 году после кровопролитного наступления русского экспедиционного корпуса). От приятной погоды и хорошего завтрака Левант впал в благодущие, — положил руку на колено Василия Алексеевича.

— Вот что значит — аристократ, вас и не узнать, голубчик. А помните, каким явился к Фукьецу, — прямо собиратель окурков. Знаете, жалко, что мы с вами раньше не встречались.

— Если бы мы встретились в Петрограде, я приказал бы лакею вывести вас вон, — ответил Налымов, щурясь на солнце, — а встретились бы на фронте, приказал бы вас повесить, тоже наверно.

Левант громко, искренне рассмеялся. Закурили сигары. Мимо кресел прошли румяный старик с прямыми пушистыми усами, в шотландском пледе на плечах, и длинный англичанин, державший за шнурок слишком маленькую по голове шляпу. Остановились у борта. С приятным смешком старик говорил (по-английски):

— Современники, стоящие слишком близко к событиям, никогда не видят их истинных масштабов. Только историческая наука вносит поправку в оценку современников...

— Так, так,— кивая шляпой, подтверждал англичанин и глядел на проступающий сквозь солнечную мглу меловой берег Англии.

— Революция — взрыв недовольства народных масс, доведенных до известного предела лишений и страдания. Оставим на время моральную оценку. Революция опрокидывает причины, порождающие недовольство. Опрокидывает, но никогда сама как таковая не становится творящей силой... Мирабо, Дантон, Робеспьер были только разрушителями...

— Так, так,— кивала шляпа.

— Революция порождает контрреволюцию,— обе силы вступают в борьбу. Оставим и тут моральную оценку... Если революция — биологический закон, неизбежно возникающий, когда старое общество уже не в силах прокормить, разместить, дать минимум счастья новому поколению, то контрреволюция — такой же биологический закон самосохранения старого общества... Таким образом, обе эти силы являются амплитудами одной и той же волны... Если революция — это хаос, анархия, разрушение, то контрреволюция — это бешенство сопротивления, жажда кары, наказания, тот же хаос... Как раз такую картину вы и наблюдали у Деникина...

— Так, так...

— Революция и контрреволюция качаются вверх и вниз, как отрезки одной и той же волны... Если посторонние силы не вмешаются в это качание и не остановят его, то оно окажется длительным и истощающим...

В первый раз за время разговора у англичанина приоткрылись зубы, крепкие и желтоватые, и под тенью шляпы юмором блеснули глаза.

— Вы видели на юге России у белых ужас и грязь, погромы и бессовестную спекуляцию, пьяную злобу и растление нравов... Вы, любящий и хорошо знающий Россию, были потрясены недоумением: куда же девался русский гений, породивший Петра Великого, Пушкина, Достоевского, Льва Толстого?.. Вы увидели одни разнужданные толпы гуннов...

— Гунны, гунны,— сквозь зубы подтвердил англичанин.

— Мистер Вильямс, откуда нам взять эту умиротворяющую, эту организующую наш вечный хаос — высшую моральную силу? Наше спасение в тех варягах, как и встарь, как и всегда... Мы должны призвать новых варягов, чтобы вмешаться в нашу драку белых и красных, разнять враждующие стороны и силой, если нужно, сурово обуздать дикого гуннского коня. Вот тогда снова у нас возьмут верх силы государственности... Снова духовное и интеллектуальное возьмет верх над биологией... Где же эти варяги?.. (С лукавой улыбкой он похлопал мистера Вильямса по плечу.) Англия, мой дорогой друг, Англия. Только Англия сейчас может взять на себя великую миссию умиротворения взбушевавшего человеческого океана. И вы это должны сделать со всей решительностью, со всей хваткой бульдога... И вы это сделаете — хотя бы во имя самосохранения. Никогда, ни днем, ни ночью, не забывайте, что бешеные волны революции уже захлестывают Германию и даже Францию, уже подкатываются к этим берегам...

Говоря это, человек со взъерошенными от ветра седыми усами протянул руку к меловым обрывам Англии.

Мистер Вильямс покачал шляпой.

— О нет, это прочно...

Когда старик и англичанин двинулись дальше вдоль борта, Левант спросил Налымова:

— Кто этот говорун с усами? Знакомое лицо...

— А черт его знает, — лениво ответил Налымов, — сволочь какая-то недостреленная.

— Слушайте, да это же профессор Милюков.

На пристани не оказалось ни носильщиков, ни такси. Это было по меньшей мере странно и необычно. Пассажиры заволновались, одни пошли объясняться, другие — пешком на вокзал. Леванту и Налымову пришлось тащить в руках увесистые, из свиной кожи, чемоданы (приобретенные для представительства).

На вокзале тоже не оказалось носильщиков. Бормоча левантинские проклятья, Левант ввалился, наконец, в купе.

— Видели что-нибудь подобное? Это — Англия! С ума они сошли!

Затем вагон начало толкать назад и вперед. По перрону взволнованно прошел начальник станции,— у него дрожали губы. Левант с бешенством высунулся в окошко:

— Слушайте, алло! Что случилось? Почему нас толкают? Я буду жаловаться, черт возьми! (Начальник что-то извинительно пробормотал.) Потрудитесь сделать, чтобы я сидел спокойно...

— Да сядьте вы, левантинец,— с досадой сказал Налымов.

Наконец тронулись. За вагонным окном понеслись ряды однообразных кирпичных домов, напоминающих гигантские, закопченные углем соты, огороженные зеленые поля, со столетними одинокими дубами, парки, островерхие кровли церквей, снова — огороженные поля, ручьи, ряды прокопченных рабочих домишек.

Левант с юмором стал поглядывать на хмурого, подтянутого Налымова.

— Знаете, я вас даже начинаю побаиваться. Вас бы посадить губернатором в военное время где-нибудь в Малой Азии, ой-ой, что бы вы натворили! Между нами: вешать вам приходилось? (У Налымова презрительно дрогнула верхняя губа.) Большой артист, честное слово. Я в вас не ошибся. Только послушайте, Налымов, ни капли спиртного, клянитесь мне.

Поезд, как в тоннель, ворвался в линии фонарей и освещенных окон; загрохотали виадукы, сверху, снизу пересекая путь, понеслись поезда, трамваи, и паровозный дым лизнул грязно-стеклянные своды вокзала.— Лондон!

На перроне была явная тревога и недоумение,— ни одного носильщика. Несколько пассажиров растерянно стояли у багажного вагона, откуда два каких-то элегантных молодых человека вышвыривали без бережливости чемоданы. Красная от волнения дама, в сбитой набок шляпе и с дрожащей собачонкой на руках, пытаюсь приостановить какую-то неловкость, торопливо шла позади безукоризненного джентльмена,— торжественно улыбаясь, он нес ее потрепанный чемодан.

— Прошу, джентльмены, ваш багаж.

Перед Левантом остановился, поправляя монокль, другой, не менее безукоризненный джентльмен. Он был

в шелковом цилиндре, в свежих перчатках, воротник черного пальто поднят, прикрывая фрачный галстук, поверх пальто — зеленый фартук носильщика.

— Ваши чемоданы, джентльмены.— С британским упорством, выпятив атласно выбритый подбородок, он поднял багаж и зашагал (с британской решительностью) к выходу на площадь. Там, вынув изящный свисток, пронзительно свистнул. Мощно, бархатно подкатил длинный, из красного дерева, отделанный серебром рольс-ройс. За рулем сидел третий джентльмен, в пушистой кепке, в монокле,— поднятый воротник прикрывал фрачный галстук.

— Джентльмены, ваш адрес?

У Леванта вылезли глаза; при всей наглости он не мог ничего ответить. Джентльмен-носильщик сказал джентльмену-шоферу:

— Артур, джентльмены не понимают по-английски. Левант прошептал:

— Господи помилуй, на руле никак — лорд, честное слово!.. Сэр,— с поклоном спросил он,— не можете ли вы объяснить, что все это значит?

— В Лондоне забастовка, сэр,— учтиво ответил джентльмен-носильщик,— забастовала часть транспорта: носильщики, шоферы и трамвайные служащие. Вы хорошо сделали, что приехали сегодня. По нашим сведениям завтра останутся поезда. Мы штрейкбрехеры: нас вызвали на борьбу,— мы боремся. Я член «Жокей-клуба», весь «Жокей-клуб» работает носильщиками. Лорд Стенли (кивнул подбородком на шофера) — член клуба «Пасифик». Весь «Пасифик» обслуживает автотранспорт. Кондукторами и вагоновожатыми — члены королевского клуба «Британия». Все ясно, сэр. За перенос багажа один шиллинг и шесть пенсов, сэр.

— Ах, вот как,— сказал Левант и полез в шикарную машину.

— Алло, шофер, в Савой-отель...

Заняли в бельэтаже два соединенных салоном номера с зеркальными стенами. Побрились, переоделись во фраки. Ужинали в огромном, как площадь, колонном зале, торжественно, молча и невкусно. Вернулись

к себе в салон, покурили, помолчали, разделись, легли спать.

В восемь утра Левант уже висел на телефоне. В половине девятого в кровать подавался первый завтрак, но вместо этого осторожно постучался управляющий гостиницей и, сохраняя спокойствие, сообщил, что прислуга забастовала,— джентльменам придется спуститься в ресторан и удовольствоваться холодной говядиной и кофе; есть вероятие, что на сегодняшней вечер Лондон очутится в темноте, но вряд ли до этого дойдет,— городские электростанции заняты спортивным клубом «Мяч и парус» и отрядами полиции. Хуже с подвозом съестного, никаких запасов не хватает на семь миллионов ртов... «Да, джентльмены, тяжело сознавать: наш рабочий, чистокровный англичанин,— пусть из низов общества, но англичанин же, бог мой,— на поводу у шайки московских разбойников». Директор посоветовал передвигаться по городу пешком: трамваи, обслуживаемые клубом «Британия», часто направляются не по тем стрелкам, и были случаи нападения бездельников на вагоновожатых,— приходилось отстреливаться, страдали вагонные стекла и пассажиры. Передвижение на автомобилях также сопряжено с риском получить камень в голову... «А в общем, джентльмены поступят так, как им заблагорассудится, и простят мое вторжение в их частную жизнь».

После завтрака пошли пешком. Валили потоки пешеходов. Полицейские, в синих суконных шлемах, как идеи высшей закономерности, с отеческой строгостью возвышались на перекрестках.

В управлении «Ройяль Дэтч Шелл» сообщили: Детердинг никогда здесь не бывает, и если джентльменам нужно видеть первого секретаря мистера Детердинга, то мистер Ховард может принять их у себя дома. Левант сделался меньше ростом, когда на полшага позади Налымова отпечатывал третью милю по указанному адресу. Дом мистера Ховарда (узкий, в три этажа, кирпичный, в стиле императрицы Виктории) был, по-видимому, более важным местом, чем управление,— на потемневшей дубовой двери, под старинным молотком — серебряная дощечка: «Ройяль Дэтч Шелл». Левант по-собачьи взглянул на Василия Алексеевича, надул щеки, выпустил воздух, стукнул молотком, и дверь тотчас открылась,

будто за ней все время дожидался седоватый человек в ливрее. Левант совсем оробел. В вестибюле — драгоценные ковры, коллекция индусских богов, раскрашенные идолаы с Соломоновых островов, изъеденная червями итальянская резная мебель. Когда лакей ушел с визитной карточкой, Налымов проговорил сквозь зубы:

— Здесь нужно вам заткнуть рот прочно. Как я и угадал, вы и близко не бывали около Детердинга. Предлагаю вам молчать, глазами не шарить, лучше всего глядите на свои ботинки, не курите без приглашения и обращайтесь ко мне: «Господин полковник».

— Так, так, так, будьте покойны, — прошептал Левант.

Неслышно вернулся лакей: «Мистер Ховард просит». Вошли в полутемный кабинет, где горел камин. Мистер Ховард, небольшого роста, очень худой, с седыми висками, предложил кресло у огня. Визитная карточка Налымова лежала на сигарном столике.

— Если не ошибаюсь, я имел удовольствие видеть вас в ставке главнокомандующего под Ипром, — сказал Налымов. — Это было в сочельник, за ужином...

— Как же, как же, — с улыбкой ответил мистер Ховард. Но так как перед ним сидел русский (то есть человек, у которого в доме тяжелое горе), дружескую улыбку он сменил на печальную и даже сопроводил ее легким вздохом.

Василий Алексеевич сухо, по-военному, начал излагать положение дел под Петроградом: наступление северной армии отложено до сентября из-за недостатка продовольствия и вооружения, — но, что еще важнее, — из-за отсутствия высокой моральной атмосферы. Нужно широко развить белую идею. Леванта он представил как одного из редакторов «Эха России». Он говорил точно по плану Хаджет Лаше. Мистер Ховард слушал с удовлетворением. Серьезно поглядев на свои ногти, сказал:

— Мне кажется, мистер Детердинг должен заинтересоваться вашей беседой. К сожалению, нелепые события этих дней нарушили его душевное равновесие, и я, право, не знаю... В Англию мы запрещаем ввозить собак, дабы не портить породы, тем более досадно, что

правительство слишком добросердечно смотрит на ввоз московских идей, и не поручусь, что не только идей, но и их живых носителей.

Он обернулся, приподнял брови, прислушался к шагам.

Толкнув дверь, вошел коренастый человек в просторном серебристом автомобильном пальто, порванном и запачканном. Казалось, что он только что кого-то держал за глотку бульдожьими скулами, бритый жирный низ лица его, с прямым ртом, выпятился, когда, сдергивая перчатку, он вопросительно и свирепо взглянул на посторонних. Снизу вверх дернул, вместо поклона, плотно посаженной головой.

Секретарь, мягко поднявшись, сказал ему:

— Мы только что беседовали по вопросу, близкому стокгольмскому предложению.

Медленно сняв перчатки, вошедший человек вдруг уставился на грязное пальто, расстегнул его и швырнул мимо кресла на пол. Стал у камина, — коротконогий, с маленькими ступнями и добродушным животом, никак не связанным с верхней частью тела, будто голова со слезавшимися от пота стальными волосами была приставлена от другого человека.

Секретарь представил:

— Полковник Наулэмов и мистер Лайвэнт.

В ответ человек у камина показал белые мелкие зубы, как улыбающаяся лиса, — но на очень короткое время. Затем сказал, словно откусывая у слов хвосты:

— Они подожгли мой автомобиль. От Графальгарсквера я шел пешком. Я бы очень хотел видеть в таком же положении мистера Ллойд-Джорджа.

Затем, утопив затылок в прямых плечах, он коротконого пошел к двери. Обернулся и — Налымову:

— Хорошо. Завтра я вас жду в десять утра.

— Мистер Детердинг ждет вас точно в десять утра, — повторил секретарь Налымову и Леванту.

— Я не прошу у вас денег, дорогой полковник, и не посылаю счетов, я работаю ради идеи...

— С удовольствием хочу подтвердить вам, дорогой Хаджет Лаше, что в нас это вызывает чувство глубочайшего удовлетворения.

— Прекрасно... Но вы представляете, сколько стоит организация дела?

— О, разумеется.

— Небольшая сумма, переданная мне генералом Жаненом перед его отъездом в Сибирь, полностью ушла по назначению. Люди, идущие рисковать жизнью, часто весьма требовательны,— посылая агента в Москву, я не торгуюсь.

— Ну, о чем же может быть речь...

— Отвлекаясь от чисто идейной работы, я принужден пополнять мою кассу... Так, сегодня два моих агента выехали в Лондон, чтобы предложить Детердингу вполне порядочную комбинацию.

— Я не сомневаюсь...

— Не в том дело... Детердинг — осторожен,— прежде чем решить, он наведет справки в известном вам учреждении, оно запросит вас... Так вот, я бы хотел рассчитывать на положительный отзыв...

— Я полагаю, что вы можете рассчитывать на меня... Какова сумма куртажа?

— Тысяч сто каких-нибудь...

— О, пустяки...

— Мерси... Дорогой полковник, это не все...

— Пожалуйста...

— За сведения, доставленные мной, я бы хотел одного: чувствовать себя совершенно свободным в своих поступках...

— Я вас понимаю, дорогой друг, но бывают поступки...

— О!.. Господин полковник! Мое прошлое! Мои заслуги!

Хаджет Лаше, потрясенный недоверием, слегка отодвинулся от полковника Пети и глядел на хорошенькую девочку с тоненькими, как у новорожденного жеребенка, голыми ножками,— она бежала за обручем по песчаной дорожке. Хаджет Лаше и полковник Пети сидели на скамейке в Люксембургском саду. Мирно падал лист за листом с желтеющих каштанов. Со сдержанной горечью Хаджет Лаше сказал:

— Сотрудничество возможно только при обоюдном доверии. Взгляды стокгольмской полиции могут не сходиться с моими взглядами, но с Парижем у меня не должно быть недоразумений. У нас общая цель,— зачем же привязывать мне моральный жернов на шею? Или вы мне не доверяете? Тогда — разойдемся.

— Дорогой друг, вы приводите меня в отчаяние...

— Нет, дорогой полковник. Я только хочу сказать: борьба есть борьба. В Париже достаточно злой шутики, чтобы убить человека, в джунглях нужна разрывная пуля. Не забывайте, мы имеем дело с большевиками. Это — люди по ту сторону добра, поджигатели цивилизации. Одни законы для цивилизованных, другие для канибалов.

— Вы тысячу раз правы,— сказал полковник Пети, осторожно касаясь серповидных усов, тронутых седью.— Но общественное мнение! Оно капризно, как любовница... Из пустяков оно создает сенсацию... Мы не можем с ним не считаться.

— Общественное мнение! Скажите еще: парламентаризм!.. (Хаджет Лаше стукнул себя кулаком по коленке.) Непонятно, как этот пережиток все же переполз через поля войны!.. И вот вам: большевизм уже на тротуарах Парижа... А здесь все еще болтают о терпимости и почтительно снимают шляпу перед общественным мнением... Я бью тревогу, дорогой полковник! Я утверждаю: спасение Франции, спасение Европы в суровой диктатуре, в терроре... Парламентаризм,— простите за парадокс,— парламентаризм преступен, как секта самоубийц...

Полковник Пети рассмеялся, похлопывая стеком по коричневой кожаной гетре. Хаджет Лаше положил короткую ладонь на лоб, будто охлаждая его пылание. Хаджет Лаше был мыслителем и не скрывал этого. Он еще долго развивал тему о здоровом перерождении европейского культурного общества: диктатуру верхушки буржуазного общества в конце концов примут как историческую неизбежность, как спасение от мирового большевизма. Если диктатура будет связана с промышленным подъемом, то и пролетариат, во всяком случае наиболее рассудительная часть его, примирится с господствующими идеями. Остальных заставят примириться.

Пети наслаждался беседой:

— Мой дорогой Хаджет Лаше, я уверен — у нас с вами не возникнет принципиальных разногласий. Вы всегда можете чувствовать за спиной дружескую руку. Если только...

Хаджет Лаше пожал плечами и — сухо:

— Я всегда был осторожен.

27

Солнце изламывало жаркие лучи на радиаторах машин, на гигантских стеклах магазинов, ослепительно отражалось в ручьях вдоль асфальтовых тротуаров. Облетали каштаны. По теневой стороне двигался человеческий муравейник — светлые платья, светлые шляпы, голые руки, персиковые щеки, влажные глаза, веселый говор, встречи, деловая суэта и созерцательное безделье...

С утра в город с окраин спускались рабочие, — на знаменах и кумачовых полосах они написали: «Мы поддерживаем английских товарищей». Это было лаконично и неожиданно. Телефонogramмы (в префектуры полиции) с забастовавших фабрик и заводов сообщили, что рабочие не выставили никаких экономических требований. Это было уже тревожно. И хотя рабочие шли мирными колоннами, против них послали драгун. Произошли короткие схватки холодным оружием и камнями. Колонны были рассеяны, но в середине дня появились новые.

Около трех часов Володя Лисовский отпустил такси и пошел пешком по направлению бульвара Брюн, тянувшегося вдоль старинных укреплений. Около заставы Мон-Руж он увидел первых драгун: в синих плащах, в медных сверкающих касках с красными конскими хвостами, драгуны ехали шагом, попарно на рослых караковых лошадях. «Не повернуть ли?» — подумалось. Для лояльности беспечно помахивая тросточкой, Лисовский вышел на бульвар, — кирпичные грязные дома, пыльная мостовая, чахлые деревья, вытопанная трава на лысых пригорках. Горячий ветер подхватил пыль и понес вместе с бумажками. Впечатление не богатое. Лисовский медленно повернул налево к парку Мон-Сури и сразу же увидел: посреди улицы валялась пушистая новая кепка,

шагах в десяти — окровавленный платок, подальше — большая лужа крови. Лисовский ногтями стал драть подбородок. В Ростове где-нибудь — эка штука лужа крови, но здесь — ого!

Он дошел до парка Мон-Сури. На истоптанных лужайках, на дорожках, пересеченных корнями, на искусственных холмиках со скамьями вокруг высоких фонарных столбов, на озере — ни души. Побродив, направился к выходу на авеню Мон-Сури и здесь, под платаном, на скамейке увидел двух пролетариев. Один — красивый парень, с сильной шеей, в разорванной до пупа рубашке и с кровавой царапиной на груди. Другой — бородастый, чахоточный, в пенсне, в пыльной черной шляпе. Оба курили, при виде Лисовского замолчали. Он сел рядом.

— Что здесь произошло, черт возьми? — сказал он нарочно грубовато. — Брожу целый час... куда делось население? На бульваре — лужи крови. А в пять часов мне сдавать хронику. О-ла-ла!..

— Двое убитых, тридцать ранено, можете это сообщить в вашей почтенной газете, — неохотно ответил красивый парень.

— Подробности, подробности, старина! — Лисовский с нарочной торопливостью схватился за записную книжку.

Парень пожал плечом. Человек со спутанной черной бородой сказал, поправляя на извилистом носу пенсне:

— Вполне законное любопытство узнать — из-за чего убивают граждан на парижской мостовой. Молодой человек, они убиты драгунами.

— Во время демонстрации?

— Вы угадали, — в то время, когда французы вышли на улицы заявить некоторой части населения по ту сторону Ламанша о братских чувствах... Когда у французов появляется некоторый запас идей, они всегда выходят на улицу, чтобы швырнуть в воздух свои идеи подобно почтовым голубям... Так вот, Жюль... (Человек в пенсне повернулся к своему собеседнику.) Все движется, все меняется, даже такие понятия, как Франция и французы... Было принято определять расовые качества по языку, цвету кожи и строению черепа... Жюль, это невероятный вздор. Когда тебя колотят резиновой дубинкой по чере-

пу, Жюль, тебе, должно быть, безразлично — длинный у тебя череп или круглый, француз ты или бош... Цвет твоих волос не отражается на качестве расплавленной бронзы, выливаемой тобой в формы для автомобильных моторов... Почему ты должен считать себя французом, если на земле, не принадлежащей тебе, на предприятии, не принадлежащем тебе, ты создаешь напряжением ума и мускулов ценности, не принадлежащие тебе? Но тебе все-таки хочется быть французом, черт возьми! Здесь земля прекрасна, и прекрасно небо, и еще прекраснее женщины... Так завоюй свою Францию, Жюль... Три четверти человечества тебе помогут в этом, а в первую голову русские... (Человек в пенсне живо повернулся к Лисовскому.) Вот, молодой человек, некоторые своевременные мысли — бесплатно для вашей заметки...

Мрачный парень вдруг раскрыл рот и так захохотал, что затряслась скамейка... Володя Лисовский понял, наконец, что над ним издеваются. Встал, приподнял шляпу и пошел к выходу из парка. «Матерьял для Бурцева не годится, — размышлял он, — но для отдельной книги?» Он даже споткнулся, — так захватило воображение... Книгу назвать: «Заговор трех четвертей». Циничная, наглая, такая, будто автору известно в тысячу раз больше, чем сказано... С каждой страницы двигаются на читателя миллионы устрашающих теней... Или назвать: «Я даю цивилизации год жизни». Костры на площадях Парижа, сцены, от которых у буржуа волосы встают дыбом... И — сто тысяч долларов в кармане...

С невидящими глазами, шепча про себя и размахивая тростью, Лисовский шел по авеню Мон-Сури, будущая книга неслась перед ним, горячий ветер перелистывал ее невероятные страницы. Так он почти дошел до вокзала Со. Он не слышал, как его толкнули справа, слева. Сильным толчком с него сбили шляпу, — толпа демонстрантов стремительно бежала от площади Данфер Рошро. Врезаясь в толпу, позади скакали драгуны, нагибаясь с седел, наотмашь били прямыми блестящими палашами. Сверкали гривастые шлемы, конские вспененные морды задирались над головами. Все это мелькнуло отчетливо, как на матовом стекле фотоаппарата.

Лисовский побежал, прикрывая голову руками. Многие из толпы, заскочив на тротуар, хватали круглые чугунные решетки под чахлыми деревцами, разбивали о мостовую, швыряли осколками в скачущих драгун. (У одного слетела медная каска, закинулось лицо, залитое кровью.) Вдруг брызнула боль из глаз: как будто жерновом ударили по черепу, Лисовский тяжело упал грудью на камни и потерял сознание.

Его грубо подняли, поставили на ноги; моргая, увидел по бокам два усатых недружелюбных лица, синие кепи. «Влип,— полиция!» Попытался что-то объяснить, так толкнули в спину — мотнулась голова. Повели. Только теперь начал болеть мозг, жгло солнце, ломило глаза. Свернули за угол, где была префектура полиции. Обшарпанная дверь, полутемный коридор, ступеньки вниз. Чей-то сдавленный вопль. Голый каземат, четыре здоровых сержанта, оскалившись от бешенства, бьют башмаками корчащегося на каменном полу человека. Лисовского толкнули на койку. Он сейчас же лег ничком на маслянистое, с круглыми дырочками железо. Полицейские ушли, дверь с грохотом захлопнулась, человек на полу торопливо стонал.

Мальчик лет пятнадцати поднял лохматую голову (рядом на койке) и — негромко Лисовскому:

— Тебя взяли на демонстрации?

— Да нет же. Я случайно...

— Э, старина, все равно за тебя не дам и двух су. Чего бы там ни врал, «грязные коровы пустят тебя в табак».

— Я не понимаю... Какие коровы?

Блестящими глазами мальчик указал на избитого человека: он со всхлипываниями втягивал воздух сквозь зубы... Подальше еще кто-то стонал. Мальчик с любопытством прислушался.

— У этого кофейник вдребезги,— проговорил он быстрым шепотом,— а ты, старина, не ломайся. Может быть, у тебя в эту минуту нет настроения иметь дело с копытами, я тебя понимаю, но не знать, как «пускают человека в табак»,— ври другому. (Расширив глаза.) Ты видел, у них на подошвах гвозди с гранеными шляпками? По правде тебе сказать, я бы с удовольствием удрал отсюда. Они «пускают в табак» уже пятого парня,

покуда я здесь. Одного, понимаешь, приволокли да сбили с ног, чтобы топтать, а он как вскочит да сержанту в сопатку, да другому в сопатку... Я уже и глядеть не стал...

Мальчик бодрился и шутил, но худенькое лицо его мелко подергивалось. Лисовский опять лег ничком на койку. Загрохотала дверь, вошли двое мрачных в кепи с серебряными галунами.

— Ты, встань! — схватили за воротник. Лисовский торопливо сел. — Кто такой? Документы!

Один держал за воротник, другой обшаривал. От прохождения «через табак» Лисовского спасла корреспондентская карточка. Под вечер его выпустили, даже извинились и в отеческой форме предложили подальше держаться от рабочих окраин, вернули документы и записную книжку, но пачка долларов, перехваченная тоненькой резинкой, исчезла: по-видимому (как заявили ему официально), похищена демонстрантами, когда он без чувств валялся на мостовой.

Налымов и Левант вернулись из Лондона. Переговоры с Детердингом прошли успешно. Левант поспешил обрадовать Чермоева и Манташева, и начались долгие бестолковые переговоры. Чермоев заломил дикую цену за нефтяные участки. Манташев, в мрачной неврастении, с утра решал продавать все, вечером кричал, что какой-то десяток миллионов франков его никак не устраивает — одна скаковая конюшня обойдется дороже.

Левант проявил величайшее знание человеческого сердца. Манташева он взял на испуг, — тайно собрал все его счета и через нотариуса предъявил к срочной уплате. Манташев потерял голову и пошел на все. С азиатом Чермоевым было несравненно тяжелее, но и его Левант взял в конце концов семейным измором: распалил сумасшедшее воображение у Анис-ханум и Тамары-ханум, — показал татаркам в Булонском лесу будущий особняк, возил на автомобильную выставку, на приемы к знаменитым портным, где проходили, как сновидения, длинные, потрясающей красоты женщины в неверо-

ятных платьях ценою в две, три, пять тысяч франков. Домашняя жизнь Чермоева стала невыносимой, он понял, что так хочет аллах, и пошел на условия Детердинга.

На даче в Севре ждали только телеграммы от Хаджет Лаше, чтобы выехать в Стокгольм. Дамам было выдано пять тысяч франков на тряпки. На дачу притаскивались вороха полосатых картонок. За ужином болтали о покупках, о модах, о ценах. Старались не думать, что в Стокгольм их везут не для невинных развлечений.

В одну из минут вечерней тишины, когда было слышно, как бабочки ударяются о стекло лампы, Лили вдруг заговорила о каком-то своем родственнике, белом офицере: постараться хорошенько, можно бы его разыскать... Он когда-то был влюблен в Лили, такой милый, чистый юноша. Конечно, прискачет в Париж, вырвет ее из этого ужаса... Она бы поехала с ним на гражданскую войну сестрой милосердия, потом бы купили домик на берегу моря в тихом Таганроге, жили бы грустно, невинно, завели бы козу, кур.

Вера Юрьевна сказала с отвращением:

— Мало того — дура, ты пошлячка, милая моя.

— Врешь, врешь, меня еще можно любить, — Лили начала отчаянно стучать кулачком по столу. — Не старая шкура, как некоторые...

— Это и есть, милая моя, пошлость: домик в Таганроге, любовь и коза. Кто тебя любить-то будет? Офицеришка, прожженный спиртом и сифилисом?.. Э, милая моя, рук-то от крови не отмоешь...

— Врешь, врешь, он студент, юрист... Такой милый, застенчивый...

— Вот именно, у тебя законченная психология проститутки, должна заметить с большим огорчением.

Мадам Мари сказала:

— Да, Лилька, надо тебе подтянуться... Любовь вычеркни из словаря... Я, девочки, страшно верю в Стокгольм. Во-первых, Хаджет Лаше обещал мне ангажемент в кафешантан... Ну уж тогда держись, девочки, мы поживем: на все пущусь, вплоть до кражи бумажников.

— Правильно, — твердо сказала Вера, — уважаю.

Дамы и Налымов приехали в Париж с девятичасовым поездом. На площади вокзала Сан-Лазар стояли трамваи, набитые народом. Машины медленно продвигались сквозь густые толпы пешеходов. В городе что-то случилось. Мальчишки-газетчики с отчаянными криками на бегу размахивали экстренными выпусками. Оказалось (на даче в Севре совсем забыли об этом): сегодня в одиннадцать часов должна состояться близ Нью-Йорка в присутствии двенадцати тысяч зрителей встреча двух мировых боксеров — Карпантье (Франция) и Демпси (Северная Америка). Пресса придавала этому матчу более чем спортивное значение. Французская нация дралась за мировое первенство. Перед своим отъездом Карпантье — красавец, чистокровный француз — был принят президентом республики. Пуанкаре будто бы сказал ему: «Итак, мужайтесь, мой друг. Удар, который вы нанесете вашему противнику, отзовется в сердце каждого француза. Нация вручает вам свою честь и свою славу».

Весь месяц газеты были заняты описаниями тренировки Карпантье перед встречей; каждая минута его жизни стала достоянием широких народных масс. Специально посланные в Нью-Йорк корреспонденты сообщали о мельчайших отклонениях его здоровья, о его ежедневном меню, утонченных вкусах, остроумии, оптимизме, веселости, о его галстуках, костюмах, шляпах и прочее. Корреспонденции не замалчивали силы и ловкости Демпси, что еще сильнее возбуждало ожидание.

Великий день настал. Не менее миллиона людей двигалось по Большим бульварам к центру, где над редакцией «Матэн» издали виднелся большой экран, на нем — схематическое изображение двух голов — Карпантье и Демпси. Каждый удар передается через океан по радио, и на очертаниях голов посредством электрической сигнализации кружком отмечается место, где нанесен удар. Аэропланы, парящие над городом, также принимают радиосообщения о наносимых ударах и выкидывают светящиеся шары — белый, если удар нанесен в лицо Карпантье, красный — в лицо Демпси. Такая же сигнализация шарами установлена на верху Эйфелевой башни. Приз победителю — три миллиона долларов, по-

бежденному — миллион. Если переводить на франки, шестьдесят миллионов франков за пять минут битья по лицу, — не у одного только маломощного буржуа мутилось в голове... Энтузиазм был всеобщим...

К одиннадцати часам Налымов с дамами добрался до пятиэтажного уродливого здания «Матэн». Над волнующимся полем шляп и женских шляпок возвышались плечи и каски конных драгун. Стрелка часов подошла к одиннадцати. По толпе пронеслось сдержанно: «А-а!» Эйфелева башня сигнализировала. Кружащиеся над городом аэропланы выпустили облачка цветного дыма. Разорвалась петарда на крыше «Матэн». По экрану (с очертаниями двух голов) побежали надписи: «Бойцы вскочили на арену»... «Командор боя появляется на арене»... «Командор свистит»... «Двенадцать тысяч американцев затаили дыхание»... «Карпантье изящным жестом сбрасывает халат»... «Демпси поступает так же, лицо его хмуро»... «Карпантье оживлен, он смеется»... (О, французы всегда смеются в минуту опасности...) «Бойцы подходят друг к другу, пожимают руки в боевых перчатках, отскакивают в позиции»... «Оба колосса замерли в классических позах»... «Резкий свисток командора»... «Карпантье кидается первым»... (Вера Юрьевна впилась ногтями в руку Налымова.)

Надписи прерываются. События разворачиваются с бешеной быстротой. На экране от слов переходят к сигнализации. Глаза трехсот тысяч парижан устремлены на два силуэта... Странно, на физиономии Демпси пока ни одного кружочка! Видимо, бойцы только еще изучают друг друга. Пустая минута первого раунда тянется невыносимо. И вдруг за секунду до конца у Карпантье посредине лба выскакивает черный кружок. Триста тысяч пар глаз смущенно перемигиваются.

Минута перерыва. (Бойцов разводят в противоположные углы квадратной арены, окруженной канатами, сажают на стулья, массируют мускулы, обмахивают полотенцами, брызжут в лицо квасцами.) Над взволнованной толпой поднимаются дымки закуриваемых папирос. Второй раунд. Надпись: «Карпантье с холодным бешенством кидается на противника»... Секунда ожидания. Подземным гулом бьется сердце толпы. И сейчас же на экране левый глаз Карпантье закрывается кружком, вто-

рой кружок выскакивает на правой скуле, третий на левой, четвертый на подбородке... Перерыв. Французы хмуро отводят глаза от экрана. С хвостов парящих аэропланов срываются запоздавшие ослепительные белые шары.

Зрачки у Веры Юрьевны расширены, голос хриплый:

— Я загадала на Карпантье... Я верю, верю!

У Лили раздуты ноздри, будто из-за океана доносится к ней запах могучего пота и льющейся крови. По толпе — ветерок тревожного шепота. Третий раунд. Нос Демпси прикрывается кружком. Крики «браво», аплодисменты, — ураган криков. Но знатоки качают головами: разбитый нос ничего не стоит, у Демпси нос вдавливаются внутрь, как резиновый. В ответ рассерженный Демпси наносит подряд по лицу три удара противнику. Карпантье падает. О нет, нет, несправедливости не должно совершиться! Карпантье снова на ногах... «Браво, браво, Карпантье!» У Демпси кружок на скуле... Конец третьего раунда.

От толпы перед редакцией «Матэн» поднимаются едкие испарения... Медленно, как судьба, ползет минута перерыва. Четвертый раунд. Инициатива переходит к Демпси. Удары в скулы, в нос, в ухо, в череп, в сердце громовыми раскатами разносятся по вселенной. У Карпантье треснула лобная кость, лопается челюсть. Повреждена ключица, но держится, держится! Надежда не потеряна. Толпа глядит, задрав головы, со сдвинутыми шляпами. «О, ударь его хорошенько в зубы, Карпантье, вышиби ему глаз!..»

Сила кулака у Демпси равна удару задней ноги лошади. Демпси (как потом стало известно) дал слово устройтелю матча держаться более или менее пассивно семь раундов. Но, видимо, ему надоело валять дурака. На пятом раунде лицо Карпантье стало быстро покрываться кружками. Демпси колотит в него, как в бубен, и через двадцать секунд делает нокаут: двойной удар снизу наискось в подбородок и в челюсть (мозги встряхиваются, головные позвонки выходят из сочленений, челюсть соскальзывает в сторону). Карпантье упал. Командор боя (нагнувшись над ним, высоко подняв руку) начал считать до десяти... Десять. Кончено! Карпантье

не встал... На арену вскочили служители взять его обморочное тело. Франция разбита. Аэропланы, выпустив черный дым, улетели в западном направлении. Толпа перед редакцией «Матэн», повинувшись древней традиции, обнажила головы. Человеческие потоки медленно расходились.

Налымов сказал:

— Девочки, нас еще раз одурачили. Предлагаю напиться.

30

Левант позвонил поздно ночью: «Едем завтра». Всю ночь укладывались. Чуть свет из Парижа приехали такси. Дамы поцеловали заплаканную Нинет Барбош и навек покинули дачу в Севре. Какова будет новая жизнь — плевать, лишь бы новая.

Левант выбрал кружный путь через Берлин — Штеттин и оттуда морем до Стокгольма. В Берлине остановились в дорогой гостинице «Адлон», где сразу же в вестибюле бросились в глаза такие подозрительные, лоснящиеся, шикарно одетые людишки, такое настойчивое, нетерпеливое жулье, что дамы приказали весь багаж сейчас же поднять в номер. Завтрак в ресторане был гнусный, но на еду здесь, видимо, не обращали внимания, за столиками совершались сделки, из конца в конец зала перекликались лоснящиеся людишки, показывали друг другу что-то пальцами, оркестр исполнял в том же истерическом темпе американские фокстроты. На дам нагло таращились: «О-о-о, паризер шик!»

Левант занял в бельэтаже дорогие апартаменты. После полудня в его салоне появились русские важные старцы, молодые люди с мутно-пристальными глазами убийц, серые штабс-капитаны и полковники мировой войны, несколько солдатских шинелей, прикрывавших военные лохмотья, провинциальные говорливые барыни, трагические старухи из петербургского большого света. Все это сборище разговаривало в повышенном тоне, ругало немцев и ожидало от Леванта не то каких-то инструкций, не то просто денег. На открытом листе производилась запись добровольцев в «Лигу спасения Российской империи»...

Левант разговаривал от имени «Стокгольмского отделения Лиги». Денег, правда, не предлагал никому, но обещал самые широкие перспективы в недалеком будущем. С иными молодыми людьми удалялся в спальню для секретного совещания. Окруженный русскими (на пышных розах ковра, замусоренного окурками), он говорил, засовывая большие пальцы за подтяжки:

— Господа, в Париже, где сосредоточены все нити борьбы с большевиками, где, не преувеличивая, бьется сейчас сердце русского народа, чрезвычайно удивлены пассивной деятельностью берлинских военных организаций. Мы были уверены, что энтузиазмом борьбы охвачены все русские. К сожалению, я этого не вижу. Германское правительство всемерно идет нам навстречу. Англичане делают даже больше того, на что можно надеяться. И что же? За истекшую неделю из Берлина на русский фронт отправили всего один эшелон добровольцев. Господа, какой отчет я дам Парижу?

Коренастые штабс-капитаны и лысоватые полковники чесали в затылке. У генералов строго тряслись щеки, молодые люди с глазами убийц хмуро отворачивались. Отвечать было нечего... Вот кабы Германия послала тысяч сто войска. Или черт с ней, если Германии не позволят, почему Франции не двинуть чернокожих на Россию?.. Почему Англия, как собака, то укусит, то отскочит,— ее большой флот мог бы в один день сравнять с землей и Кронштадт и Питер. Поддадут интервенты жару,— до одного человека пойдем в передовые войска. Без нас все равно не обойдутся, очищать Россию от большевиков иностранцы небось не станут, ручек не захотят марать.

Налымов с дамами бродил по Берлину. Неприветливыми казались перспективы однообразных улиц, темные дома с высокими красными крышами. В магазинных витринах подделки, эрзацы, хлам. Угнетало количество неумелых девушек с нищими глазами,— их жалкий торопливый шепот встречным прохожим: «Идем со мной, я очень испорченная». На перекрестках когда-то блестящих улиц — участники мировой войны: обрубки на тележках, слепые в черных очках с поводырем — санитарной соба-

кой на привязи (подарок правительства). Перед витринами мясных лавок, где в бумажных кружевах разложены окорока, филеи, колбасы, драгоценные куски жира, — неизменная толпа: бежит суровый пожиратель вареной картошки и от громового рефлекса вырастает в тротуар перед мясной витриной... Рука стискивает портфель, левые мускулы вздуваются на впавших щеках, позволяет себе пережить вон ту свиную котлету в бумажном кружеве на стеклянной доске... Пять минут пищевой фантазии!... Крепче портфель с несъедобными бумагами под мышку и — мимо, мимо... Версальскому миру отзовется когда-нибудь эта свиная отбивная!

Скалы, холмы, печальный свет северного солнца, вдали — груды облаков, как снежные вершины.

Пароход плывет мимо каменистых островов. С каждым поворотом — новые склоны берегов и глубже уходящие воды фиорда, то затененные, то сверкающие. Дамы облокотились о перила борта. Ясен воздух, скудное тепло. Красные черепицы домиков в зеленеющей ложине между бесплодных скал. Север. Безлюдье. Это земля, куда возвращаются с отгоревшими страстями, с поседевшей головой.

Вера Юрьевна говорит вполголоса:

— Если бы так же возвращаться в Петроград... Человек должен жить на севере... Девочки, — вон в том домишке, под скудным солнцем... Какая печаль!.. Мечтать, ждать несбыточного...

Она положила на борт руку, обтянутую лайковой перчаткой. Молочно-румяный швед оглянул стройную Веру Юрьевну, — гм! — черный жакет, светлая мягкая юбка, обувь без каблуков... Просто, дорого, шикарно, никакого желанья нравиться, — равнодушное лицо, в нем все обдуманно, все закончено... Гм!.. Самый высокий продукт цивилизации, международная хищница, парижская штучка...

— Девочки, а — зима!.. Мы и забыли ее... Снега, стужа, вьюга... Куплю дом непременно, только еще дальше на севере, — всю зиму буду одна, одна совершенно...

Лили — с усмешкой:

— А помнишь, меня ругала за домик в Таганроге? Сама-то, видно, — тоже...

— Нет, Лилька, нет... Домик в Таганроге с офицериком — свинство. Я об одиночестве говорю... Меня так и найдут в этом домике, — раскопают занесенную дверь, в разбитое окно нанесло снегу, я — на постели, седая, высохшая и руками вот так — зажаты глаза, чтобы мне, мертвой, никто не смел глядеть в глаза...

Мари, тоже стоявшая у борта, присвистнула:

— С хорошеньким настроением едешь на работу!..

Кисло усмехаясь, Вера Юрьевна ответила:

— Всякий бесится по-своему, милая моя шансонетка. Для тебя высшее счастье — пожарские котлеты. Ну, а я еще должна все обиды припомнить...

— Батюшки, как страшно! — лениво сказала Мари.

Лили придвинулась, глядела в глаза Вере Юрьевне:

— Верочка, не надо...

Молочно-румяный швед, стоявший позади дам (руки в карманах, сигара в углу рта, полный подбородок удовлетворенно уперт в крахмальный воротничок), не понимал по-русски и до крайности странный разговор трех элегантных дам принял за восхищение северной природой. Вынув сигару, попробовал вмешаться:

— Пардон, смею обратить ваше внимание, — Стокгольм сейчас заслонен островом Бекхольм. — Он указал сигарой на кирпичные постройки и решетчатые краны эллинга, показавшиеся с правого борта; вдали, налево, стояли грузовые пароходы у высокой каменной стены, где курилась дымом многоэтажная мельница. — За войну город очень разбогател. Шведы не плохо поступили, что не вмешались в войну. Нас много ругали (засмеялся), но кому-нибудь надо же было торговать, и мы принесли обеим сторонам много пользы, торгуя с теми и с этими. Теперь вы не узнаете Стокгольма, — это маленький Берлин. Правда, после Версальского мира оживление несколько уменьшилось, но мы надеемся, что кризис временный. Во всяком случае, здесь можно весело провести денек... (Пароход повертывал.) А вот и город. Вы видите старую часть — Стаден. В древности город располагался на этом острове, сейчас разросся направо и налево. Самые шикарные кварталы на тех холмах — лучшие магазины, театры, кафе и вокзал. А еще дальше на

север—чудные загородные места: озера, красивые виллы и замки. За время войны мы много строились.

Пароход приближался к лиловато-серым очертаниям города. За ним — холмы, облака. Тыкая сигарой, швед называл знаменитые здания — дворец, собор, отели.

— Если захотите быть ближе к нашей природе, могу посоветовать прелестный уголок в тридцати километрах по железной дороге,— Баль Станэс на озере Несвинен.

— Как вы сказали? — резко обернулась к нему Вера Юрьевна.— Баль Станэс?..

Швед, несколько изумленный порывистым движением, нагнул по-бараньи голову:

— Да, мадам, вы не пожалеете. Там можно отдохнуть.

Пароход загудел и стал поворачивать к стенке набережной. В пролетах между дощатыми пакгаузами стояли черные такси. За ними двигались чистенькие трамваи. Дальше — груды тюков, бочек, ящиков, черепичные крыши и старинные фасады домиков, вывески портовых кабаков, узкие переулки. У самого края стенки, на причальной тумбе, сидел, улыбаясь, носатый Хаджет Лаше, в серой черкеске и мерлушковой шапке. Увидев его, Вера Юрьевна положила руку на горло, отвернулась.

В зале ресторана «Гранд-отель» в обеденный час играл симфонический оркестр и выступали,— как всегда по воскресным дням,— сольные номера. Года два тому назад все это было обставлено гораздо богаче, европейских знаменитостей слушали здесь ежедневно. Но после мира схлынули интендантские чиновники, поставщики, шпионы, контрразведчики, международные авантюристы, великолепные женщины с ассортиментом паспортов и коробочкой кокаина в золотой сумочке, нейтральные дипломаты и засекреченные дипломаты воюющих стран,— все, кто, не задумываясь, разменивал деньги и покупал все: оружие, товары, сталь и яды, человеческую подлость и острые удовольствия.

Теперь в будние дни в ресторане «Гранд-отеля» вместо вина подавали графины с холодной водой. Стокголь-

му грозило захоlustье. С убытком для себя ресторатор устраивал воскресные концерты; их посещали даже почтенные семейства, поддерживая национальное предприятие.

Все столики были заняты. Сигарный дым пробирался сквозь лапчатые пальмы. Сегодня демонстрировалась американская новинка — джаз-банд с настоящими неграми. Трудно было привыкать к адской трескотне, вою саксофона, барабанам и тарелкам, взвизгам веселых людоедов. Мало того, что Америка сняла исподнюю рубашку со старого мира, — на могилах пятнадцати миллионов заставила плясать бешеный фокстрот... Ах, то ли дело убаюкивающий старый, мечтательный вальс!

— Слишком близко к оркестру сели.

— А вы говорите погромче.

— Погромче-то не хочется...

— Да бросьте ваши страхи... В Европе, чай. Что же водку не пьете?

У стены за небольшим столиком обедали двое русских: один — худощавый, холеный, с залысым лбом, с острой бородкой, другой — с воспаленным, несколько беспокойным лицом, с выпуклыми, влажными, жадными глазами. Худощавый мало ел, много пил. Его собеседник ел жадно, навалиясь грудью на стол. Худощавый говорил ему:

— Напрасно, напрасно, Александр Борисович. Что же, и в Петрограде ни капли не пили?

— Да бросьте вы, слушайте... (Александр Борисович косился на соседей.) Вот тот, внушительный дядя, — кто такой?

— Полицейский, из отдела наблюдения над иностранцами. Мой приятель...

— Хорошенькое знакомство!

— Без этого здесь нельзя.

— Ну, а вон те, в смокингах?

— Двоих не знаю, третий, тот, кто вертит ложечкой в шампанском, — граф де Мерси, из французского посольства, недавно прибыл с таинственной миссией.

— А тот высокий старик? Русский помещик какой-нибудь?

— Эка! Поважнее короля — сам Нобель.

— А за тем столиком? Что-то уж очень они поглядывают на нас.

— Русские. Лысый, смуглый, маленький — Извольский, во всяком случае живет здесь под этой фамилией. Тот, кто смеется, — рыжебородый, — концертмейстер Мариинского театра Анжелини, он же Эттингер почему-то. Чем занимается, черт его знает, но деньги есть, он угощает. А третий, верзила — Биттенбиндер, тоже — сволочь.

— А та компания за большим столом — красивые женщины?

— В гостинице со вчерашнего дня. Их уже заметили. С лиловыми волосами, по-видимому, жена Хаджет Лаше.

— Какого Хаджет Лаше? Того — в черкеске? Так я же его знаю, встречались в прошлом году в Петербурге. Он печатал свою книжку, интереснейшие записки — разоблачение застенков Абдул-Гамида. пытки, убийства, кошмары в турецком вкусе, здорово написано. Что он здесь делает?

— Живет за городом в Баль Станэсе. Рантье, как мы все. Любопытный парень.

Негры положили инструменты и ушли с эстрады. Танцующие вернулись к столикам. В зале — сдержанный гул голосов, хлопают пробки от шампанского. Худощавый закуривает, щурится удовлетворенно, бровями подзывает лакея и, когда закуска убрана, наклоняется к собеседнику:

— Ну-с, какие же новости из Петрограда?

Как только смолкла музыка, Хаджет Лаше указал Леванту:

— Видишь того — с выпученными глазами — это Леви Левицкий, журналист, пробрался через финскую границу курьером к Воровскому. Ловкий малый, — у него, мне известно, другое поручение, помимо бумажонок Воровскому... (На ухо.) Был близок к Распутину, Вырубовой и всем тем кругам. Вчера был в банке с чемоданом, который там оставил, и, кроме того, внес на текущий счет какие-то суммы...

Левант равнодушно вертел деревянной мешалкой в бокале шампанского.

— А другой с ним — худощавый?

— Ардашев, тоже в сфере внимания... Во время войны успел перевести сюда не менее миллиона крон... В прошлом году приехал для закупки бумаги для Петрограда, — бумагу купил, но остался. С русской колонией не встречается.

— Трудновато, — сказал Левант, — без обличающих документов не советую, — французы щепетильны...

— Будь покоен... А вон, смотри, в самом углу сидит один. Тут уж дело чистое, — курьер Воровского, Варфоломеев, матрос с броненосца «Потемкин». (Левант недоуменно взглянул.) Очень доверенное лицо. Много знает... (на ухо) о царских бриллиантах...

Негры, показывая белые зубы, появились на эстраде. К Вере Юрьевне подошел давешний молочно-румяный швед. С первым тактом джаз-банда она положила голую руку на его плечо и пошла легким шагом, бесстрастная и равнодушная, — новая Афродита, рожденная из трупной пены войны, — волнуя прозрачно-пустым взглядом из-под нагримированных ресниц, не женскими движениями, всем доступная и никому не отдавшаяся. Глаза всего ресторана следили за ней.

Леви Левицкий, вытирая салфеткой вспотевший лоб, сказал Ардашеву:

— Слушайте, с ума сойти! Кто она?

— Соотечественница, разве не видишь?

— Будьте другом — познакомьте.

— Не очень бы советовал знакомиться с здешними русскими... Это не прошлогодние паникеры-беженцы... Их тут сорганизовали.

— А, бросьте... Я — нейтральный. (В глазах его появилось страдание.) Ах, женщина!.. Послушайте, это же — сон, сказка!..

Граф де Мерси, держа за уголок визитную карточку, на которой было отпечатано: «Хаджет Лаше. Полковник. Шеф-редактор», вошел в маленькую приемную, затворил дверь в соседнюю комнату, где стучала маши-

нистка, изящно-холодно поклонился Хаджет Лаше и указал на стул у круглого дубового стола, заваленного газетами и журналами. Когда посетитель сел, граф де Мерси тоже сел, положив ногу на ногу, вопросительно подняв брови,— длиннолицый, с тяжелыми веками, с большим носом, с висячими усами и скудноволосям пробором через всю голову,— аристократ с головы до ног, прямой потомок крестоносцев. Хаджет Лаше (в черной визитке, в черных перчатках) сказал с осторожной задушевностью:

— Граф, я бы хотел поставить вас в известность о том, что моя деятельность в Стокгольме проходит в полном согласии со взглядами полковника Пети.

Де Мерси слегка поклонился:

— Я в вашем распоряжении.

— Граф, вам известно, что в Стокгольме сосредоточены все нити заграничной агентуры большевиков.

— Если не считать Константинополя.

— О нет, здесь гораздо серьезнее. Газета «Скандинавский листок» — плохо прикрытый большевистский орган.

— Вот как?

Хаджет Лаше знающе улыбнулся, давая понять, что «вот как» относит к дипломатической скрытности, но отнюдь не к плохой осведомленности графа.

— «Скандинавский листок» издается на средства здешней группы сочувствующих. Москва не дает им дотации. Поэтому не исключена возможность перекупить у них газету. Ваше мнение, граф?

— Гм... целесообразно,— граф де Мерси сосредоточенно взглянул на свои длинные ногти.— Но это, мне кажется, должно исходить от частных лиц.

— Успех будет зависеть от суммы, которую можно предложить. Нужно располагать ста, полутора тысячами франков... Хотелось бы иметь гарантию, что затраты, которые произведут эти частные лица... (Хаджет Лаше застыл в улыбке.)

— Думаю, ваше предложение не встретит принципиального отказа. Гм! Полтора тысяч? Может быть, вы посоветуете мне написать полковнику Пети?

— О, я просил бы об этом.

— Прекрасно... (Граф облегченно вздохнул...) Если мы не встретим с его стороны возражений, я гарантирую ваши затраты из особых сумм.

Он опустил брови,— щепетильная часть разговора была окончена. Но Хаджет Лаше упрямо поджал рот:

— Граф, это не все... Я бы хотел иметь гораздо более важное — моральные гарантии...

— Простите?

— Есть некоторые чрезвычайные директивы из ставки генерала Юденича. Я бы не хотел вас обременять подробностями неприятных поручений, не всегда совпадающих со взглядами европейского человека на добро и зло. Но не нужно забывать, что Россия под управлением большевиков отрешена от морали... В борьбе с красной опасностью приходится применять средства, несколько выходящие за пределы...— Граф де Мерси предупреждающе поднял брови, но Хаджет Лаше продолжал с напором: — О, никакой мысли — запутать ваше имя в события, которые могут развернуться. Я хочу лишь заручиться вашим согласием,— полковник Пети обещал мне это,— что в случае трений со шведской полицией... я и группа лиц, идейно работающая со мной, могли бы рассчитывать на юридическую помощь...

— Я понимаю, вы хотите в случае... (граф не подыскал слова) рассчитывать на защиту видного парижского адвоката?..

— Да, граф... Я бы назвал имя Жюля Рошфора, моего старого друга...

— О да, он берет не дешево... Хорошо, я вам обещаю это.

— Я удовлетворен, граф.

— О, пожалуйста...

Тут они поднялись, простились сильным, хорошим рукопожатием, и граф де Мерси проводил гостя до дверей:

— Всегда к вашим услугам, мой дорогой Хаджет Лаше.

Николай Петрович Ардашев в пестром халате, в сафьяновых туфлях, окончив завтрак, просматривал почту: неизбежные письма от русских беженцев... «Услы-

шав о вашей отзывчивости, умоляю...» «Бежав с женой и ребенком от ужасов большевизма, умоляю...», «Вы меня не знаете, я — липецкий помещик, изгнан за пределы родины... Меня выручили бы двадцать крон...», «Помогите... Волею судеб выброшен на мель, в среду черствых лавочников и торгашей, а в России эти же иностранные стрикулисты обивали мой порог, короче говоря, я — харьковский негоциант...» «...Николай Петрович, перед вами — отец многочисленного семейства: престарелая бабушка, пять малолетних детей и кровоточивая жена...» И так далее...

Николай Петрович внимательно (для собственной совести) прочитывал эти письма, сверху делал пометки карандашом — 50, 20, 10 крон. Приходилось покупать право на душевный комфорт. Эти люди лезли через границу, как клопы из ошпаренного тюфяка. Он помогал им потому, что любил вот такое светлое утро, озаряющее безмятежную опрятность всех уголков его жилища, прочное холостяцкое согласие с самим собой. Личного общения с беженцами он избегал (деньги передавались через секретаря), избегал также осевшей в Стокгольме русской колонии.

Одно из писем прочел два раза: «Многоуважаемый Николай Петрович, буду крайне признателен, если вы уделите мне несколько минут беседы по делу, которое может вас заинтересовать. Известный вам Хаджет Лаше». Ардашев ногтем почесал бородку: «Что-нибудь по поводу издательских дел. Лаше — занятный человек, но, наверное, опять политика...» Вспомнилась красавица, его дама, танцевавшая в «Гранд-отеле», с усмешкой прищурился на блестящий кофейник... «Да, от женщин и политики — подальше: это тоже плата за комфорт...»

Звонок. В прихожей знакомый голос. Ардашев бросил газету на пачку прочитанных писем, зажег погасшую сигару. Вошел Бистрем, двадцатипятилетний скандинав, шести футов ростом, добро-голубоглазый, в очках, с нежной кожей, сильной шеей и раздвоенным подбородком. Он недавно окончил университет и со всем прямолинейным пылом честного германца изучал исторические, социальные и экономические предпосылки русской революции. Состоял сотрудником «Скандинавского листка», был непрактичен и доверчив. Несколько раз

пытался быть посланным в Москву в качестве корреспондента, но в редакциях его подняли на смех, вышла даже неприятность с полицией.

— Николай Петрович! — крикнул он по-русски, с акцентом (восторженный, румяный, свежий), — прочли сегодняшнюю газету? О, я вижу, вы не читали!.. — схватил со стола газету и отчеркнул ногтем — «Ревель, от собственного корреспондента»... — Слушайте: «Кредитные знаки северо-западного правительства в России, печатающиеся, как известно, на Стокгольмском монетном дворе, на общую сумму один миллиард двести миллионов рублей, по точно проверенным сведениям, гарантированы к размену на золото английским государственным банком». Слушайте, Юденичу — капут!..

— Не понимаю, — сказал Ардашев, — что же тут такого? Деньги печатаются по заказу Юденича...

— Деньги печатаются под гарантийную телеграмму Колчака из Омска. (Бистрем вытащил из кармана пачку газетных вырезок, отыскал, прочел.) Это из ревельской «Свободы России». Вот... «Верховный правитель адмирал Колчак приказал передать правительству Северо-западной области, что им будет оказано всемерное содействие для успешного завершения борьбы с большевизмом в Петроградском районе, что министру финансов омского правительства срочно указано перевести просимые главнокомандующим генералом Юденичем двести шестьдесят миллионов рублей золотом. Указанная сумма поступает в Лондонский банк в английской валюте и гарантирует выпускаемые правительством Северо-западной России денежные знаки, которые являются всероссийскими денежными знаками и обеспечиваются, кроме указанной суммы, всем достоянием государства Российского». Под этот блеф Юденич и выпускает миллиард двести миллионов для разгрома Петрограда.

— Почему блеф? Разве Колчак не перевел денег?

— Колчак перевел в Лондон только пять миллионов золотом... У меня вернейшие сведения... Понимаете, что получится после сегодняшней заметки? Англичане вынуждены будут официально и немедленно ее опровергнуть, — иначе адский скандал в палате. Они скажут, что не гарантировали и никогда не намерены гарантировать авантюру. О пяти миллионах они тоже не скажут ни

слова, и юденические кредитки будут продаваться на вес... Кто дал эту заметку? Гениальнейший ход!.. Чья здесь рука?.. Или это Москва... Или это спекуляция на валюте,— тогда это — Митька Рубинштейн. По пути к вам забежал в «Гранд-отель»,— внизу, в баре, шумят журналисты, дьявольский крик. Уверены, что заметку дал я... Представляете, как меня приняли?

Он повалился на стул, потянул скатерть, толкнул стол; расплескал молоко и закатился радостным смехом,— румяный, белозубый, отражающий стеклами очков утреннее солнце. Ардашев налил ему кофе, намазал бутерброды. Бистрем с воодушевлением стал есть.

— Большевики играют на противоречиях... В этом их основной расчет... Диалектика на фактах! Великолепно!.. Представляете,— шарады-головоломки: Ревель, Рига и Гельсингфорс добиваются самостоятельной буржуазной республики. Поэтому они против большевиков. Значит, им нужно помогать белым. Но белые страшны,— Колчак в Омске, Юденич в Ревеле и Сазонов в Политическом совещании в Париже угрюмо не желают гарантировать независимость Эстонии, Латвии и Финляндии. Французы тоже против независимости,— им нужна неразделенная, сильная Россия — угроза Германии. Но англичане за раздел России и за независимость Риги, Ревеля и Гельсингфорса; но англичане боятся немецкого влияния в Балтике, поэтому намерены захватить остров Эзель для морской базы; но рабочая партия в палате против вмешательства в русские дела,— у англичан связаны руки... Германия против самостоятельности Риги, Ревеля и Гельсингфорса, потому что тогда здесь будет база Антанты, но Германия парализована Версальским миром. Синтез: большевики, сталкивая лбами все эти противоречия, выигрывают игру... Простите, я, кажется, съел весь хлеб.

Ардашев сказал, глядя в окно:

— В прошлом году я уезжал из Петрограда, там было очень скверно. Не представляю, как они еще могут держаться.

— В Петрограде осталось всего около семисот тысяч жителей, остальные разбежались или вымерли. От голода умирает каждый двенадцатый человек... — У Бистрема расширились глаза.— Топлива нет. Город не ос-

вещается. На улицах лошадиная падаль, объединенная людьми... Я добыл эти сведения через контрразведку, подпоил одного пропащего человека. Из двухсот шестидесяти заводов работает только полсотни. Целые кварталы пустых домов с выбитыми окнами, заколоченные досками магазины. Не видно прохожих, не ходят трамваи. Город разбит на боевые участки. Власть предоставлена Комитету обороны. На заводах и по районам управляют тройки. В домах — комитеты бедноты. Все рабочие призваны к оружию. Особые отряды рабочих обыскивают город, ища оружие и съестные припасы. Над всей жизнью — идея: победить или умереть. Голод, лишения и суровость стали величием. О!.. Трагический Петроград!.. И он победит!

— Дорогой друг, все это романтично издали, — негромко сказал Ардашев. — Ну, хорошо, предположим, они победят Юденича, они победят еще десять Юденичей. Но террор когда-нибудь кончится и нужно будет восстанавливать обыкновенную жизнь, и вот тут-то на смену романтизму придут будни вместе с богатым буржуем. Одними идеями не возродишь города, и придется кланяться. Европа богата в переизбытке продукции и в поисках новых рынков. Россия — нищая, разоренная, но — широчайший рынок, которого хватит на всех. Не пройдет и года — высокий уровень перельется в низкий, Европа — в Россию, и мечтам — конец. Мне кажется, так именно и думают англичане, самые реальные из политиков.

Бистрем весь сморщился, слушая. Поднялся, заходил, потирая подбородок. Поднял палец:

— Вы упускаете: власть над политикой и экономикой в России взял рабочий класс. Этого еще не бывало в истории. Тут должны быть вскрыты новые источники творчества, новые органы политической и экономической структуры... Конечно, можно возразить: рабочий класс в России еще не готов... Не знаю... Может быть, к таким штукам совсем и не нужно готовиться... Даже и лучше неготовыми-то? А? Русские — талантливы, русские — чудовищно неожиданный народ... (Кукушка на стенных часах, выскочив из дверцы, бодренько прокуковала одиннадцать. Бистрем спохватился.) Опаздываю безумно! Надо бежать...

Задержав его руку, Ардашев спросил:

— Вы хорошо знаете такого — Хаджет Лаше?

— Темный человек.

— А какие данные?

— Черт его знает, — никаких... Если нужно — добуду.

— Что он тут делает?

— Очевидно, как большинство иностранцев в Стокгольме, — поставки на армию, продовольствие для Петрограда, спекуляция на фондах... Пойдите, пойдите... (Бистрем отложил шляпу.) Его компаньон, вот тот, что приехал с дамами из Парижа, вчера давал интервью... Какая-то у них афера с нефтью с Детердингом... Корреспонденты чрезвычайно заинтересовались, особенно американцы. Говорят, эта афера должна отразиться на международных отношениях... Хорошо. Я все узнаю подробно.

Он распахнул дверь и столкнулся с Хаджет Лаше.

— Простите, я стучал, но вы горячо разговаривали, — Хаджет Лаше церемонно поклонился Ардашеву, дружески кивнул Бистрему и сел, не снимая перчаток, поставил трость между колен. — Я вам писал, Николай Петрович, этим объясняется мое вторжение... — С улыбкой — Бистрему: — Вы собирались уходить, но вижу, намерены спросить меня о чем-то?

— Несколько слов о нефти... — Бистрем присел у двери, положив шляпу на одно колено, на другое — блокнот.

— Простите, принципиально не даю интервью никому никогда. Не обижайтесь, Бистрем, я дам вам заработать на чем-нибудь другом... (Огромные башмаки Бистрема на воощеном полу и отблескивающие очки его застыли настороженно.) Если обещаете не упоминать моего имени, приезжайте ко мне, я вам наболтаю крон на пятьдесят всякой чепухи... (Засмеялся и — Ардашеву.) Нефтью я интересуюсь, как прошлогодним снегом. Но со вчерашнего дня, видимо спутав меня с моим другом, Левантом, журналисты оборвали мой телефон: бакинская нефть, «Стандарт Ойл» и Детердинг, Деникин и большевики... Господа, я только романист, я страшно извиняюсь, что пишу плохие романы, но позвольте мне

быть чудаком и спрашивайте о нефти у моей квартирной хозяйки.

Поднявшись, кашлянув, Бистрем проговорил глухо: — Благодарю вас!.. — И, не прощаясь, вышел.

— Так наживаешь себе врагов. — Хаджет Лаше сделал безнадежный жест рукой в перчатке. — Бистрем не плохой малый, но когда-нибудь я же вправе обидеться, — журналисты упорно говорят со мной о чем угодно, только не о моих книгах. (Он засмеялся, показав сильную белую линию зубов.) Я к вам вот с каким предложением, Николай Петрович... У группы лиц возникла мысль купить «Скандинавский листок»... Вы бы не вошли в компанию?.. (Ардашев отложил сигару и насторожился.) Дело ведется плохо, денег у них нет, а хорошая, культурная русская газета, ох, как нужна... Перед иностранцами стыдно за «Скандинавский листок», — газета, надо признаться, определенно пованивает... Вы согласны со мной? (Ардашев быстро подумал: «Что за черт, дурак или провокатор?») Я немножко патриот. К тому же честолюбие, неудовлетворенное честолюбие, Николай Петрович. Ночи не сплю, — засело гвоздем, так и чудится: нижний фельетон Хаджет Лаше, — глава из романа, продолжение следует... Кстати, прошу принять мой последний труд. (Он вынул из кармана книжечку на серой скверной бумаге.) Отпечатано в Петрограде, в прошлом году. О ней хотел писать Амфитеатров, но было уже негде... Полюбопытствуйте... Я хорошо знаю Турцию, — здесь все на основании подлинных фактов... (Он положил книгу на край стола.) Подумайте над моим предложением, Николай Петрович. В городе нехорошо говорят про газету... А это больно. Говорят — там всем заворачивает какой-то инкогнито, будто бы на издание разменял несколько царских бриллиантов, за какие-то гроши загнал евреям в Гамбург чуть ли не шапку Мономаха... Вы не слышали? Нет?.. Наверное, сплетни журналистов... Даже и ваше имя приплели.

Не то почудилось, не то на самом деле — издевательское торжество просквозило вдруг в добродушных, даже глуповатых глазах гостя. Ардашев похолодел от омерзения и сделал непоправимую ошибку... Начав смахивать в кучку невидимые крошки на скатерти, сказал глуховатым голосом:

— Простите, не понимаю цели нашего разговора... Вы, видимо, плохо осведомлены: я — один из соиздателей «Скандинавского листка»... Чрезвычайно благодарен вам за критику, но оставляю за собой свободу ею воспользоваться. (Все больше сердясь.) Газета наша левая, хотите считать ее большевистской — считайте, желаете верить в царские бриллианты и шапку Мономаха — сделайте ваше одолжение, — разуверить не могу, да и нет охоты опровергать всякие пошлости... (Не на крошки на скатерти надо было ему глядеть, а на гостя в эту минуту.) На этом, думаю, можем исчерпать нашу беседу.

Теперь — встать и ледяным кивком ликвидировать неприятного гостя... Проклятая интеллигентская мягкотелость! — Ардашев не мог поднять глаз, чувствуя, что, кажется, пересолил и нагрубил. А может быть, гость просто неудачно выразился и сам, наверное, смущен до крайности?

Гость молчал. Угнетающе не шевелился на стуле. Ардашеву видны были только острые носки его лакированных туфель — на правый носок села муха. Хаджет Лаше проговорил тихо:

— Вы меня не изволили понять, Николай Петрович... Если я и выразился резко о «Скандинавском листке», то не за левизну. Идя сюда, я чувствовал себя связанным, это правда. Вы открываете карты, — тем лучше, я могу говорить искренне. Мы единомышленники, Николай Петрович... (Ардашев поднял глаза, — Хаджет Лаше, округло разводя руками, говорил с подкупающим добродушием.) Возьмите Анатоля Франса. Открыто объявил себя большевиком. А как же иначе должен смотреть подлинный культурный европеец на акты величественной трагедии, которые развертывает перед ним русская революция? На вилле «Саид» я застал Анатоля Франса у камина в беседе с Шарлем Раппопортом. Первое, что спросил Франс: «Друг мой, вы видели Ленина?» Я ответил: «Да...» Франс указал мне место у камина: «У этого огня сегодня беседуют только о героических событиях». Короче говоря, Николай Петрович, мой резкий отзыв вызван вот чем: в «Скандинавском листке» помещена заметка об английской гарантии юденических денег. Теперь я верю, это простой промах редакции, —

заметка желтая и помещена Митькой Рубинштейном. Вы знаете, что он играет на понижении курсов?

Все еще сердясь, Ардашев ответил глухим голосом:

— От кого бы она ни исходила, заметка полезная... Пускай Рубинштейн спекулирует, тем лучше: Юденич на творит меньше зла с дутой валютой.

— Bravo!.. Это по-большевистски... Так газета намерена валить юденические деньги? Это смело. Я аплодирую. Я все-таки не оставляю мысли стать ближе к газете. Хотелось бы застраховать газету от случайностей гражданской войны... Представьте, падет Петроград? Подумайте над моим предложением. Я располагаю ста пятьюдесятью тысячами франков, — это реальнее, чем шапка Мономаха. Правда?

— Из этого ничего не выйдет, Хаджет Лаше. Газета издается на деньги частных лиц, но распоряжается ею редакционный совет.

— Они меня должны знать.

— Кто они?

— Редакционный совет.

Ардашев подумал, поджав губы.

— Простите, Хаджет Лаше, я не могу раскрыть конспирации и даю честное слово, что и сам очень слабо посвящен в эти тайны...

— Ну, на нет и суда нет...

Хаджет Лаше поднялся, взял шляпу, взглянул исподлобья и потер нос набалдашником палки.

— Еще просьба, Николай Петрович. Ко мне в Баль Станэс приехал интимнейший друг, княгиня Чувашева. У нее идея создать маленький культурный центр. Мы бы очень просили — не отказать пожаловать.

Ардашев поблагодарил, — отказать было совсем уж неудобно. Проводил гостя до прихожей. Там Хаджет Лаше начал восхищаться цветными гравюрами. Заговорил о гравюрах, о книгах. Ардашев не утерпел, пригласил гостя в кабинет — похвастаться инкунабулами: ¹ двенадцать, великолепной сохранности, инкунабул он вывез из Петрограда.

¹ И н к у н а б у л а — первопечатная книга XV столетия.

— Ну, как вы думаете, сколько я за них заплатил?

— Право, — теряюсь...

— Ну, примерно?.. Даю честное слово: две пары брюк, байковую куртку и фунт ситнику... (Ардашев самодовольно засмеялся высоким хохотком.) Приносит солдат в мешке книжки... Я — через дверную цепочку: «Не надо». — «Возьми, пожалуйста, гражданин буржуй, — третий день не жрамши». И лицо действительно голодное... «Где украл?» — спрашиваю. «Ей-богу, нашел в пустом доме на чердаке...» И просовывает в дверную щель вот эту книжку, — в глазах потемнело: 1451 год... В Париже, только что, на аукционе инкунабула куда худшей сохранности прошла за тридцать пять тысяч франков.

— Ай-ай, — повторил Хаджет Лаше. — Какие сокровища!

Ардашев выбрал из связки ключей на брючной цепочке бронзовый ключик и, отомкнув бюро, выдвинул средний ящик:

— Вы, вижу, знаток... — Он вытащил большую серую папку и, ломая ноготь, развязывал завязку.

Хаджет Лаше, стоявший за его спиной, сказал медленно:

— Вы не боитесь хранить дома ценности?

— Никогда ничего не сдаю в сейф. Вы что — смотрите, где запрятана у меня шапка Мономаха?

Хаджет Лаше, не отвечая, пристально, неподвижно глядел ему в глаза... Когда лицо его задвигалось, Ардашев понял, в чем странность этого лица: живая маска! Будто другое, настоящее лицо движением бровей, всех мускулов силится освободиться от нее... И, поняв, он почувствовал даже расположение к этому странному, некрасивому и, кажется, умному и утонченному человеку. Крутя цепочкой, наклонился вместе с гостем над раскрытой папкой. Хаджет Лаше взял один из цветных гравированных листов, поднял высоко, повертел и так и этак:

— Могу вас поздравить, Николай Петрович. Это подлинный, чрезвычайно редкостный Ренар, — чудная сохранность. Сколько заплатили?

— Пять стаканов манной крупы.

— Анекдот!.. В коллекции лорда Биконсфильда имеется второй экземпляр этой гравюры. Третьего в при-

роде не существует. Антикварам было известно, что этот лист где-то в России, но его считали пропавшим. Гравюра стоит не меньше двух с половиной тысяч фунтов.

Ардашев был в полном восхищении от гостя. Уходя, Хаджет Лаше повторил приглашение в Баль Станэс.

34

Дом в Баль Станэсе одиноко стоял на травянистой лужайке, на берегу озера. Кругом на холмах расцвечивался осенней желтизной березовый лес, мрачными конусами поднимались ели. Дом был бревенчатый, с огромной, высокой черепичной кровлей, с мелкими стеклами в длинных окнах, с углами, увитыми диким виноградом. От города всего двадцать минут на автомобиле, но — глушь, безлюдье.

Хаджет Лаше жил здесь один в нижнем этаже, в комнате с отдельным выходом, — окнами на просеку, где проходила шоссейная дорога. Приехавших поразила пустыньность и запущенность дома. Прислуги не оказалось — ни горничной, ни кухарки, ни дворника. Повсюду — непроветренный запах сигар и мышеедины. На портьерах, на мебели — пыль, в каминах — кучи мусора, окурков, пустых бутылок.

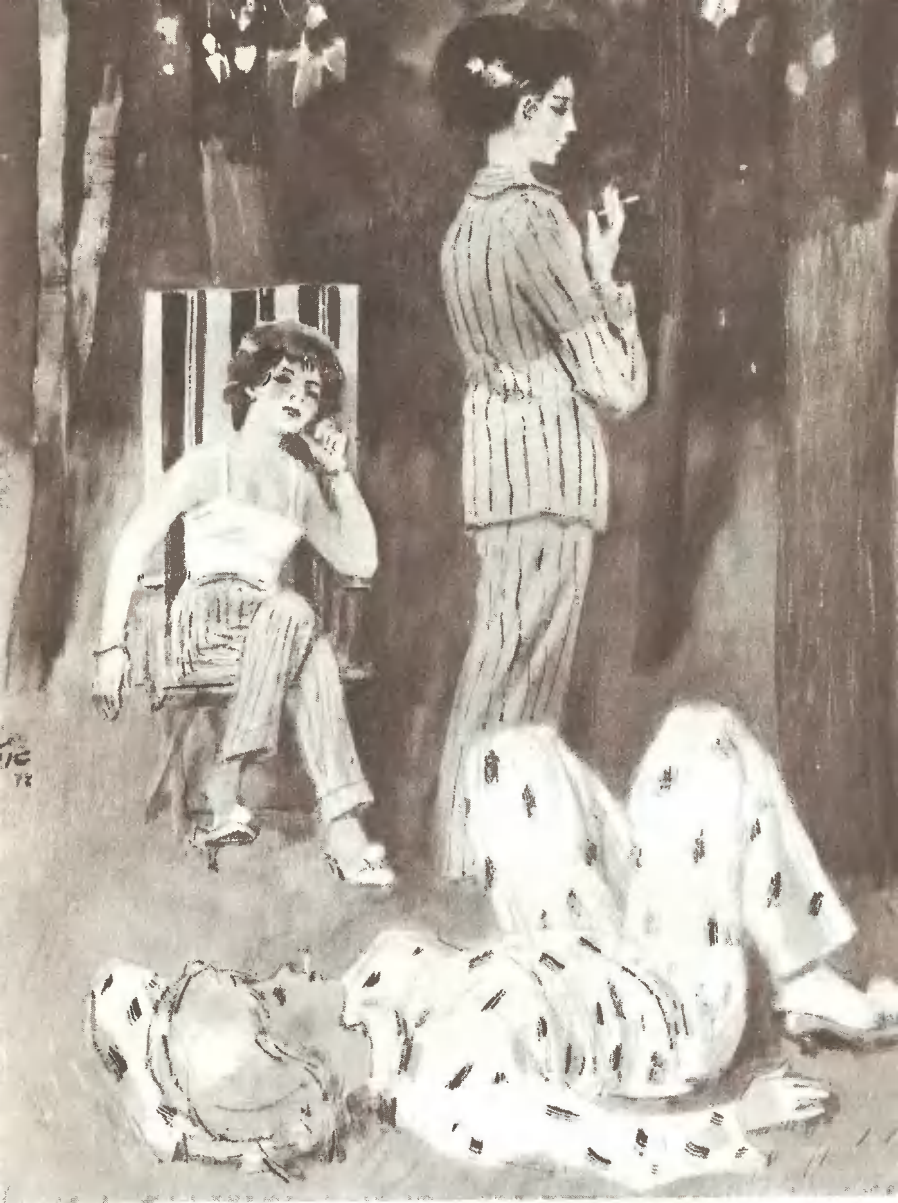
Когда чемоданы были внесены и автомобили уехали, Лили присела на подоконник и горько заплакала. Вера Юрьевна, — кулаки в карманах жакета, — ходила из комнаты в комнату.

— Послушайте, Хаджет Лаше, неужели вы предполагаете, что мы станем жить в этом сарае? Для какого черта вам понадобилось привезти нас сюда?

— Поговорим, — сказал Хаджет Лаше и сел на пыльный репсовый диван. — Присядьте, дорогая.

Вера Юрьевна двинула бровями и, не вынимая рук из карманов, решительно села рядом. Здесь, во втором этаже, был так называемый музыкальный салон, — с окном на озеро; стены и потолки отделаны лакированной сосной; кирпичный очаг с маской Бетховена; рояль; на стенах — криво висящие картины северных художников.

— Поговорим, Вера Юрьевна... Вам нечего объяснять, что привезены вы сюда не для развлечений. Дом



«ЭМИГРАНТЫ»



«ЭМИГРАНТЫ»

этот снят также не для безмятежного занятия летним и зимним спортом. После константинопольских походов вы достаточно отдохнули в Севре, здесь вы будете работать.

— Знаете что, Хаджет Лаше, чтобы животное хорошо работало, за ним нужно хорошо ухаживать и держать в чистоте... Так что с самого начала я ставлю требование...

— Требование?.. — угрожающе переспросил Хаджет Лаше и невеселыми глазами внимательно осмотрел Веру Юрьевну, будто измерявая опасные возможности этой темной души. — Так, так... Чтобы требовать — нужна сила... Сомневаюсь — есть ли у вас что-либо, кроме нахальства.

Вера Юрьевна подумала и — с изящной улыбкой:

— Кроме нахальства — прочная ненависть и зрелое желание мстить.

Хаджет Лаше брезгливо поморщился.

— Мало... И — не страшно...

— Как сказать... Во всяком случае, у меня достаточно безразличия ко всему дальнейшему, вплоть до тюрьмы и веревки.

— Угрожаете?

— Да. Определенно угрожаю.

— Стало быть, предлагаете мне быть осторожным?

— Очень...

— Не пощадите себя, если довести вас до аффекта?

— До аффекта!.. Ой! Ой!.. В ваших романах, что ли, так выражаются роковые женщины?.. (Добилась — у Лаше сузились глаза злобой.) Говоря нелитературно, — могу быть опасна, если меня довести до выбора: жить в вашей грязи или не жить совсем.

— Мысль формулирована четко.

— Дарю вам для записной книжечки.

Молчание... У него опущены глаза, кривая усмешка. У нее лицо как у восковой куклы. В пыльное стекло уныло бьется большая муха.

— Курите, Вера Юрьевна?

— Да.

Он медленно полез в задний брючный карман и с этим движением поднял глаза, вдруг усмехнулся всеми зубами. Но у нее ничего не дрогнуло. Задержав руку в

кармане, вынул плоскую золотую папиросочницу, — предложил.

— Как видите, всего-навсего — портсигар.

— Да я и не сомневалась, что не револьвер.

— Ах, не сомневались?

Закурили... Вера Юрьевна положила ногу на ногу, — курила, упершись локтем в колено. Он посматривал на нее искоса... Затянулся несколько раз.

— Вера Юрьевна...

— Да, слушаю.

— Во-первых, не верю в ваше безразличие, — вы женщина жадная и комфортабельная.

— Наконец-то догадались.

— Само собой, кроме этого, имеется психологическая надстройка.

— Вот тут-то вы и собьетесь, плохой романист.

— Признаю, вы нащупали у меня уязвимое место... Но ведь и мышь кусает за палец... Ну, хорошо, — вы требуете, чтобы жизнь в Баль Станэсе обставить пристойно... Завтра придут люди, выколотят пыль, дом приведем в относительный порядок, привезу из Стокгольма кухонную посуду, ночные горшки и так далее... Удовлетворены? Видите, в мелочах я уступаю... Но поговорим о крупном. (Он надвинул брови, изрытое лицо потемнело.) Когда вы были в Петрограде княгиней Чувашевой, сидели в особняке на Сергиевской, кушали торты и ананасы... (Вера Юрьевна засмеялась, он сопнул, раздул ноздри.) Ананасы и торты... Тогда можно было поверить в ваши роковые страсти и даже отступить, скажем, такому пугливому человеку, как я... А сейчас... Уж простите за натурализм, — как поперли вас из особняка в одной рубашонке, как пошли вы бродить по матросским притонам: оказались вы, утонченная-то, с психологической надстройкой, хуже самой распоследней стервы...

— Здорово запущено! — громко, весело сказала Вера Юрьевна.

— Понимаю, — числите за собой в психологическом активе константинопольский случай... (Вера Юрьевна подняла брови, розовым ногтем мизинца сбросила пепел с папиросы.) Вот вы и сами сознаете, что константинопольский случай произошел, так сказать, с разбегу от

неразвешенных иллюзий. Теперь-то вы его уже не повторите...

— Да! — сказала она твердо. — Того не повторить... Я была на тысячу лет моложе. Знаете, Хаджет Лаше, — искренне, — я люблю себя той константинопольской проституткой... В последнем счете — не все ли равно: сумасшедшее страдание или сумасшедшее счастье... Мы любим только наши страсти. Женщины любят боль. А ужасает — мертвое сердце. Если перед казнью мне обещают минуту чудного волнения, днем и ночью буду думать об этой минуте и, конечно, предпочту ее всей жизни. Вот как, писатель...

Лицо ее порозовело, голос вздрагивал. Но так же — острый локоть на колене, лишь вся подалась вперед с каким-то увлечением. Хаджет Лаше посматривал, — любопытная баба! Действительно — не узнать ее после Константинополя, когда, полоумную, страшную, неистовую, он спас ее от полиции и передал на руки Леванту. С тех пор впервые разговаривали «по душам». Казалось, что он сейчас же покончит с ее строптивостью, но баба была сложнее, чем он ждал. Хотя — тем полезнее для дела, лишь бы обуздать. Он следил с осторожностью за ходом ее мысли.

— С психологической надстройкой вы, по-моему, просыпались, Хаджет Лаше... Людей, просто, по-собачьему ползущих за куском хлеба, в природе нет, мой дорогой... Подползет к вашим лакированным туфлям такой сложный мир страстей, такая задавленная ненависть, — понять — задохнетесь от ужаса... Делаете крупнейшую ошибку: профессиональному аферисту, как вы, надо прежде всего быть психологом. Тем более при вашей двойной профессии. (Кивнула ему дружеской гримаской.) Так вот, в особняке на Сергиевской я была нераскрытым бутонem. Безделье, роскошь, покой, не страсти, а щекотка, и — дымка иллюзий... А психологическая надстройка появилась уже после Константинополя... И от этого груза с удовольствием бы освободилась. Кстати, для чего вам тогда понадобилось вытащить меня из притона, спасти от полиции? Искали, что ли, подходящий товар?

— Отчасти искал подходящий товар, отчасти — вдохновение: глаза ваши понравились.

— Глаза,— задумчиво повторила Вера Юрьевна,— да, глаза... Я многого не могу припомнить... В памяти — провалы... Точно я минутами слепла...

— Всегда так бывает — в первый раз. Откуда у вас тогда завелся нож?

— Подарил один матрос... От ножа все тогда и пошло... Ах, какая глупость! (Прямая спина ее вздрогнула.)

— Теперь вооружены лучше?

— О, будьте покойны.

— Как же все-таки это случилось, почему именно этого грека? Ограбить, что ли, хотели?

— Не знаю... Нет... просто оказался противнее других... чего-то все добивался, какой-то последней мерзости... Должно быть, за многословие, за жестикуляцию, за какую-то вонь бараньим салом... Когда заснул, понимаете, как счастливый баранчик,— меня и толкнуло...

— Как баранчика, от уха до уха!.. (Она опустила голову, уронила руку с колена.) Еще деталь, Вера Юрьевна,— наверное, не помните: вы это сделали и начали пятиться и все время будто совали озябшие руки в несуществующие карманчики, а были-то совершенно голая. (Стремительным движением Вера Юрьевна поднялась, отошла к окну.) Я за стеной по звукам понял, что — веселенькое дело... Приподнял ковер, гляжу, потом и совсем вошел и — поразило: глаза! Да, жалко, я не живописец... Помните, как я вам приказал одеться?.. Между прочим, под именем Розы Гершельман вас и сейчас разыскивает полиция...

Вера Юрьевна неподвижно стояла в окне,— вытянутая, тонкая, с широкими плечами... Только по движению юбки Хаджет Лаше понял, что у нее дрожат ноги.

— Хоть в ту пору у меня определенных планов не было, но вы сами уже были план, дорогой случай. Кровно связаться с человеком — дело сложное,— большие деньги дают за такого сотрудника... Теперь, когда планы созрели, согласитесь — глупо нам не договориться. Признаю — начало было не тонкое. Ну, хорошо, вы поставили свои условия. я поставлю свои. Но уже идти в дело слепо и без психологии. Ладно? А? Ножки-то дрожат? Ай-ай! Мне один военный рассказывал: бреется он однажды утром, на фронте, а солдатишки приводят еврея,

шпиона поймали... Ну, велел повесить, а сам бреет другую щеку, глядит в окно, — еврей висит, в котелке, ноги длинющие... История будничная?.. Так нет, — прошло сколько уже времени... Только он — бриться, — висит еврей, а такое уныние, ничем не отвязаться от этой памяти... А совсем как будто заурядный человек...

Вера Юрьевна вернулась на диван, взяла из портсигара папироску.

— Пример неудачный... Против себя рассказали... (Зажгла спичку.) Связь кровью — пошлейшая бульварщина... Константинопольские воспоминания взволновали меня, но — запомните! — в последний раз... А вы, Хаджет Лаше... (закурила) просто не импонируете мне ни как мужчина, ни как собеседник. Очевидно, вы не имели дела с интересными женщинами... Но это не важно... Мои требования: комфорт, свобода бесконтрольная и никакого общения между нами, кроме делового... Я — верна, я — хороший товарищ, если сказала — да, то — да... Излагайте ваши требования...

— Вера Юрьевна, во-первых, то, что скажу, — тайна, даже от Леванта.

— Хорошо.

Хаджет Лаше прислушался к голосам внизу и, пройдя на цыпочках через комнату, закрыл дверь...

35

Мари, Лили и Налымов продолжали сидеть внизу, в столовой, среди нераскрытых чемоданов. Здесь было то же запустение. Засиженные мухами окна, паутина. На непокрытом столе — грязные стаканы, пустые бутылки, остатки еды на бумажках. Наверху невнятно гудел голос Хаджет Лаше... Тоска — хуже, чем на разбитом вокзале в ожидании эвакуации.

— Пять стульев у стола, пять рюмок, — похоже, здесь было деловое заседание, — сказал Налымов. — Чрезвычайное изобилие окурков... Дети мои, похоже, — здесь хаза...

Лили опять всхлипнула. У Мари концы красивых бровей полезли вверх по вертикальной морщинке...

— Логично мы должны докатиться до бандитизма...

Всякая идея, деточки, создает свою мораль. Священная собственность, честность, неприкосновенность личности — расстреляны пушками. Буржуа, ограбленный вчистую, галдит о революции, Версальский мир узаконил массовый грабеж, сверхпроцентный, грандиозный, небоскребный... Таскать бумажники в трамвае нехорошо только потому, что это не предусмотрено в Версале. Но если сразу вытащить семьдесят пять миллионов бумажников, по три тысячи долларов в каждом, то это уже не воровство, а репарации. Большие цифры — первый закон новой морали. В данном случае, я надеюсь, — наш друг Хаджет Лаше ставит дело широко, в контакте с версальской политикой, и в Баль Станэсе не станут пачкать совесть на мелочах.

Покуривая на чемодане, Налымов развивал разные философские теории. Его не слушали. Наконец голоса наверху затихли. Налымов оборвал на полуслове. Хлопнула дверь. Неверные шаги. Вошла Вера Юрьевна, устало села у стола.

— Лаше пошел вызывать по телефону машину. Поедет в поселок и привезет женщин — убирать дом. Ужин будет горячий...

Мари, вглядываясь в нее, спросила резко:

— О чем говорили? Почему у тебя физиономия перекосенная?

Не отвечая, Вера Юрьевна прикрыла ладонью глаза. Все трое глядели на ее слабую худую руку, туго охваченную у запястья черным рукавом. Лили всхлипнула, бросилась к Вере Юрьевне, обхватила изо всей силы:

— Что случилось, что случилось?

Вера Юрьевна подняла, опустила плечи. Сильно сжав глаза, отняла руку, сказала:

— Вот что, Василий Алексеевич, уезжайте-ка вы отсюда. Левант на днях возвращается в Париж, — вы поезжайте с ним... (Вдруг сердито затрясла головой.) Не хочу вас здесь... Не хочу ваших шуточек... Все шуточки!.. Ничего шуточками не прикроешь... Трусость! Пошлость!.. Пусть — ночь, пусть — мрак, пусть — ужас, пусть — трагедия... (Станным, не своим голосом.) Пусть ледяная ночь, безнадежность... К черту шуточки!..

Она опустила голову. Все глядели на Веру Юрьевну. У Лили начали стучать зубы от страха.

— Он будет говорить с вами, с каждой отдельно,— резко сказала Вера Юрьевна.— Можете вы понять, наконец, что у меня истерика!..

Она упала на стол — лицом в руки, схватила себя за волосы. Ступни ног повернулись носками внутрь. Лили осторожно отошла. Мари, чиркнув спичкой, не закурила, спичка догорела до ногтей. Налымов с усилием тащил пробку, не откупорив, поставил бутылку с коньяком, пошел на цыпочках на кухню, принес стакан воды:

— Отхлебни, Вера...

Она локтем отстранила стакан.

— Летим на дно водоворота... Тени какие-то ночные. Разве мы живем? Только вопль человеческий, а самого человека давно нет... Эмигранты, шелуха! Лаше мне сказал — мы здесь, чтобы бороться с большевиками террором. (Мари тихо свистнула.) Сказал — вам бы хотелось сидеть в Париже, ждать, когда союзники возьмут Петроград, и вернуться на готовое. Союзные державы предлагают самим русским идти в авангарде... Авангард: Лилька, Мари, Вася!.. Мы должны шпионить, провоцировать, заманивать, отравлять, душить — кого укажут... Говорил о великой белой идее!.. Железный авангард: три проститутки и спившийся кот... Но — не важно, — за нами стоят союзники, великие цивилизации... Для грязной работы посылают нас. Оказывается, — в первый же день приезда мы, три женщины, были включены в «Лигу борьбы за восстановление Российской империи...» Завтра даем клятву... Нарушение клятвы, выход из Лиги карается смертью... Василий Алексеевич, прошу тебя — уезжай сегодня же...

Серовато-мутными глазами Василий Алексеевич тускло глядел на Веру Юрьевну, стоял, опустив по-военному руки, очень серьезный, даже важный.

— Никак нет, в Лигу я не запишусь, Вера Юрьевна. Не по чему иному, как потому, что не желаю одним волоском пожертвовать для европейской цивилизации. С большевиками тоже бороться не стану, большевиков боюсь. Будет время, когда от них ни на какой остров не скроешься, и это будет скорее, чем думают. Но при всем том из Баль Станэса не уеду, Вера Юрьевна, никак нет...

— ...В сегодняшнем заседании, кроме членов Лиги, присутствуют уважаемые гости, а также кандидаты в Лигу... Разрешите огласить повестку дня. «Первое: прине- сение кандидатами торжественной присяги. Второе: ог- лашение письма генерала Сметанникова к стокгольм- скому атташе Американских Соединенных Штатов. Тре- тье: текущие дела и дальнейший план работы»...

Хаджет Лаше снял черепаховое пенсне и оглянул собрание. За раздвинутым обеденным столом, в кварти- ре, занимаемой генерал-майором Гиссером, сидело сем- надцать человек. Направо от председательствующего Ла- ше играл карандашом граф де Мерси. Налево сидел, как бы отсутствуя, маленький, сухой, востроносый аме- риканец — адъютант атташе США. Напротив блестел сальной лысиной генерал-майор Гиссер, с отечным живото- м и пыльной растительностью на лице. В восемна- дцатом году военный комиссариат РСФСР почему-то поверил в офицерскую честь Гиссера и послал его во- енным агентом в Швецию; некоторое время он отправ- лял из Стокгольма с курьером в Питер пачки газет- ных вырезок, покуда не удалось выписать к себе жену, дочь и сына; после этого он счел свои моральные обя- занности исчерпанными. Теперь — сильно нуждался в деньгах.

По сторонам сидели: рыжебородый Эттингер, рос- лый, со вздернутым носом, со шрамом через всю ще- ку — поручик Биттенбиндер и женственный, элегантный, с залысым лбом — лейтенант Извольский. На одном кон- це стола — у раскрытого окна — четверо рослых, молоч- но-румяных шведских офицеров; на другом — датчанин коммерсант Вольдемар Ларсен, Александр Левант и три дамы — Вера, Мари и Лили. Налымов — бочком на сту- ле позади них.

— Господа, создатель Лиги и почетный ее председа- тель генерал Сметанников находится в настоящее время в России, где с опасностью для жизни производит рабо- ту по укомплектованию сил для борьбы изнутри. Мне поручено вести работу Лиги на периферии. Угодно вам считать меня заместителем председателя? (Голос Бит- тенбиндера: «Просим, просим!..» Несколько хлопков...)

Благодарю за честь. Господа, предлагаю считать заседание открытым, приступим к принесению присяги.

Хаджет Лаше перегнулся через стол к Извольскому и указал глазами на угол комнаты. Там, на круглом столике, стоял закрытый крепом портрет в плюшевой рамке, убранный хвоей и живыми цветами. Извольский и поручик Биттенбиндер по-военному ловко вскочили, выдвинули столик с портретом на середину комнаты и лихо стали по сторонам на карауле.

Лаше, опять вздев пенсне, вынул листочек, строго через стекла взглянул на дам и предложил подойти к столику. Вера — хмуро, Лили — растерянно, Мари — снисходительно усмехаясь — поднялись и стали перед портретом. Члены Лиги также поднялись. Иностранцы перешепнулись и остались сидеть.

— Вступающие в священную Лигу борьбы за восстановление Российской империи: княгиня Вера Юрьевна Чувашева, Елизавета Николаевна Степанова, дочь зверски замученного генерал-майора Николая Александровича Степанова, и Марья Михайловна Лещенко, урожденная Скоропадская, повторяйте за мной слова присяги... Памятуйте, что под этим траурным крепом — символ спасения и величия нашей родины... — Он поправил пенсне и стал читать по бумажке отдельным, торжественным голосом: — «Я прочел и одобрил предложенный мне для подписи текст присяги. Я подписал ее, вполне сознавая всю ответственность за нарушение ее. Всею моею жизнью, всеми моими помышлениями, с радостью вступаю я в организованную по-военному группу и клянусь до последнего издыхания служить отечеству, не думая о вознаграждении или личных преимуществах. Если я вольно или невольно изменю святому делу, я тем самым себя осуждаю на смерть...»

Вера Юрьевна, Елизавета Николаевна и Марья Михайловна пробормотали вслед за Лаше слова присяги. Поручик Биттенбиндер, быстро наклонившись, приподнял конец креповой ленты:

— Целуйте, медам...

Клятва была принесена. Дамы вернулись к столу. Члены Лиги сели. Лаше с мягкой улыбкой — Налымову:

— Мы никого не принуждаем вступать в Лигу. Дело спасения родины — дело совести. Но позвольте еще раз

повторить вам — патриоту, дворянину, офицеру императорской гвардии — наше горячее желание — видеть командира серебряной роты, подполковника Налымова, среди нас...

Вера Юрьевна за спинкой стула схватила руку Василия Алексеевича. Его красноватое, неопределенно улыбающееся лицо покивало председателю...

Хаджет Лаше нахмурился. Левант, торопливо подойдя, о чем-то зашептал ему на ухо. Генерал Гиссер и Биттенбиндер угрожающе поглядывали. Лаше кивком отпустил Леванта.

— Господа, подполковник Налымов наш друг. Его колебания не должны создавать впечатления недоверия к нему. Будем надеяться, что они скоро окончатся, и мы братски обнимем нового сочлена. Теперь позвольте огласить письмо генерала Сметанникова, подписанное также по передоверию мною, генералом Гиссером, лейтенантом Извольским и секретарем стокгольмского отделения Лиги поручиком Биттенбиндером...

Он вынул из портфеля листы плотной бумаги, благоговейно развернул, поверх пенсне с придушенным вздохом взглянул на занавешенный трауром портрет и начал читать, переводя фразу за фразой по-французски — с поклоном в сторону графа де Мерси и по-английски — с поклоном в сторону адъютанта американского атташе:

— «Стокгольм. Господину агташе США. Милостивый государь, настоящее положение в России требует немедленной военной поддержки со стороны союзников против большевиков. Так как за последние месяцы некоторые газеты во Франции, Англии и Америке предприняли поход против вмешательства, то крайне необходимо документально осветить политический характер и незаконный образ действия большевиков. В высшей степени важно, чтобы мы могли представить общественному мнению вышеуказанных стран как можно больше документов, доказывающих злодеяния этих лжесоциалистов...»

Граф де Мерси и адъютант военного атташе США переглянулись. Лаше продолжал:

— «За последние месяцы Стокгольм был центром, в который свозились все важные документы большеви-

ков, а также крупные ценности: сто двадцать семь миллионов рублей русскими кредитными билетами, два миллиона американских долларов, двести тысяч английских фунтов и четыре миллиона франков. Нам совершенно известно, что в Стокгольм привезены из Петрограда личные драгоценности семьи Романовых — императорская корона, держава и скипетр, осыпанные бриллиантами мирового значения, шапка Мономаха, бриллиант «граф Орлов» в четыреста каратов, несколько десятков пудов жемчуга и горностаевая мантия...»

Здесь Хаджет Лаше приостановился на секунду, чтобы впечатление от его сообщений глубже проникло в души присутствующих... Действительно, у членов Лиги светились глаза...

— «Упомянутые документы и ценности хранятся большевиками на трех частных квартирах в Стокгольме, местонахождение которых мы можем установить,— продолжал он.— Полковник Магомет бек Хаджет Лаше, который перенес от большевиков неслыханные нравственные и физические страдания и является человеком железной воли и энергии, предлагает достать все документы и ценности большевиков. Он готов принять на себя всю ответственность хотя бы перед публичным судом. Он имеет свою собственную организацию — стокгольмское отделение Лиги — из храбрых и вполне надежных людей, с которыми предполагается посетить упомянутые помещения и изъять у большевиков все их средства подкупа и преступной пропаганды».

Четыре шведских офицера сдвинулись головами, перешепнулись. Граф де Мерси, собрав горизонтальными морщинами лоб, разглядывал кончик карандаша. Американец плотно поджал губы.

— «Большевистская пропаганда подкапывает социальный строй всего мира. Потеря на полмиллиарда ценностей и опубликование всех их документов явились бы для большевиков бóльшим ударом, чем даже военная карательная экспедиция, и помогли бы всем странам избежать крупных затрат и пролития крови. Полковник Магомет бек Хаджет Лаше снесся по вышеуказанному делу со шведскими властями и получил заверение, что в отношении посещения квартир ему не следует опасаться каких-либо затруднений, но что Швеция, как нейтраль-

ная страна, сама не может принимать участия в осуществлении плана изъятия. Этот план Лига целиком берет на себя. При этом мы хотим совершенно ясно установить, что по изъятии документы должны попасть в руки американской миссии и от лица Америки, как мирового арбитра, обнародованы в соответствующих органах».

— Очень хорошо,— быстро сказал американец.

— «Что касается денег и ценностей, то мы хотим, чтобы они были употреблены на образование русской белой гвардии для непосредственных действий против большевиков. Все конфискованные деньги Лига, в полном сознании долга, внесет на текущий счет в любой из банков, какой укажут союзники».

— Разумно,— со сдержанным волнением проговорил генерал Гиссер.

— «Для исполнения нашего плана требуется двадцать пять тысяч крон для следующих надобностей: для найма квартир, прилегающих к вышеупомянутым помещениям; для найма дачи где-нибудь вне Стокгольма, куда свозились бы конфискованные деньги и документы; для найма автомобилей, покупки оружия, подкупа разных лиц и на слежку за большевиками. Мы берем на себя смелость обратиться непосредственно к вам, господин адъютант, в надежде, что вы окажете вышеизложенному полное внимание, ибо каждый день дорог и большевики могут покинуть Стокгольм и увезти документы и ценности».

— Следуют наши подписи,— сказал Хаджет Лаше, бросая пенсне на листки письма.— Итак, господа, мы выходим из подполья и начинаем действовать с открытым лицом. Нам нужна нравственная поддержка, нужны средства, нужна защита. Деятельность Лиги покрыта тайной для наших врагов. Перед союзниками мы не имеем тайн, притом уверены в скромности здесь присутствующих... Господа, вот краткий отчет деятельности Лиги за год... Мы получили от генерала Трепова семьдесят две тысячи крон, от принца Ольденбургского пятнадцать тысяч крон и триста тысяч думских рублей. Эти суммы целиком поступили в распоряжение генерала Сметанникова для внутренней подрывной работы в России. Далее: Лига организовала в Стокгольме бюро, куда вошли офицеры шведской королевской армии (поклон в

сторону молочно-румяных шведов), задача бюро — формировать в Скандинавии и на побережье Балтики белые отряды для борьбы против Петрограда. Наконец, господа, я должен огласить наиболее щекотливую сторону моего доклада и делаю это с сознанием нравственной правоты. Дело в том, господа (в сторону графа де Мерси и американца), что по русским полевым законам семь кадровых офицеров имеют право вынести смертный приговор государственному преступнику и привести приговор в исполнение.

— Вот как? — беспечно спросил граф де Мерси.

— Да, граф... И пусть это не покажется вам проявлением личной мести или нарушением гуманности: Лига приговорила к смерти и казнила четырех опаснейших большевиков: Якова Фейгина, Иосифа Домбровского, Самуила Либермана и Алексея Фокина, он же — Братман...¹ Совершая этот акт, Лига защищала благосостояние и покой миллионов культурных семейств, которые могли стать жертвой кровавого исступления выше-названных лжепророков... Протоколы о времени, месте и подробностях казни будут в свое время переданы в американское посольство... Господа, я кончил. Господин лейтенант, позвольте вам вручить письмо для передачи господину атташе.

Американец секунду колебался, но взял письмо и медленно засунул его в набедренный карман френча. Лаше предложил обменяться мнениями. Все головы повернулись к графу де Мерси. Тот сломал, наконец, кончик карандаша.

— Кажется, нужно, чтобы я высказался? Мои дорогие дамы и господа... Что я могу прибавить к словам энергичного Магомета бек Хаджет Лаше? Я очень живо провел сегодняшний вечер. Надеюсь, в Париже с чувством удовлетворения воспримут новеллу моего друга Хаджет Лаше.

Покинув заседание, граф де Мерси и адъютант американского атташе не спеша шли по Ваза-гатан. Прохожих было мало. Бесшумно вверх и вниз по главной ули-

¹ Имена и фамилии подлинные.

це проносились машины. Ночной ветер неприятно подувал с залива.

— Все-таки маленький городок, не правда ли? — беспечно сказал граф де Мерси.

Американец шагал, глядя под ноги, — на этот раз он заговорил:

— Как вы относитесь к сообщениям полковника Магомета бек Хаджет Лаше?

— Татарин врет процентов на семьдесят пять, — беспечно ответил граф де Мерси.

— Сегодня мне показалось, что нас втягивают в грязное дело.

— Это не совсем так, дорогой друг.

— Вы находите, что бывают дела грязнее?

— Сегодня нам демонстрировали один из участков белого фронта, снабженного не совсем обычным оружием, — только и всего. Если большевики напускают на нас всех оборванцев всего мира, мы вправе спустить на них всю человеческую сволочь. Иногда профессиональный негодяй стоит целой стрелковой бригады.

— Я предпочел бы все же стрелковую бригаду, — мрачно пробормотал лейтенант. — Американская точка зрения может казаться слишком пуританской, но с этим приходится мириться.

— О, разумеется! — Граф де Мерси сделал изящно неопределенный жест.

— Если мы коснемся устоев нравственности, единственной непоколебимой реальности. Америка в тот же день взлетит на воздух... Я бы хотел выскоблить из памяти сегодняшнюю прогулку по ту сторону морали.

— Насколько мне не изменяет память, президент Вильсон развивал подобные же взгляды на Версальской конференции. Но его не слишком горячо поддержали в Америке.

— Это наш позор! Президент выражал самые светлые стороны американского духа, наши старые традиции, создавшие Америку и американцев. История с президентом — наш позор! Война развратила людей. У нас оказалось слишком много денег. Окровавленные пожарища Европы, дешевые европейские руки, разоренная промышленность — это воистину сатанинское искушение! Ослеп-

ленные наживой, мы сами шаг за шагом втягиваемся в европейскую грязь — мы очутимся в ней по уши.

— Это ужасно,— с сочувствием сейчас же ответил граф де Мерси.

— Когда я пересекал океан, я думал, что найду Европу, искупившую свои грехи, смиренную от перенесенных несчастий... И нашел всеевропейский шабаш, торжество наглого и откровенного зла... Русская революция. Мы ждали ее, мы приветствовали освобождение России от феодальной тирании великих князей... Русские воспользовались свободой, чтобы поставить трон сатане. Русские цинично растоптали все нравственные законы. А вы пытаетесь из ведерка заливать этот адский пожар... В крестовый поход на Россию! С библейской суровостью вырвать плевелы зла! Не корпуса — миллионные армии с крестом на шлемах, с крестом на танках! Что я увидел за этот месяц в Стокгольме? Жалкую кучку беспринципных журналистов и мелкие посольские интриги... И этого полковника Магомета бек Хаджет Лаше, которому место несомненно на электрическом стуле...

Граф де Мерси весело рассмеялся, взял лейтенанта под руку.

— Я в восторге от вашей молодости и вашей принципиальности. Но все же, как вы думаете поступить с письмом Хаджет Лаше?

— Я передам письмо нашему атташе с моими комментариями.

— Если он все же найдет нужным воспользоваться некоторыми услугами Хаджет Лаше?

Лейтенант некоторое время шел молча, затем лицо его брезгливо сморщилось:

— Если бы мы были в Америке, не представляю, как бы мне могли задать подобный вопрос... Но здесь... на этих человеческих задворках!.. Если здесь возможно существование Магомета бек Хаджет Лаше, очевидно, я чего-то не понимаю... Я подчиняюсь...

— Превосходно... Вот мы и дошли... Очаровательный маленький кабачок. Вы не голодны? Зайдем. Я уже несколько дней собираюсь побеседовать с вами об одном милосердном деле: о продовольствии несчастного населения Петрограда. По-видимому, Юденич скоро осво-

бодит город, и во всю остроту встанет вопрос питания... Хотелось бы всю спекуляцию вокруг этого ввести в русло...

В старой узенькой улице на Стадене, близ корабельной стенки, при выходе из портового кабака, охотно посещаемого журналистами в поисках живописного материала, Карл Бистрем столкнулся с четырьмя рослыми румяными шведами. Они были в одинаковых светло-серых шляпах и синих пиджаках. Они загородили тротуар и, когда Бистрем сошел на мостовую, его толкнули в плечо. Он вспыльчиво обернулся, — его окружили.

— Эй вы, господин в кепке!.. Вы умышленно толкнули нашего друга... Потрудитесь извиниться.

Несмотря на свои тяжелые мужицкие кулаки, Бистрем не любил драки. Этим к тому же было четверо. Он пробурчал, насколько мог примирительно, что в сущности не он, но его толкнули. Тогда четверо заорали:

— Ага! Он еще лжет!

— Лгун и трус!

— Мало тебя били по морде!

Задыхаясь от гнева, Бистрем сказал:

— По морде меня никогда не били... Прошу дать мне дорогу...

Но его так толкнули в спину, что он едва удержался на ногах. Он торопливо стал снимать очки, пятясь к стене. Но от второго толчка вылетел на середину улицы. Уже не помня себя, размахнулся, сбил чью-то шляпу. Сейчас же в его трясущееся от ярости лицо ударили костяной рукояткой стека. Тогда он бросился вперед головой, схватил одного за мягкий живот, повалил... Рукоятки стеков замолотили по его голове, по шее, плечам.. Затрещали ребра, — его били каблуками, повторяли:

— Провокатор, шпион, большевик...

На шум выбежали матросы из кабака. Тогда эти четверо пустились бежать и в конце улицы вскочили в автомобиль. Матросы подняли окровавленного Бистрема — он сопел с закрытыми глазами. Повели в кабак. Усадили, захлопотали. Голова у него была рассечена в нескольких местах, глаз затек, губу раздуло. Ему водкой промыли раны, перевязали платками. Не разжимая

зубов, Бистрем продолжал сопеть. Через зубы ему влили стакан рому.

Один из матросов, погладив его по спине, сказал: — Будь уверен, дружище, тебя обработали за политику, мы эти дела понимаем... Дай срок, — мы расправимся с этими молодчиками. А ты — знай, стой на своем... И тебе это даже полезно, газетному писаке, — на своей шкуре узнал, что такое буржуа...

Костяные рукоятки стеков разрешили колебания Бистрема. Неделю пролежав в постели в ужасающем душевном состоянии, однажды утром, замкнутый, сосредоточенный, худой, заклеенный пластырями, с лимонным кровоподтеком на глазу, он появился в столовой у Ардашева.

— А! Бистрем, дружище!.. Ай-ай, где же это вы так?

— Это не играет теперь никакой роли, Николай Петрович. Я не буду рассказывать подробности. Я много думал и понял, что обижаться на дураков глупо... Я стал выше личной мести... Но зато я очень прочно утвердился в классовой ненависти...

За стеклами очков глаза его цвета зимнего моря были жестки. На угловатом лице — ни прежней открытости, ни добродушия.

— Вы когда-нибудь слышали о берсёркьерах, Николай Петрович? У скандинавских викингов некоторые из воинов были одержимы бешенством в бою, они сражались без щита и панциря, в одной холщовой рубашке. Их можно было убить, но не победить. За эти дни я почувствовал в себе кровь берсёркьера... Хочу просить вас, Николай Петрович, дать мне несколько рекомендательных писем в Петроград... Это пригодится на всякий случай... В дальнейшем я уже сам сговорюсь с большевиками...

— Слушайте, Бистрем, вы знаете, что ехать сейчас в Петроград совершенное безумие...

— Почему?

— Я вообще не представляю, как большевики отстают город... Юденич неминуемо возьмет Петроград и зальет кровью...

— Значит, тем более мне нужно ехать. Кое-какую пользу я, наверно, принесу.

— Там террор...

— Революция всегда на внешнюю опасность отвечает террором, это лишь подтверждает ее жизнеспособность...

— Чудак... Вы там умрете с голоду...

— Не думаю... Я уверен — когда человек приносит революции самого себя, революция дает ему хотя бы двести граммов хлеба в сутки... На большее я не рассчитываю...

— Ну, дело ваше... (Ардашев иронически поглядел на Бистрема и почесал нос.) Но слушайте, если вы попадетесь белым на границе и на вас найдут мои письма?..

— Вы напишите их на тонкой бумажке, я положу ее в капсулу и на границе возьму капсулу в рот... Вы спокойно можете мне довериться, Николай Петрович...

— Хорошо, ладно... Кому бы только написать из видных большевиков? Предупреждаю, моя рекомендация — не ахти какая... Я пощупаю, вечером приготавливаю... Давайте завтракать...

— Благодарю, Николай Петрович, я уже начал приучать себя к суровому режиму...

Ардашев засмеялся было... Но нет... Перед ним — не прежний шутник Карл Бистрем, простодушный, веселый, как солнце. Получив согласие, что письма завтра будут, Бистрем медленно поднялся со стула, сдержанно поклонился и, кажется, даже секунду колебался, подавать ли руку, или уйти из этого мира, оборвав все ниточки до последней.

В конце августа, в седьмом часу вечера, красногвардеец, рабочий Путиловского завода, Иванов, сидевший на песчаной насыпи пограничного окопа под Сестрорецком, услышал со стороны финской границы осторожный хруст веток.

Иванов вытянул за штык из окопа винтовку и сощурился, чтобы лучше слушать. Хрустело и затихало. Как будго ползком пробирался человек. Вечер был безветрен-

ный и ясный. В конце недавно поваленной артиллеристами просеки лежало оранжевое море с сизыми и красными отливами. Иванову стало не по себе в этой странной закатной тишине. Следующий пост был шагах в трехстах.

Друг не поползет от финской границы,— очевидно. Значит, надо стрелять. Ну, а вдруг их там не один, а банда? Как действовать в таком случае? Оставаться на посту до последней капли крови или, заметив приближение врага, бежать к телефонному посту донести об опасности? Революционный пограничный воинский устав еще не был написан, он целиком вытекал из сознательного понимания бойцом задач революции и, в частности, обороны цитадели пролетариата — Северной коммуны.

Не решив еще тактической задачи, Иванов неслышно соскользнул с бруствера в окоп и, прикрываясь еловой веткой, поглядывал. Ни черта среди вечерних теней в лесу не было видно. Опять хруст,— ближе. Он изготовил винтовку... Подумал и на всякий случай вытащил ноги из разбитых до последней степени и обмотанных бечевками валенок. Угрюмая ворона пролетала над просекой. Чем дальше Иванов ожидал, тем злее становилось на сердце. «Ползут, ползут проклятые гады, не могут успокоиться, что рабочий класс, разутый, раздетый, страдает за то, чтобы жить и работать справедливо».

Поправее расщепленной сосны заколебалась ветка. «Вот он!» Товарищ Иванов лег грудью на бруствер, выстрелил... Второй патрон заело. Захрустел зубами... Тотчас там за веткой чем-то замахали — и срывающийся от страха нерусский голос проговорил по-русски:

— Товарищи, не стреляйте, свой, свой!..

Ближайший пост ответил гулко, и сейчас же по всему лесу застегали винтовки.

А тот все вскрикивал: «Товарищи, не надо!..» Иванов вывел тактическое заключение, что, по-видимому, тут — один человек, угробить его никогда не поздно, а лучше взять живьем и допросить. Надрывая горло, Иванов заорал в сторону веток за расщепленной елью:

— Выходи на открытое, эй!

Ветки заворошились, и из-за хвои поднялся длинный человек, вздел руки над головой, в стеклах его очков

блеснул красный закат. Высоко поднимая ноги, зашагал к окопу. Но Иванов опять бешено:

— Не подходи ближе десяти шагов... Устав не знаешь, сволочь! Бросай оружие...

— У меня нет оружия, товарищ...

— Как нет оружия! Не шевелись...

Иванов влез на бруствер, поедая глазами длинного человека в хорошей буржуазной одежде — короткие штаны в клетку, чулки; морда, конечно, трясется со страха, а рот растянул до ушей... Шутить хочешь? Мы покажем шутки!.. Держа винтовку наизготове, Иванов подошел к нему:

— Покажь карманы...

Левой рукой ощупал, — ничего подозрительного нет. Платок, спички, коробка папирос...

— Товарищ, пожалуйста, возьмите папиросу...

— Что такое? Подкупать, — это знаешь? Положь барахло в карман... Опустит руки. Кто такой?

— Я шведский ученый... Я иду в Петроград, хочу работать с вами... Мое имя — Карл Бистрем.

— Ты один?

— Один, один.

Иванов в высшей степени подозрительно оглядывал лицо и одежду человека:

— Документы есть?

— Вот, пожалуйста...

— Ладно... Иди впереди меня... — Дойдя с ним до окопа, Иванов стал кричать ближайшему постовому: — Эй, товарищ Емельянов!.. Шпиона поймал. Звони в штаб... (И — Бистрему уже спокойно.) Обожди тут. Придет разводящий, отведет тебя в штаб, там выясним... За переход границы — ты должен знать, что полагается.

— Товарищ, но я же не мог легально.

— Ладно, выясним... Как же белофинны тебя пропустили?

— О, я два дня скрывался в лесу... Я очень голоден, товарищ...

На это Иванов только усмехнулся недобро. Бистрем с возраставшей тревогой глядел на первого встреченного им большевика, — продранное под мышками черное пальто, подпоясанное патронташем, зеленый армейский картузишко с полуоторванным козырьком, босой, сред-

него роста, невзрачный, ввалившийся, давно не бритые щеки, голодные скулы и чужие, не знающие жалости, умные глаза.

И вдруг Бистрем понял, что этот человек ничем человеческим с ним не связан. Он из другого мира. Что, перебежав границу Северной коммуны, он еще не попал туда... Что недостаточно поверить в революцию, предпочесть старому порядку этот неведомый мир (такой романтический, такой грозно трагический издали из бистремовской мансарды на Клара Кирка-гатан), но нужно что-то понять простое, совершенно ясное и простое, опрокидывающее внутри себя весь старый мир во имя неизбежного, совершенно нового. И тогда он увидит человеческий ответный взгляд в глазах этого невзрачного и голодного рабочего, чьи негнущиеся руки лежат — ладонь на ладони — на дуле винтовки.

Бистрем холодел от волнения. Стояли молча: Бистрем — засунув руки глубоко в карманы спортивных штанов, Иванов — терпеливо поджидая разводящего. Негромко, будто отвечая на мысли, Иванов сказал:

— Хоть ты не сопротивлялся и взят без оружия, но твое положение отчаянное, прямо говорю...

— У меня с собой письма, рекомендации...

— Да что же письма... От тебя на версту буржуем несет... Кто тебя знает, кто ты такой... Возиться, знаешь, теперь не время, каждый человек опасен.

— Товарищ, разве вы не можете представить, что в буржуазной Европе есть вам сочувствующие, которые хотят бороться вместе с вами?..

Иванов ответил не сразу, предостерегающе:

— Хочешь меня уговорить, чтобы я тебя отпустил, да?

— Товарищ!.. (Бистрем сказал с искренней горячностью.) Я не хочу от вас бежать... Я сам прибежал к вам...

— Это и подозрительно... И опять тебе здесь нечего делать... У нас война со всем миром..

Помолчали. Мрачнейший закат лежал на море в конце просеки. В лесу было уже совсем темно. Из-под откоса, куда спускался окоп, слышалось дыхание идущих по песку людей. Товарищ Иванов вздохнул: идут. Поднял винтовку — ложем под рваную подмышку.

— Конечно, есть среди вас совестливые, не все же огулом белобандиты,— сказал он примирительно.— Посмотреть, что ли, захотел, как мы без вас справляемся? Так, что ли? — Он поднял глаза, и они сузились насмешкой.— Не понравится тебе... Работа у нас черная, тяжелая... Это, брат ты мой, революция, не как в книжках... Читать ее трудно...

Подошли трое, в пиджаках, в куртках, перепоясанных патронташами и пулеметными лентами,— те же суровые худые лица, отрывистые голоса.

— Который? Этот? — спросил разводящий, указывая наганом на Бистрема.

Двое других стали по сторонам.

Иванов рапортовал:

— Оружия на нем не было, попытки к бегству не делал, руки поднял, идет на меня, смеется... Прямо думаю — что такое за человек? Вот письма на нем к питерским товарищам. Я с ним поговорил... Идеалист — сочувствующий...

— Вы задержаны, товарищ,— сказал разводящий.— Следуйте за нами.

Держа в опущенной руке револьвер, он пошел по песчаной насыпи вниз по откосу, за ним зашагал Бистрем,— руки в карманах,— за ним два красногвардейца...

Его привели на уединенную дачу на пустыре, с разрушенными службами и выбитыми стеклами. Заперли в одной из комнат, в нижнем этаже. Он изнемог от усталости и голода, сел на какой-то ящик. За единственным окном над догоревшим закатом зажглась звезда.

«Чего ты, собственно, ждал, Карл Бистрем? Вот ты на земле Великой Революции. Ждал, чтобы земля эта сотряслась, перед тобой бы проходили колонны великанов и небо иного цвета было, чем над Стокгольмом?»

Подпирая скулы так, что очки взлезли на лоб, он вспоминал слова товарища Иванова.

«Ты ехал на праздник, Карл Бистрем,— тебя сразу раскусили... Вот она, революция — полутемная комната на заброшенной даче, мертвая усталость и горькая слюна голода... Дырявое пальтишко на голом теле, унылый окоп, ржавая винтовка. Нет, Карл Бистрем, ты не идеа-

лист, не романтик... Ты не отступишь перед унынием революционных будней... Загляни хорошенько в самого себя,— честно, как перед смертью... Веришь в начало великого наступления Пролетариата? Веришь, что пробил первый час века Социализма?»

Бистрем встал с ящика и заходил по гнилому полу, где между щелями пробивалась трава. Будто горячее вдохновение охватило его голову. И, стараясь обуздать разбросанные мысли, он с методичностью и беспристрастием захотел еще раз проверить выводы.

«Русская революция одним взмахом зачеркивает прочное буржуазное хозяйство. Она отказывается от эволюции, она считает идею эволюции самой хитрой и опаснейшей ловушкой, расставленной, чтобы выиграть время одурманиванием пролетариата... Буржуазное хозяйство не оправится от смертельной язвы войны... Равновесие уже нарушено, и противоречия будут расти с каждым годом, как раковые опухоли. Русская революция опережает естественный процесс разложения старого порядка, этим она спасает запасы творческой энергии пролетариата. Это правильно. Мы спасаем одно, два, может быть, три поколения... На три поколения приближаем социализм и будем строить его со всем буйством неистраченных сил...»

Он потер ладонью о ладонь и только тогда заметил стоящего у дверного косяка человека в кожаной куртке, в черном картузе. На бледном — в сумерках — лице его черная борода казалась приклеенной

— Ну что же, пойдем побеседуем, Карл Бистрем,— сказал он негромко.

Он пошел вперед по темному коридору и толкнул дверь в небольшую комнату, едва освещенную огоньком фитиля, плавающего в жестянке из-под консервов. Сел у стола, указал Бистрему клеенчатое изорванное кресло:

— Осторожнее, нет одной ножки.— Слабой рукой выдвинул ящик, вынул завернутый в обрывок газеты продолговатый, в два пальца толщины, кусок черного хлеба. Протянул его Бистрему.— Ешьте... Здесь ровно двести граммов, все что революция предлагает за вашу жизнь.

Бистрем опустил руку с куском, уставился на человека: озаренное огоньком коптилки матово-бескровное лицо чахоточного, большие, без блеска, без любопытства,

черные глаза. Вся жизнь никогда не смеявшегося лица сосредоточена, казалось, в широких нервных ноздрях. Он глядел не мигая, но будто и не видя сидящего перед ним...

— Откуда вы знаете про хлеб? — со страхом спросил Бистрем.

— Вы же разговаривали вслух. Я могу повторить: «Когда человек приносит революции самого себя, революция должна дать ему хотя бы двести граммов в сутки...»

— Да, да, меня очень занимал этот вопрос... Я думал, что острые материальные лишения, неизбежные во время революции, раскрывают огромные запасы духовной энергии, дают революции специфическую, неотразимую убедительность... Но я готов оставить эти рассуждения по ту сторону границы... Сегодня я получил хороший урок...

— Вы рисковали получить урок более суровый, — сказал человек. Не разжимая рта, подавил кашель. — Вопрос питания — один из самых страшных у нас. Мы не можем утешаться тем, что у голодного человека рождаются гениальные мысли. (Щеки Бистрема залились румянцем.) С другой стороны, мы не можем снабжать население кулацким и спекулянтским хлебом... Под этим хлебом мы похороним социализм... Кусок, который вы съели, — отвратительный хлеб, пополам с так называемой кострой, но, чтобы его добыть, затрачены человеческие жизни. И все же мы не отступаем от такого дорогого хлеба... Ну, так вот... Я прочел ваши рекомендательные письма. Звонил в Петроград по поводу вас... Вы — свободны... (Бистрем сейчас же поднялся. Человек заслонил просвечивающей рукой с черными ногтями заколебавшийся огонек светильни.) До первого поезда много времени. Может быть, вы расскажете поподробнее о политической обстановке в Европе, об организациях, о людях. Позвольте вам поставить несколько вопросов... Скажите, вы не встречали в Стокгольме такого — Хаджет Лаше?

Утренний поезд тащился по заросшему травой полотну. Безлюдье и запустение, дачи с выбитыми окнами, по-

валенные заборы, фундаменты и груды кирпича... Болота, пни... Ржавые проволоки окопов... Направо — заросшая камышами Лахта, негреющее солнце над пустым заливом. Вдали — необъятный город. Ни одного дыма в прозрачном воздухе над городом. В море — синеватые очертания Кронштадта.

Бистрем думал о ночном собеседнике. (Под утро, когда они пили морковный кипяток, человек рассказал кое-что про себя.) Одиннадцать лет царской каторги. Туберкулез, видимо, в последней стадии. Жизнь — в напряжении воли. Он сказал: «Вам придется отрешиться от многого того, что еще вчера по ту сторону границы вы считали дурным или хорошим. Резко и непримиримо отделить врагов от своих: классовое чутье поддается развитию. Ум должен быть устремлен к одной цели, направлен, подчинен воле революции».

Бистрем был подавлен и испуган. Будто попал в чудовищный водоворот, и он несет его от сегодняшнего дня в неведомое — прочь от всего привычного и обыденного... Он сидел у выбитого окна. Вагон медленно полз мимо заросших бурьяном огородов. Несколько человек разбирали деревянную дачу. Как будто вымершее предместье, покосившиеся фонарные столбы. Остовы печей и дымовых труб. Белая коза на пригорке в бурьяне. Пакгаузы с сорванными дверями, на путях — ржавые паровозы, платформы с пушками. Вокзал, и на перроне — суровые люди с винтовками.

Бистрем вышел на безлюдную площадь, — окопы, заграждения из мешков и проволоки. Достал клочок бумаги с адресом Смольного и номером комнаты, где должен был зарегистрироваться, прикрепиться к комиссариату народного просвещения, как ему посоветовали сегодня ночью, и получить паек и жилплощадь. Он побрел вдоль ржавых трамвайных рельсов, скрытых под травой. Перешел Большую Невку, где из воды торчали заплесневелые ребра огромных барок.

Понемногу стали появляться обыватели. Сутулый человек с мешком и жестянкой от керосина за спиной в раздумье стоял на перекрестке — ноги обернуты кусками ковра, сваливающиеся штаны, редкая бородка, пенсне на унылом носу. Размышлял, казалось, куда идти? На солнышке между тенями от домов лежали два босых маль-

чика и худенькая девочка, кусали травинки, долго провожали взглядом не по-русски одетого Бистрема. В темном доме с колонным подъездом, высоко, в раскрытом окне, стоял, заложив руки за спину, очень полный человек в нижнем белье, в золотых очках, — круглой серебристо-седой головой и насмешливым лицом походил на римлянина. Его просторные штаны, проветриваясь для гигиены, висели на оконной задвижке. С полнокровным благодушием он глядел на город. Бистрем изумился. Полный человек, перегнувшись через подоконник, с усмешкой следил за ним.

Дойдя до конца улицы, Бистрем остановился, — эту решетку, галерею Зимнего сада и балкончик во втором этаже он узнал по фотографиям. Отсюда Ленин поднял революцию. Присев под липой напротив в сквере, Бистрем глядел на этот дом из глазированных кирпичей, на огромную, доходящую пустырями до реки, Троицкую площадь с ветхой деревянной церковью, на низенький дощатый купол цирка, на серые башенки и гранитные бастионы крепости. Тишина, лишь в сквере шелестели липы.

Отдохнув, Бистрем направился через Троицкий мост, укрепленный предмостными окопами. Отсюда ему открылась широкая, лазурно сверкающая в тот час Нева. Вдали отражались белые колонны Биржи, старые ивы у подножья крепости. Течением мягко разбивался золотой отсвет иглы Петропавловского собора. На левой стороне тянулись колоннады опустевших дворцов.

Величественный, прекраснейший из мировых городов, казалось, задремал на берегах полноводной реки, на грани двух миров, двух эпох, отдыхая от пронесшихся бурь, от видений прошлого, окаменевшего в этих колоннадах, в бронзовых львах, вечно улыбающихся сфинксах, в черном ангеле на яблоке Петропавловского шпиля, и сквозь дремоту ожидая новых, еще неведомых потрясений, чтобы раскрыть гранитные глаза на вторую жизнь.

Бистрем, облокотясь о перила, поддался неизбежному очарованию Петербурга.

По мосту двигалась странная толпа. По двое, по трое в ряд: дамы в старомодных шляпках, истрепанных непогодой, иные в необычайной одежде, сшитой из портьер

и диванных обивок; длинноволосые люди с истощенными комнатными лицами, иные — бритые, круглощечные, с остатками щегольства в одежде — напоминали поставщиков и спекулянтов вре́мен войны; глядя поверх опустошенными глазами, шагало несколько рослых стариков с породистыми презрительно-удивленными лицами; молодые женщины — одни заплаканные, другие — с вызовом самому черту...

Все они несли лопаты, кирки и заступы. Впереди бойко шел, ухмыляясь белыми зубами, матрос с железной лопаткой на плече, — маленькая шапочка с ленточками, на загорелой груди под тельником — татуированное сердце. Поворачиваясь к толпе, он пятился и подмигивал:

— Бодрее, братишки, подтянись, антиллигенты!

Бистрем последовал в некотором отдалении за толпой. С Дворцовой площади свернул на Невский, — там на буграх илистой земли, на кучах булыжника и торцов копошились сотни людей. Поперек Невского, вдоль решетки Александровского сада, рылись окопы, строились укрепления. Подошедшая толпа медленно, поодиночке, расползлась по канавам. На перевернутой бочке агитатор, работая кулаком, выбрасывал отрывистые фразы:

— ...не отдадим белой сволочи первого города республики!.. Прихвостни мирового капитализма рассчитывают на наш голод, на затруднения с углем и металлами... Они просчитаются, товарищи... Ответим на их бешеные вылазки сплочением наших рядов... Вырвем хлеб у кулака!.. Паркетами буржуазных особняков будем топить фабричные котлы, переплавим на штыки решетки дворцов... С большевистской беспощадностью раздавим заговоры... Каленым железом отбросим от Петрограда кровавую свору белогвардейских собак... Товарищи, каждый удар лопатой — удар по гнусным замыслам контрреволюции.

Его не все слушали, — иные равнодушно продолжали копать, иные, опершись о лопату или держась обеими руками за поясницу, глядели в землю; на лицах — отвращение и страдание. Сухонькая старушка, остановившаяся около Бистрема, сказала, точно ткнула шилом:

— Сами себе могилу копают...

Бистрем шел по Невскому к Октябрьскому вокзалу. Все то же, мало ему понятное двойственное впечатление... На перекрестках улиц — окопы, блиндажи, орудия, штыки часовых. На простреленных окнах магазинов и заколоченных дверях — кричащие угловатые плакаты о борьбе, о борьбе... Подскакывая по выбитым торцам в седле мотоциклета, проносится суровый усач, весь в коже. А вереницы прохожих бредут посреди улицы медленно и рассеянно, как во сне. У каждого за спиной — мешок, жестянка, кошелка. Стоят очереди. У выходящих из распределительного пункта — в руках лавровый лист и селедка. По трамвайному пути ползет платформа с бревнами и досками. За платформой движется длинная очередь.

Подъезды иных домов оживлены, — люди входят и выходят. Бистрем читает надписи: «Народный университет»... «Академия искусств»... «Высшая школа хореографии»... «Музыкальная академия»... «Студия народной драмы»... По-видимому, — так представляется ему, — весь этот бредущий по Невскому народ занят искусствами и наукой... Но вот — музыка, сверкающие трубы: «Интернационал»... Прохожие сердито оборачиваются. Плышет шелковое пурпуровое знамя и за ним — по-особому, в полшага — неторопливо шагает отряд человек в пятьсот. По одежде — рабочие, молодые, худые, возбужденно решительные лица. Винтовки, вещевые мешки. Посреди отряда лозунг: «Опрокинем деникинские банды в Черное море».. Походная кухня, десяток молоденьких девушек в солдатских шинелях с красным крестом на рукаве, повозки с пулеметами, с поклажей.

Прошли, и снова прохожие, как во сне. Лошадиные ребра на мостовой у Гостиного двора. Расстрелянный фасад и рыжие колонны Аничкова дворца. Бронзовые кони на мосту. На углу Литейного — опять трудовая повинность буржуазии. Снова — конская падаль. Ямы провалившейся мостовой. Площадь Восстания перед вокзалом запружена ручными тележками. С криками и руганью проходит военный обоз. Отряды рабочих дожидаются посадки. По всему белесому облупленному фасаду Северной гостиницы — наискось — истрепанная непогодой кумачовая полоса: «Все, как один, на борьбу за власть Советов, за Социализм»...

Посреди площади, вокруг забрызганного грязью и лохматого от обрывков плакатов дощатого куба, прикрывающего чудовищную громаду бронзового императора, сидят и полеживают мужики, деревенские бабы. Посматривают на суету площади, на умственные надписи, на тысячи заманчивых окон многоэтажных домов.

Пришли ли эти люди для торга, или как разведчики приглядеться, не пора ли окружать обозами город, пожравший в книжном безумии царя, и господ, и купцов и теперь свирепо отталкивающий мешок с хлебом, куль картошки, телячью тушку из рук «кормильца-мужичка»? Дело ясное, — торопиться некуда, чему созреть — созреет, само упадет в руки... А покуда за стакан мучки, за шапку картошки мешочники привозили домой граммофоны, зеркала, двуспальные кровати, всякие барские пустяки... Деревенские кулаки ждали этого часа долго и желали теперь многого.

Один из мужиков, плечистый, черноволосо-кудрявый, с припухшим красным лицом, окликнул Бистрема:

— Гражданин!.. (Бойко вскочил и пальцем зацепил за часовую цепочку на пиджаке Бистрема.) Почему?

— Я не продаю.

— А то хозяйка кое-что на дорогу мне завернула, уступил бы...

Из-под мышки взял сверток в тряпице, сокрушаясь о явной потере, осторожно развернул, — четверть краюхи хорошего хлеба, два каленых яйца, луковица.

— Чапоцка мне и не нужна, так-то уж говорить, да вижу — добрый человек, отчего не выручить... На, получай все, бог с тобой...

Голодной слюной наполнился рот у Бистрема, в голове помутилось от тошноты. Отстегнул цепочку. Взял хлеб, яйца, луковицу...

— Постой, а может, часы продашь?.. Тута у меня (понижив голос) на одной квартире поросенок полугодовалый...

Не отвечая, Бистрем пошел прочь. Мужик — за ним. Уговаривая, схватил за плечо. Бистрем — с гневом:

— Послушайте, вы пользуетесь моим голодом, вы дурной человек, вы спекулянт...

В часы досуга главнокомандующий белой северо-западной армии, наступавшей на Петроград, генерал Юденич для упражнения читал своей жене вслух по-французски.

Читал он не слишком бойко — всего полгода назад взялся за изучение языков. Читал обычно, сидя у окна (в серой тужурке и ночных туфлях), держа на отлете перед строгими глазами желтенький томик «Клодина в Париже». Генеральша за ширмой разогревала на керосинке тушеную капусту. Супруги Юденич были не скупы, но мудры, — они трезво сознавали, что их жизнь в Ревеле — не жизнь, но случайный этап, что политика и война превратны, и умный, желая стать хозяином превратностей, должен терпеливо подкопить нешатаящиеся от всяких революций ценности, доллары, золото.

Генерал, запинаясь, строго читал:

— «Фиалковые глаза Клодины смеялись, и крошечные розовые соски на двух прелестных выпуклостях, просвечивающих под ароматным батистом сорочки...»

За ширмой генеральша перебила:

— Совсем не так... Грудь, женская грудь, будет не «сан», а «эс!» — «и», — «эн», причем «и» почти не слышно, — «с'н»... Тебя не поймет ни одна француженка...

В голосе генеральши послышалось раздражение. Генерал повторил вполголоса:

— Грудь — «с'н», грудь — «с'н»... — Затем вздохнул, как человек, взобравшийся на холм.

В дверь постучали. Вошел свежий, улыбающийся, в английском ловком френче, адъютант — барон фон Мекк.

— Ваше высокопревосходительство, из Стокгольма — миссия полковника Магомета бек Хаджет Лаше... Он хотел бы...

— А! Знаю — Лаше...

— Может быть, вы изволите принять за просто?..

— А? Да, да... Только, голубчик, дайте-ка мне из-за ширмы штиблеты...

Генерал закрыл томик «Клодина в Париже», не спеша натянул старые, еще петербургской постройки, зеркально вычищенные башмаки на резинках и, заложив руки за спину, прошелся по комнате.

Фон Мекк ввел полковника Хаджет Лаше. Генерал полуофициально предложил ему занять место на голубого шелка диванчике. Сам опустился коротким туловищем в кресло,— плечи поднялись, небольшая голова с волосами ежиком ушла в плечи, и огромные подушники величественно легли на широкие без звездочек погоны с зигзагами.

— Чем могу служить, полковник?

— Ваше высокопревосходительство, я говорю от имени Лиги спасения России...

— Знаю, наслышан, весьма одобряю вашу патриотическую деятельность, голубчик...

— Ваше высокопревосходительство, когда вы рассчитываете взять Петроград?

Седоватые подушники сдержанной усмешкой шевельнулись по золотым погонам. Касаясь пальцами пальцев, опустив покачивающуюся голову, Юденич ответил:

— Когда поможет бог, полковник, когда поможет бог...

— Ваше высокопревосходительство, Лига берет на себя смелость поставить вас в известность, что огромное количество национальных ценностей может бесследно ускользнуть от вас... Большевики лихорадочно перевозят из Петрограда на территорию Швеции, как нейтральной страны, валюту, золото, камни... По нашим сведениям, на трех частных квартирах в Стокгольме спрятано ими свыше полумиллиарда...

Подушники замерли, генерал, казалось, перестал дышать. Затем голова его начала подниматься, и немигающие глаза, как два зенитных орудия, уперлись в полковника Лаше:

— Потрудитесь объяснить подробнее...

Хаджет Лаше рассказал о деятельности Лиги, подчеркнул участие шведской гвардии и представил обширный список добровольцев, вступивших в Лигу (это был лист, заполненный в Берлине в гостинице «Адлон»). Генерал нашел в списке много знакомых имен, немало боевых товарищей,— иных он считал давно погибшими от руки большевиков. Читая, засопел.

Хаджет Лаше подробно перечислил сокровища царской короны. Когда он упомянул о шапке Мономаха, генерал тяжело поднялся с кресла и в волнении отошел к

окошку, — короткие пальцы его за спиной сжимались и разжимались...

— Ваше высокопревосходительство, я своими ушами слышал в Стокгольме, в ресторане: большевистский курьер Леви Левицкий в нетрезвом состоянии публично похвалялся другому большевику, Ардашеву, что будто бы примерял на себя шапку Мономаха и садился на кресло с державой и скипетром... Российская реликвия на еврейской голове!..

Юденич поднял, опустил плечи.

— Прекрасно-с... Они заплатят... (Пальцы заработали за спиной.) Жестоко заплатят...

— Чтобы спасти эти священные ценности, нам нужно, по скромному подсчету, — на слезку, наем помещений, автомобили, покупку оружия — двадцать пять тысяч крон... Лига ходатайствует, чтобы вы вместе с этими суммами прикомандировали к нам доверенное лицо для наблюдения.

Генерал вернулся в кресло, жирный лоб его прорезывала морщина.

— Я должен подумать... Дело весьма щекотливое... В европейской столице расправляться своими средствами!.. Гм... Мы-то знаем, у кого берем и что берем, но щепетильные европейцы!.. Люди вы горячие, батенька, ухлопаете там парочку еврейчиков... Да еще двадцать пять тысяч... Гм...

Генерал с той минуты, когда было упомянуто о двадцати пяти тысячах крон, начал поглядывать на ширмы, где шипело и пахло сальцем. Лаше, проведя ладонью по лбу, сказал с мягкой задушевностью:

— До взятия Петрограда остается — три, ну — два месяца... Но пока я не вижу других путей поддержать ваши бумажные деньги, ваше высокопревосходительство...

Генерал отвлекся от ширмы, насторожился:

— Не улавливаю связи.

— Вы помните провокационную заметку об английском обеспечении ваших денег, печатающихся в Гельсингфорсе? Она исходила от компании — Леви Левицкий, Ардашев, Бистрем. Одного из них Лига ликвидировала... За последние дни нам стало известно, — и это одна из причин моего приезда в Ревель, — что англий-



«ЭМИГРАНТЫ»



«ЭМИГРАНТЫ»

ский государственный банк не сегодня-завтра опубликует опровержение... Ваше высокопревосходительство, сам господь бог не спасет вас от инфляции, от катастрофы с кредитами и так далее...

— Мои деньги, господин полковник Лаше, обеспечены всем достоянием государства Российского...

Но тут полковник Магомет бек Хаджет Лаше не то чтобы подмигнул как-нибудь неприлично, — жирноносое лицо его осталось невозмутимым, — изменился лишь цвет глаз, они будто просветились веселой иронией.

— Перед отъездом я беседовал с небезызвестным биржевым деятелем Дмитрием Рубинштейном. Он откровенно высказался, что готовится к большой игре, но не решил еще — валить ли ему финскую марку и поднимать рубль вашего превосходительства, или поднимать финскую марку и валить рубль вашего высокопревосходительства...

— Ах, вот как! (Генерал беспокойно потерся спиной о спинку кресла.) На чем же Рубинштейн основывает недоверие к моему рублю?

— Не к вашему рублю, но к российскому рублю... Европейская биржа рассматривает Россию как банкрота на долгий период времени... Проблема русского банкротства — мировая проблема. Русские долги, задолженность по внешним займам, разрушение промышленности, транспорта, шахт, нефтяных вышек, сельского хозяйства — это колоссальнейший пассив. Рубинштейн исчисляет его миллиардов в сто золотых рублей. (Генерал крякнул.) В активе только — будущая твердая власть. Под нее союзники могут дать денег на возрождение русской промышленности и сельского хозяйства. А могут и не дать... Но покуда русский рубль — пусть на острие победоносного белого штыка — стоит не дороже бутылочной этикетки...

— Так, так, — сказал Юденич. — Ага, вот как! А если я как следует умиротворю Петроград?

— Это уже много... Но, ваше высокопревосходительство, деньги нужны сейчас... Я просил Рубинштейна обождать несколько дней... Если я скажу ему, что в ваших руках будет на полмиллиарда валютных ценностей, разумеется, он не станет колебаться в выборе между рублем и финской маркой...

Генерал все еще не решался. Больше всего его напугал Митька Рубинштейн. Но двадцать пять тысяч крон тоже было не легко оторвать. Он сказал, что хочет посоветоваться с начальником снабжения генералом Яновым, и попросил Лаше оттянуть вопрос о деньгах до завтра.

Хаджет Лаше решил не утруждать главнокомандующего остальными чрезвычайными вопросами и с полным составом миссии (в Ревель он приехал с Левантом, Вольдемаром Ларсеном — датским коммерсантом и одним из четырех шведских офицеров — членов Лиги) явился к правой руке генерала Юденича — генералу Янову.

Генерал Янов был «с мухой» после обеда и повышено встретил гостей. Денщик «соорудил» кофе с коньячком. Сели вокруг преддиванного стола. От генерала веяло здоровьем и оптимизмом, — закрученные усы, раздвоенная бородка, подвижные брови на низеньком лбу, расстегнутая гимнастерка с мягкими генерал-майорскими погонами и короткие крепкие ляжки ёрника... Он сразу «овладел настроением». Предложил чудные папиросы:

— Табак настоящий — довоенный Месаксуди... Один тип ухитрился вывезти из Петрограда полвагона этого табаку и загнал его к нам во время наступления... Гений, честное слово!.. Вот это (хлопнул по валяющейся на плюшевом диване папке с бумагами) одни его проекты... Тут и колбаса для Петрограда, дрова, и картошка, и полсотни американских аэропланов. Как он умудряется ставить такие цены — на тридцать процентов дешевле, поражаюсь... Уверяет, что из чистого патриотизма, честное слово...

Хаджет Лаше высказал, что действительно патриотов гораздо больше, чем это кажется, по той причине, что истинный патриот не шумит и не кричит, но делает свое скромное и незаметное дело.

— Пусть при этом что-то положит в карман, малую крупицу, — нужен же какой-то материальный «стимул», кроме голой идеи. Правда?

— Стимул! Совершенно верно, полковник...

— Мы тоже люди, ваше превосходительство...

— Совершенно верно, полковник...

Чисто одетый денщик, работая под придурковатого, принес кофе, раскупорил коньяк. Генерал Янов пробасил, указывая на его припомаженный чуб, вздернутый нос, часто мигающие русые ресницы:

— Вот — рожа расейская, решетом не покроешь, а поговорите с ним. Ну-ка, Вдовченко.. При покойном государе-императоре хорошо жилось тебе?

Вдовченко — руки по швам, нос кверху — рявкнул:

— Так точно, ваше превосходительство.

— А почему? Объясни толково.

— Так что — страх имел, ваше превосходительство.

— Молодец... Ну, а скажи ты, милостью революции освобожденный народ, что ты сделаешь в первую голову, когда с оружием в руках войдешь в Петроград?

— Не могу знать, ваше превосходительство...

— Отвечай, болван...

— Так что — стану колоть и рубить большевиков, жидов, кадетов и всех антилихентов...

Генерал руками развел:

— Пасую, господа... Что я буду делать с этим народом! Слушай, Вдовченко, троглодит, ну, а что бы тут сидели наши министры — Маргулиес или Горн,— и ты бы им так вот брякнул... Заели бы меня, болван! (Открыл крепкие, как собачья кость, зубы, захохотал.) Живьем бы съели... Сгинь, харя деревенская!.. (Денщик повернулся вполоборота, по-лошадиному топая, вышел.) Да, господа, беда с нашими либералами... Мечтатели, российские интеллигенты... Реальной жизни знать не хотят... Кофейку, господа, коньячку...

Хаджет Лаше заговорил за коньячком:

— Либерализм, как оппозиция — залог кредита... У нас в России часто не понимают, что политическое приличие дороже искренности. Мы еще варвары, простите за словечко, генерал...

— Пожалуйста, пожалуйста, дорогой.

— наших друзей-союзников не нужно заставлять морщиться от неловкости. Господа, тот же Клемансо, Ллойд-Джордж, Черчилль покидают же когда-то деловой кабинет и садятся за обеденный стол с изящными женщинами. Не будем пачкать этим людям их вечерних сорочек... Либеральные министры, Маргулиесы и Горны — это тот маленький комфорт, которого у нас вежливо

просят, и, поверьте, дорогой генерал, эти мелочи приносят иногда больше выгод, чем военные успехи...

Генерал Янов, неподвижно выкатив бутылочные глаза, с удивлением слушал полковника Лаше. Черт его возьми — европеец! Потянулся за рюмкой, выпив, покрутил головой:

— Да... Политика... Извольте видеть, нам из Парижа Савинкова навязывают. Социалист, бомбометатель. Нет уж, пардон! Может быть, я чего-то не понимаю, но, ей-богу, повешу... Да и вообще... (Чтобы не брякнуть лишнего, хлопнул еще рюмку.) Так что же вас привело, господа, в нашу чухонскую дыру?

Шведский офицер Иоганн Гензен, похожий на гигантского младенца, и датский коммерсант Вольдемар Ларсен, с дряблым животом и маленькой востроносой головой, не понимали по-русски, с достоинством терпеливо улыбались, воспитанно попивая коньячок. Хаджет Лаше перешел к делу, широким жестом указал на скандинавов:

— Дорогой генерал, перед вами потомки тех самых древних варягов, которым русские когда-то сказали: «Земля наша велика и обильна, но порядка не имам»... (Он перевел эти слова по-датски. Все рассмеялись, чокнулись.) Ходатайствую за них в интересах Лиги, дорогой генерал. Гензен и Ларсен — наши активные сотрудники, горячо любят Россию и в данном случае руководятся более идейными соображениями, чем личной выгодой... Но, — несовершенство человеческой природы, — одними светлыми идеями сыт не будешь... Конкретно предложения таковы: лейтенант Иоганн Гензен интересуется псковским и гдовским льном.

— Ага, — басом сказал генерал Янов, — представляю.

— Лейтенант Гензен хотел бы оформить концессию на вывоз льна и кудели не из вторых рук — от эстонских скупщиков, а непосредственно от русского интендантства. Условия чрезвычайно выгодные, — с валовой выручки десять процентов интендантству. И обязательство: при заключении договора поставить в северо-западную армию четыре тысячи добровольцев, лучших стрелков Швеции, коим по окончании войны российское правительство должно предоставить свободные земли для поселения.

Генерал Янов настороженно стучал ногтями по столу.

— Счастливая идея, есть о чем подумать...

— Второе касается моего друга, фанатика России, Вольдемара Ларсена. (Маленькое остроносое личико Ларсена закивало дружелюбно.) Предложение его таково: концессионный договор на двадцать пять лет на сдачу господину Ларсену петроградского городского хозяйства — водопровода, трамвая, электричества и телефона. В день взятия Петрограда Ларсен вносит первый денежный аванс. Но, идя навстречу нуждам армии, он готов теперь же поставить интендантству тысячу тонн колбасы лучшего качества, с уплатой половины в русских и половины в финских деньгах... Вот в общих чертах... И тот и другой считают, что, минуя министерство снабжения, то есть говоря непосредственно с вами, они короче идут к цели. Господа Ларсен и Гензен были бы в восторге скрепить дружбу вещественными узами...

Отвыкший от европейских форм разговора генерал Янов испытывал душевное напряжение, глаза его налились кровью.

— Я доложу главнокомандующему... Он озабочен, надо вам сказать, вопросом пополнения особого безотчетного секретного фонда...

— Ну да, да, суммы на контрразведку и так далее...

— Именно... Скажите этим господам откровенно, так сказать, — в данном случае желательно, чтобы они пополнили секретный фонд исключительно американской или английской валютой... Мы, так сказать, договоримся, я, так сказать, приму без расписки, и договоры оформим... Генерал Юденич так именно и выскажется, я уверен... — Генерал Янов отдулся, вытащил шелковый платок, провел по усам и уже облегченно гаркнул: — Эй, Вдовченко! Слетай в буфет, — две бутылки шампанского и миндального печенья...

Вернувшись в составе всей миссии к себе в номер, Хаджет Лаше потребовал минеральной воды и некоторое время сосредоточенно ходил, стиснув за спиной руки. Остальные члены миссии сидели.

— Ваше дело со льном, петроградской концессией и колбасой — на колесах... Мошеннику Янову сунуть пятьсот долларов, Юденичу — тысячи полторы... (Вольдемар Ларсен тяжело вздохнул.) Но с кредитами для Лиги — хуже, да — хуже... Мне не понравился главнокомандующий, — мелочной человек, глупый, ленивый хохол... На Кавказе этот орел зажал большую валюту на продаже курдских земель и врет — большевики у него ни крошки не конфисковали, все перевел за границу. Информация о царских сокровищах произвела на него некоторое впечатление, но, едва я упомянул о двадцати пяти тысячах крон, упал духом... Широты — нуль...

Иоганн Гензен произнес презрительно:

— Псст!.. (Вложил в рот сигару, дым — к потолку, и снова, вынув сигару, уже удивленнее.) Псст!

Вольдемар Ларсен, обладавший умом более острым, заметил осторожно:

— Быть может, у господина главнокомандующего более достоверные сведения о местонахождении сокровищ царской короны?

Лаше круто остановился, бешено взглянул на Ларсена:

— Прикажете понимать как недоверие к оперативному отделу Лиги?

— Сохрани меня бог — недоверие, нет... (Острый нос Ларсена с добродушием андерсеновских сказок поднялся навстречу прожигаящему взгляду Лаше.) Колбаса для армии и право на петроградскую концессию — это пахнет деньгами, господин полковник... Но царские сокровища еще не пахнут, — позвольте себе именно так понять мою мысль...

Как от доброй шутки, нос Вольдемара Ларсена свернулся слегка на сторону, собрались добродушные морщинки на висках. Александр Левант (обычно молчавший в присутствии Лаше) сказал жестко:

— Мы не настаиваем, чтобы именно вы получили концессию на петроградское хозяйство. Нам известно состояние ваших счетов, — вам едва хватило денег на закупку тухлой колбасы. Права на концессию беру я.

Хаджет Лаше, раздвинув ноги, руки — в карманах черкески, вывороченными губами проговорил в лицо Вольдемару Ларсену:

— Лига сквозь пальцы смотрела на ваши спекуляции... Вы не желаете нам доверять, по-видимому слишком спешите отделаться от нас... Мы тоже будем осторожны, господин Вольдемар Ларсен... Мы не позволим вам подписать запродажную на колбасу, пока не выполните первого параграфа устава: не внесете в кассу Лиги двадцать процентов со всей суммы—то есть двести сорок тысяч... Или финны вышвырнут вашу тухлятину в море...

Вольдемар Ларсен ушел в кресло, выставил дряблый живот, прикрыл веки. Он никак не думал, что этим бандитам Леванту и Лаше известно его тяжелое дело с колбасой. Два месяца тому назад он выгодно закупил колбасу у американской комиссии Гувера (распихивающей по Европе свиные изделия — заготовки мировой войны). Но колбаса так воняла, что санитарный осмотр в Бергене приказал товар сжечь. Пришлось истратиться на погрузку и фрахт, и сейчас парусник с колбасой болтался на якоре в Гельсингфорском порту.

— Я плачу десять процентов при подписании запродажной с северо-западным правительством и десять процентов при сдаче колбасы,— слабо сказал Ларсен.— Это все, что я могу... Но концессия за мной, господа, на этом я буду настаивать...

Левант и Лаше переглянулись. Согласились. Разговор снова принял дружественный оборот. В семь часов Левант и Лаше пошли — этажом выше — в номер министра просвещения Кедрина для свидания (по третьему чрезвычайному делу) с премьером Лианозовым.

Принадлежность к левому крылу правительства обязывала много и хорошо говорить. Министры северо-западного правительства собирались в чьем-нибудь номере, пили чай, выкуривали болезненное количество папирос и говорили о метафизических проблемах, поставленных историей перед многострадальной Россией и перед цветом и мозгом страны — русской интеллигенцией. Практическая сторона деятельности интересовала их меньше, потому что территория для приложения великих идей конституционной свободы была мала, и народ на этой

территории (псковские и гдовские мужики) — невежественный, звероподобный и даже неграмотный, и потому еще, что главнокомандующий Юденич и вся военщина не допускали штатских либералов до практической деятельности: «Было ваше сволочное времечко, книжники слюнявые, был ваш царь — Сашка Керенский, дюжины большевиков не могли повесить...»

Англичане, американцы и французы относились к министрам симпатично, оказывали знаки внимания (консервы, табак, одежда, напитки), но в практических вопросах предпочитали иметь дело с Юденичем и его штабом. Министры надеялись на одно, — что окончится же когда-нибудь власть грубой силы и солнце гуманности и свободы взойдет над куполом Учредительного собрания... О, лакированные темно-коричневые трибуны в колонном зале Таврического дворца, — блеск речей и водопады оваций!.. О, кулуары, — веселая и остроумная политическая болтовня, — журналисты, фотографы, элегантные женщины! О, собственные автомобили, уносящие избранных народа по широким петроградским улицам!

В чрезвычайно удушливом воздухе пять министров, сидя в красных плюшевых креслах вокруг овального стола, слушали министра просвещения Кедрина. Он был невелик ростом и, находясь на низеньком диванчике, подвертывал под себя ногу. На нем были теплые светлые брюки и по-стариковски просторный старомодный сюртук, — бледное, как жеваная бумага, заросшее сединой лицо, растрепанные белые волосы, глаза, воспаленные от бессонницы и никотина. Несмотря на грудную жабу и бронхитное покашливание, душа его была порывиста и неугомонна. Министры устало, через силу внимали ему. Кедрин говорил:

— Мережковский дает только две составные силлогизма, две линии великого треугольника, две линии, разлетающиеся в бесконечность, — Христос и Антихрист... Он только вопрошает. Мережковский — это все безумие вопроса, он — это мы — русская интеллигенция. Славянофильство и западничество... Деревня и фабричный город... Европа и Азия... До девятьсот семнадцатого мы чувствовали присутствие исторической обреченности, мессианства... Да, мы называли Россию мессией... И недаром Рудольф Штейнер весной четырнадцатого года в Гель-

сингфорсе говорил о роковой обреченности России, предназначенной спасти мир, спасти своим телом и кровью.. Господа, теперь мы знаем эту третью составную силлогизма, мы замыкаем равнобедренный треугольник. Это третье: мировой большевизм, в демонических безднах которого рождается спасение мира — священное белое движение. Его символ — солнечные латы Георгия-победоносца, под копытами его белого коня змий — Антихрист — большевизм и за плечами — пурпуровый, то есть победный, плащ, взвитый над бурей революции... (Передышка. Бронхитное покашливание. Звон чайных ложечек и клубы табачного дыма.)

Я цитирую это по замечательной книге Николая Александровича Бердяева. Я положил бы эту книгу в ранец каждого белого солдата. Большевики идут в бой, распевая «Интернационал» и веря в социализм... Мы должны противопоставить свою идею, — понятную массам, идею Георгия-победоносца, идею белого посланца, поражающего в мире Антихриста... Я слышу, господа, иронические голоса: мы владеем пока только двумя уездами России, мы еще собираемся идти на Петроград, у нас, представителей русской культуры, нет реальной силы, мы машем кулаками по воздуху, нас едва терпят, в день взятия Петрограда генерал Юденич попытается вздернуть нас на трамвайных столбах... Все это так... Но тем не менее или, если хотите, тем более положение обязывает нас ставить вопросы мирового порядка...

Министр просвещения Кедрин вытащил из-под себя затекшую ногу и живо подсунул другую. Бумажное лицо его не розовело от умственного возбуждения, только сильнее лоснилось. Душа в этом хилом теле, заключенном в пыльный сюртук, выбрасывала фейерверки идей.

— Мы должны создать и возглавить международную комиссию по изучению в теории и на практике большевистской доктрины и ее практического применения. Ходячее понимание большевиков, как шайки уголовных преступников, нужно решительно отвергнуть, это — одна из провокаций самих большевиков: они усыпляют наше внимание, они хотят незаметно подкрасться, чтобы внезапно встать во весь антихристов рост... Да, мы имеем дело с антихристианством и антикультурой. Задачи комиссии: первая — изучить большевизм исторически, изыскать его

корни в научных и метафизических работах социальных мыслителей... Лично я ставлю под подозрение основной источник — Жан-Жака Руссо. Пусть молодая буржуазия эпохи Великой французской революции подняла на острие копья вместе с фригийским колпаком его «Общественный договор». Руссо — это бунт духовного варвара против восемнадцати веков христианской цивилизации. Книги Руссо предвещают кровь робеспьеровского террора. Фурье, Сен-Симон, весь ряд утопистов — та же тенденция выключиться от гуманизма. Вторая задача: комиссия должна собрать исчерпывающий объективный материал о большевиках, добытый следственными властями и судебными приговорами. Для этого — третье: комиссия должна подготовить со всей широтой сеть уголовных судов с привлечением в прокуратуру иностранных специалистов для мирового судебного процесса над большевиками... Таковы, господа, задачи, стоящие перед нами. Исполнив их, мы создадим чрезвычайные профилактические меры против большевизма не только в России, но и на пространстве всего мира, мы откроем, — и мы призваны к этому, — откроем глаза близоруким европейским политикам на величайшую, когда-либо грозившую миру опасность, на змия, нашептывающего пролетариату сладкую ложь о невозможном, на змия, которого раздавят только мистические копыта белого коня...

Когда в номере появились Хаджет Лаше и Левант, утомленные министры договаривали последние фразы критического разбора этой замечательной речи. Бывший нефтяной король — Лианозов (предупрежденный о визите) тотчас встал из-за стола и отошел с Хаджет Лаше и Левантом.

Это был маленький утомленный человек с бородкой цвета высохшей степной травы и редкими волосами, тщательно зачесанными на пробор.

Он без любопытства поглядел на полнокровного, улыбающегося с открытой честностью Лаше, на костлявые скулы, сломанный нос и выражение бандитского мрака на лице Леванта.

— Я слушаю вас, господа...

Хаджет Лаше, оберегая драгоценное время министра, в сжатой форме изложил свою точку зрения на мировую борьбу американской компании «Стандарт Ойль» и англ-

лийского нефтяного концерна Детердинга. Он откровенно признался, что в этой борьбе он, — «как это ни странно звучит», — является агентом Детердинга, «не в буквальном, конечно, смысле». (Лианозов устало покивал, выражая этим, что понял, в каком смысле...) Как уроженец горячо им любимого Кавказа, как председатель Лиги по восстановлению Российской империи и как русский патриот — Хаджет Лаше решительно стоял на стороне Англии. Одни англичане способны смертельной хваткой взять большевиков за горло. Но для этого английские интересы нужно прочно увязать в российском болоте. Отсюда — прямой ход к поддержке Детердинга залежами русской нефти. Детердинг сейчас платит громадные деньги за нефтяные участки. Но гражданская война превратна. Кто поручится, что большевики, хотя бы на короткое время, снова не захватят Баку и Грозный; что верховный правитель Колчак не предоставит американцам каких-либо исключительных концессий; что под давлением революционных масс не осуществится эта проклятая конференция на Принцевых островах, где Америка несомненно легко договорится с большевиками о нефти.

Затем Хаджет Лаше передал слово Леванту, и тот подробно рассказал о свидании с Детердингом в Лондоне, о продаже Чермоевым и Манташевым нефтяных земель и показал письмо к нему Детердинга, где глава концерна «Ройяль Дэтч Шелл» благодарил Леванта за содействие, удивлялся его бескорыстию, просил передать поклон Хаджет Лаше и два раза вскользь упоминал имя Лианозова. Письмо это было одной из первокласснейших работ Эттингера.

— Итак, что же вы от меня хотите, господа? — слегка встревоженным голосом спросил Лианозов.

— Лично мы — ничего, господин министр... — Лаше поклонился и открыто, честно, с кунацкой улыбкой положил руку на кинжал. — Если вы задумаетесь над моими словами, то мы уже исполнили долг перед родиной...

Лианозов, потирая на виске мигрень, ответил:

— Хорошо, я серьезно подумаю над вашим предложением. Зайдите ко мне в номер после полуночи, но не слишком поздно...

В десятом часу вечера Лаше и Леванту удалось, наконец, спокойно пообедать вдвоем, в тихом ресторанчике. Закурив сигару, Хаджет Лаше зубочисткой на скатерти стал подводить итоги:

— ...За шесть месяцев (организация Лиги, наем помещений, разъезды, представительство и прочее) мною истрачено тысяча двести английских фунтов, тобой во Франции (долги Налымова, туалеты для дам, дача в Севре, разъезды, представительство и прочее) истрачено шестьдесят тысяч франков. Общий пассив, переводя на доллары, — девять тысяч долларов. Поступлений за это время в общую кассу — нуль.

Подсчитали еще раз. Минут пять дымили сигарами. Левант сказал, качнув головой:

— Да...

Хаджет Лаше — высокомерно:

— Что — да?

— Треску много, а...

— Что — а?

— Нет, что ж, тебе, конечно, виднее... Твои в конце концов деньги, Магомет...

— Дурак, гляди, считай...

Хаджет Лаше зубочисткой на скатерти подвел должествующий поступить актив: сто пятьдесят тысяч франков от графа де Мерси (на приобретение «Скандинавского листка»), двадцать пять тысяч крон от американского атташе, двадцать пять тысяч крон от Юденича, сто тысяч франков от Чермоева и Манташева, двести сорок тысяч юденических рублей от Вольдемара Ларсена и минимум двести тысяч франков от Лианозова.

— Может быть, Лианозова пока не будем считать? — скромно спросил Левант.

— Это такие же верные деньги, как все остальное.

Лаше кусал зубочистку. Левант всматривался в цифры, нацарапанные на скатерти:

— Магомет, ты не думаешь, было бы выгоднее, если бы, как я тебе говорил, мы занялись просто спекуляцией, хотя бы с той же американской свининой?.. Ларсен буквально червей сбывает, и — свежие деньги... Политика, знаешь, далеко не верная игра.

— Не раз повторял тебе, Александр, ты — мелкий жучок, жаба... Спекуляция! Плевал я на твои проценты, разницы, накладные... Я швырнул девять тысяч долларов и еще швырну и возьму миллионы...

— Я тебя понимаю, Магомет... Но ведь покуда миллионы — это сон... Даже за все эти цифры, — он указал на скатерть, — за этот актив самый неосторожный человек не даст и десяти процентов наличными.

— Ты — ишак.

Левант пожал плечами. Помолчали. Лаше спросил бутылку шампанского.

— Плохо, Александр, когда у человека нет фантазии... Морган и Вандербильд, — откуда их миллиарды? Плоды мощной фантазии. Эти люди призвали миллиарды, как Фауст сатану в магический круг. Точно так же я выдумал царские сокровища.

— Магомет, ты их выдумал? Ай, я так и знал! — У Леванта отхлынула краска с лица, белые хрящики проступили на носу. — На что же ты рассчитываешь? Безумец!

— Я их выдумал, я их возьму... Царские бриллианты, шапка Мономаха, скипетр и корона — это все для американцев, французов, Юденича и для нашей шпаны из Лиги... Но миллиона три-четыре долларов я возьму. Они дожидаются меня в Стокгольме... (Левант передохнул, с тоской и надеждой взглянул на друга.) Ты спрашиваешь, что мной сделано за шесть месяцев, куда я угрохал деньги? А вот что сделано: военные миссии великих держав, президенты и премьеры, все контрразведки, нефтяные короли и магнаты тяжелой индустрии, биржи и спекулянты военными стоками — все они заинтересованы теперь в том, чтобы полковник Магомет бек Хаджет Лаше, хотя бы нарушая все правила благопристойности, взял эти миллионы. Сама полиция поможет мне превратить уголовный грабеж в акт священной борьбы за цивилизацию, и ни один болван не посмеет спросить у меня отчета в деньгах. Вот что сделал Хаджет Лаше, — я поставил кверху ногами все их моральные незыблемости. Великолепнейший сюжет для книги...

— Ты сходишь с ума, Магомет...

— Я играю за «золотым столом» в игру, которая называется тайной политикой... Жучки, мелкая рыбка пач-

каются на биржевой разнице: заработав сто долларов, бегут покупать бриллианты в четыре карата и лакированные ботинки. Я играю за столом с королями и президентами.

— Магомет, Магомет, ты сломишь шею...

Хаджет Лаше надменно усмехнулся. Зрачки его глаз были расширены и неподвижны. Опытный лакей, не так поняв его возбуждение, наклонился из-за его плеча и шепотом предложил пригласить к столу девочек. Лаше послал его к черту.

— Ни на один градус я не более сумасшедший, чем Жорж Клемансо, президент Вильсон или создатель вертикальных концернов Гуго Стиннес. Я современен, я впечатлителен, я нервами понял, что такое дерзость... Вся гуманитарная, бюргерская благопристойная бурда выметена начисто после мировой войны... Будь дерзким до конца, будь циником до конца... Шагай по человеческим трупам, грабеж и насилие возведи в систему, и ты — царь жизни. Может быть, я смахиваю иногда на сумасшедшего, не забывай — при всем прочем я еще артист. Меня утомило однообразие человеческой глупости, — у меня потребность в более острых ощущениях... Ты понял меня, Александр?... Послезавтра — в Стокгольм... Я приступаю к делу... Не бойся, ты-то будешь кушать свою кефаль в Париже.

43

Дом в Баль Станэсе был приведен в порядок, — все вымыто и вычищено, в столовой — ковры, на лампах — шелковые абажуры, в вазах — охапки осенних цветов. Поздно ночью из Стокгольма, как обычно, возвращалась Мари, усталая, объевшаяся соусами за столиками гостей. Выступала она в «Гранд-отеле» в русском репертуаре, даже с некоторым успехом. Часто ей было лень снимать грим и переодеваться, и она садилась в столовой, полуголая, с осыпавшейся пудрой на розовых плечах, в шансонеточном платье. За этими предрассветными ужинами пили шампанское, но без прежних откровенных бесед, даже без шуток Налымова, — не то что в незабываемом Севре... «Все-таки там было чудно, девочки! Помните, июль, цвели липы? Песенки Барбош из кухонного окна?»

На рассвете Лили засыпала за столом, уронив растрепанную голову на руки. Мари в шансонеточном платье засыпала на диване. Вера Юрьевна, пошатываясь, брела на лужайку, где над озером вставало осеннее солнце, валилась в копну сена и дремала в странных видениях, рожденных из пузырьков шампанского. Налымова находили мертвецки пьяного в самых неожиданных местах.

Молча, мрачно обедали, опохмеляясь водочкой. После обеда купались в холодном озере. Под вечер Мари уезжала. Через день уезжала в Стокгольм и Лили — по требованию Хаджет Лаше она дала объявление в гостинице «Гранд-отель» об уроках французского и английского; требований покуда не поступало, но определенные часы приходилось отсиживать в холле гостиницы, сдерживая зевок над иллюстрированными журналами.

Всего тяжелее были пустые часы, когда Вера Юрьевна и Налымов оставались одни в Баль Станэсе. Василий Алексеевич старался держаться в сторонке, — то одиноко покурил на крылечке, то возился с футбольным мячом, трусая за ним пропитой рысцой по поляне. Однажды Вера Юрьевна долго наблюдала, как он сидел с удочкой на берегу в Лилькиной широкополой соломенной шляпе. Вера Юрьевна подошла, посмотрела на поплавок, на консервную жестянку с червями, в лицо Василию Алексеевичу. От солнца, от водки кожа у него лупилась, глаза были совсем выцветшие. Пожала плечами: «Шут гороховый, право...»

Они мало разговаривали, только о мелочах. Здесь между ними не было близости. Вера Юрьевна и подумать не могла бы теперь прийти ночью «выкурить папироску в его постели». В Баль Станэсе все осложнилось. Нагромоздились чувства, не выразимые словами. Не будь его здесь, половина тяжести свалилась бы с Веры Юрьевны. Но то, что он остался, наполняло ее почти что мрачным восторгом. В тот же первый день приезда она рассказала ему в подробностях свои константинопольские похождения. На Василия Алексеевича это как будто не произвело впечатления. «Твой жизненный опыт, Вера Юрьевна. Так это и запиши». Но после разговора он совсем бросил хихикать и разводил «философшишку». К Вере Юрьевне у него появилась особая осторожность, как к чему-то, что выше меры переполнено и хрупко.

Иногда ей приходила дикая мысль (почему в сущности дикая?): неужели он не может придумать какой-нибудь план спасения, вытащить ее и себя из предсмертного мрака? Должен же он получить деньги от Чермоева и Манташева. Все дело в том, чтобы бесследно скрыться от Хаджет Лаше, от полиции, от русских, от всего прошлого... Что ему мешает? Легкомыслие, безволие? «Шут гороховый...» С папироской сидит, щурится на поплавок. Злоба прилиwała к сердцу Веры Юрьевны. Сердце свирепо сжималось, в горле — злой клубок. Но понемногу отходила в тишине под плывущими над озером облаками... «Нет, он прав, конечно, — никуда не уйти, не скрыться... Все это пошлость и чушь... Клейменные...»

Однажды она попросила его присесть рядом на копне. Обхватив руками колено, сказала:

— Все время думаю о тебе, — загадочный ты человек. Скажи, ради бога, на что ты надеешься? Неужели только так — пожевать, выпивать и — в могилу? Ведь что-то не так... Я не про себя говорю, про тебя... Почему ты ничего не придумаешь? А уж я-то за тобой, как смятая газета в пыли за автомобилем, помчалась бы... Понимаешь, у тебя вихря нет, у тебя хода нет... Ну, почему? Ты меня измучил... В Константинополе в номере у Лаше после убийства и в Париже с Левантом, когда он меня, мерзавец, на улицу посылал... это тоже было, — месяца за три до Севра... во мне была сила жить, несмотря ни на что... А теперь нет... Вася, не могу представить: человек, которого любишь, этот человек больше всего мира... В нем — все... А ты хочешь уверить меня, что ты — чучело на огороде, машешь рукавами... (Покусав губы, сдержалась, — вот-вот готовая закричать.) У тебя должна быть идея... Зачем прикидываешься шутком гороховым, — с ума сойду, не пойму... Сволочь ты!.. (Побелевшим кулачком заколотила себя по колену.) Должен ты сейчас же ответить: на что надеешься? И от этого твоего ответа я буду жить или я не буду жить...

Первый раз во всю бытность Василий Алексеевич ответил важно, тихо, почти заикаясь:

— Мои достоинства, то есть одно достоинство, в том, что я тебя понимаю и всей тобой восхищаюсь... Вот объяснение, почему решил разделить с тобой все, до конца... Это — одно... Каждый человек носит в себе спектакль —

пошлый, маленький или трагический, величественный... Твой спектакль, Вера, трагический спектакль. Он закончен, разучен, актеры на местах. Но зрительный зал пуст. Трагедии играть не перед кем... Один я торчу где-то там по контрамарке... Мир, где мы сейчас живем, пресытился зрелищами... Вернулись к обезьяньему царству. Я прав: Шекспир больше не нужен. А мой маленький водевильчик? Разве что перед Лилькой и Машкой, по пьяному делу поломаться для смеха... Ужасно, Вера, что друга в эти годы ты отыскала себе такого, как я... Я предупреждал, — не выдумывай меня. Ты продолжаешь награждать меня своим избытком и сердисься, почему я пальцем не пошевелю вытащить тебя из этого ужаса... Не могу, да и не знаю, зачем это делать... Куда бы ты ни убежала, хоть на Соломоновы острова, ты — уголовная преступница, девка с желтым паспортом и ко всему тому чрезвычайно опасная, потому что всегда готова перейти через страх виселицы и потащить за собой хозяина, кто тебя нанял. Бешеное животное, вот кто ты. Спасти тебя? Дурочка. Тебе же самой не нужно спасение.

Вера Юрьевна слушала спокойно, кивала иногда, соглашаясь. Лицо ясное, даже улыбочка блуждала на бледных, не тронутых карандашом, губах.

— Теперь договаривай главное, — сказал она после молчания.

— Я уже повторял, Вера Юрьевна, — не мне вмешиваться в твой спектакль. Сама, сама, не надеясь ни на кого, пойми, реши и так и поступи.

— Ты не о смерти ведь говоришь? (У нее чуть дрогнул голос.)

— Нет, не о смерти. О такой пакости не стоило бы и говорить много. Нет, я не хочу, чтобы ты умирала, любовь моя. Все зависит от установки. Если ты делаешь установку на смерть — вся твоя жизнь закрутится вокруг могилы, как водоворот, — все ближе и ближе туда — к черной дыре... Черт знает какая бессмыслица! (Едва заметно вздохнул.) Но можно представить и другую установку... Участвовать в бесконечно движущемся мире творчества. Смерть? Какое тебе дело до нее? Эта зловонная гнусность — твоя могила — выключена из сознания, из поля зрения; через нее валом валят толпы феноменальных идей, великолепные потоки жизни. Обезьянье

царство сгинет, человечество расколет гроб, через трупы тюремщиков и обезьяноподобных устремится в новую вселенную. Человек получит свое настоящее призвание. Мозг или желудок? Творчество или пищеварение? Мы — пещерные троглодиты, мы не можем вообразить всей величины счастья, когда человечество поведут великие идеи. Люди будут испытывать неведомые нам восторги... А смерть, могила, — ты просто споткнешься и, падая, передашь другому факел... Только всего... Смерти нет... Факел летит вперед. А для желудка — хотя бы питательная таблетка, чтобы отвязаться...

— Сказки, — проговорила Вера Юрьевна, — валяешься бездельником на копне, плетешь сказки... Ты предложи-ка мне что-нибудь реальное.

— Сказки? А ты поверь. Это — ведь также все от установки. Поверь, начни приглядываться, — гроб трещит, обезьянье царство шатается. Ты видела только обезьяноподобных, а тех, кто в подземельях, — ты их знаешь? Я был в подземельях, заглянул туда одним глазом. О, какие люди, какие намерения! Сказки оказываются наяву, да такие, что не придумаешь. Мое несчастье, Вера Юрьевна, что я — спившийся барин, я — наблюдатель, я — со стороны, спектакль мой — маленький... Ты — другое дело. И тебе возможно унести самое себя совсем из обезьяньего царства.

— Не понимаю, ты про что?

Василий Алексеевич медленно кивнул красным припухшим лицом куда-то в синюю даль, за озеро. Вера Юрьевна в недоумении взглянула туда, уронив на колени руки, глядела долго. Поняла:

— Ах, вот о чем ты...

— А что, дико?

— Да ты с ума сошел... Вернуться в Россию?

— Такой страны нет больше. Россия — это мы, неприкайные, с желтым паспортом... Третьего дня читаю в «Скандинавском листке»: русская революция отказывается от хлеба из рук спекулянтов. Революция будет есть хлеб, только добытый без противоречия с принципами. Понять ты можешь это?

— Знаешь... (Вера Юрьевна сморщилась, подвигала лопатками, точно под платьем набились колючки из сена.) Я не знаю, что происходит в России. Я-то помню

теплушки со вшами, опустевшие города, рвотные кабаки, истерических баб, тыловую сволочь, проспиртованную военщину... Другой стороны не видала, не знаю... Революция швырнула меня в помойную яму... Но виню в этом только себя. Но так растленно болтать, как ты болтаешь, благополучный кот... Ужасно, это ужасно... Там — потоки крови, а ты философствуешь. За это одно тебя бы там расстреляли.

— В два счета, у первого пограничного столба, без всякого сомнения...

— Для чего же все это говорил?

— Потому, Вера Юрьевна, что я только твои мысли высказывал, а мне лично — рюмочка водочки. Разговор этот нужен потому, что послезавтра приезжает хозяин из Ревеля и ты должна быть готовой...

— К чему готовой?

— К поступкам, к решениям...

Она медленно сдвинула брови, все лицо стало асимметричным, обозначились скулы... Безобразное, кровавое и неминуемое (для чего и приехали сюда) придвинулось. Больше уже нельзя было жмуриться. Потемнел свет над лугом, над озером, над раздумьем этих дней.

Налымов, лежа на животе, грызя соломинку, глядел в лицо Веры Юрьевны, — глаза ее подергивались пленкой, как у птицы.

44

Каждый день в штаб Лиги являлись новые члены, нантербованные в Германии, Швеции, Финляндии, требовали суточных, кормовых, подъемных и квартирных... Генерал Гиссер выдавал каждому до десяти крон и предлагал ожидать — вот-вот долженствующих поступить — крупных кредитов. Вербовочные списки отправлял американскому атташе и графу де Мерси. Так составлялся «железный» батальон (посланный впоследствии под Петроград).

Сердце Лиги — разведка — Извольский, Биттенбиндер и Эттингер пьянствовали в «Гранд-отеле», составляли сводки подозрительных по большевизму лиц и под эти списки вымогали у генерала Гиссера мелкие суммы. Лучше других работала «парижская группа» — мадам

Мари и мадам Лили. Приглашаемая в ресторане за столики, Мари, ленивая, но любопытная и острая на ухо, улавливала обрывочки интересных фраз. Так ей удалось установить, что какие-то люди ожидают приезда в Стокгольм двух большевистских комиссаров, фамилию одного услышала ясно — Красин. По поводу этого сообщения в Лиге было экстренное заседание. Мари поручили добыть дальнейшие сведения. Ей опять повезло: она установила, что семья комиссара Красина недавно прибыла в Стокгольм. Сведение о приезде семьи Красина настолько взволновало членов Лиги, что среди ночи Биттенбиндер отвез мадам Мари к Гиссеру. Генерал выслушал ее, обнял, перекрестил:

— Вы неоцененная сотрудница, деточка, продолжайте же свою беззаветную деятельность. Россия не забудет вас.

Ей дано было экстренное задание сблизиться с курьером большевистского посольства матросом Варфоломеевым. Но он почти никогда не появлялся один в ресторане, — по-видимому, его назначили для охраны к разным проезжим таинственным личностям. Заговорить с ним не удавалось, на зовущие томно синие взгляды Мари он — «хоть бы хны»... Он был смуглый и мрачный, наголо обритый, с каменной шеей и налитыми мускулами под синей пиджачной парой! Мари, несмотря на лень, чувствовала легкую досаду, что такой чудно выраженный «зверь» не реагирует.

Лили успела сделать еще больше за эти дни. Очень милостивая, в простеньком платье учительницы языков, — всегда за перелистыванием журнала в вестибюле гостиницы, — Лили подманила, наконец, двух коммивояжеров — французов, развязных и легкомысленных до последней возможности. «Не преподает ли мадемуазель еще что-нибудь, кроме языков?» — спросили они. Лили смутилась. Коммивояжеры в восторге предложили ей себя в полное распоряжение. После французов в тот же день она получила час по-французски у застенчивого с виду англичанина, но этот у себя в номере оказался таким грубияном и циником, что Лили расплакалась и отказалась от урока. Затем на ее крючок налетел тот, для кого она и сидела в «Гранд-отеле», — Леви Левицкий.

— Я беру вас на всю неделю, по два часа в день, делайте из меня европейца,— сказал он Лили весело и самоуверенно,— выкаченные потные глаза, шикарный мохнатый костюм, платиновая цепочка поперек жилета, впереди живота — руки, засунутые большими пальцами в жилетные карманы, так что бриллиантовые перстни видны были всему вестибюлю.

Лили поднялась к нему в номер Александр Борисович Леви Левицкий вынул из стенного шкафа пакетики со сладостями, бутылку сладкого вина, предложил барышне не стесняться. Повалился на диван, полнокровный и возбужденный после завтрака.

— Я не могу молчать, это характерно для меня. Знаете, что я вам предложу: я буду говорить по-немецки, вы меня поправляйте, потом то же повторим по-английски. Идет? Я буду рассказывать что-нибудь интересное, ну, например, мою биографию... Кушайте конфеточки... Так вот, с чего начать? Мой папашка — из Умани, бедный уманский портной. Вы знаете, что такое была черта оседлости, или вы не знаете? Русские лучшие люди охали и ахали, кричали: «Позор!», а самого главного о черте не договаривали. Черта — это был сложный и хлопотливый способ русского самоубийства... За черту была посажена европейская культура. Вы скоро ко мне привыкнете,— я люблю выражаться парадоксами... Россия не захотела идти за европейской культурой, захотела сидеть в свинстве, как при царе Горохе. Еврей-промышленник строил фабрику по новейшему европейскому образцу, выписывал из-за границы новейшие машины, еврей-купец забивал русского,— он торговал дешевле, брал шесть процентов на капитал, покуда русский поворачивался, еврей уже шесть раз успевал повернуться с капиталом... Что было делать русским? Перестраивать промышленность и торговлю по европейским образцам? Вы не знаете русское купечество... Так они решили, что будет дешевле натравить царя на евреев... Зазвонили во все колокола, подняли духовенство с отцом Иоанном Кронштадтским, сказали, что от евреев дурно пахнет, евреи кладут в мацу христианскую кровь, и царь повелел загнать евреев, как баранов, за черту. В России стала тишь да гладь,— спи, кушай пироги, воруй и грабь, ходи крестным ходом. Азия!.. Это было так же умно, как поста-

вить себе под кровать ящик с динамитом!.. Вы бы посмотрели, барышня, какие характеры выковывались в черте оседлости! Там было больше духа, чем хлеба... Среди нас были святые люди, они уходили в революцию, в подполье, на виселицы,— мы молились на них... Когда я стал подрастать, помню, ох, помню в себе задор!.. Мой папашка знал талмуд, как свой наперсток, он брал деревянный аршин и хотел мне вогнать через спину усидчивость, но я сомневался — так ли уже нужен богу мой голодный нос, ползающий по талмуду. Папашка был умный еврей, он понял меня и сказал: «Каждому свое, ты можешь учиться на экстерна, ты можешь пойти в партию эсеров или эсдеков, но я не потерплю, если мне когда-нибудь скажут: ваш сын нечестный человек». Когда папашка так разглагольствовал, глаза его поверх очков поглядывали на деревянный аршин, и уже я хотел быть честным человеком.

Леви Левицкий прихлебывал сладкое вино и грыз сахаренные орешки. Он с удовольствием слушал самого себя.

— Идти на фабрику, жениться на фабричной девушке с такой сутулой спиной, как будто на ней вынесено все еврейское горе, народить полдюжины голодных сопляков,— перспектива не для моего темперамента... Броситься в революционную работу? Все равно,— сказал я сам себе,— святым считать тебя не будут, тебе не выдержать моральной высоты... Я выбрал богатство и славу, но не сказал об этом папашке... Я стал учиться, как зверь, науки шли как по маслу. В Умани я уже стал удивлять людей. Сдал на экстерна и сквозь процентную норму протискался на юридический факультет. Как я жил это время? Я умудрялся зарабатывать — факторством, частными уроками, даже набивкой папирос — рублей двадцать пять в месяц. Я посылал мелкие газетные заметки в Одессу, Киев, Харьков... Меня заметили,— это давало еще рублей пятнадцать в месяц. Я верил в победу. Я ждал случая. Война! Через неделю после мобилизации я был уже в Петербурге... Вам не надоело слушать, барышня?

Блестя глазами, Леви Левицкий, казалось, всматривался с восторгом в пройденный путь. В Петербурге он сразу попал, как пуля в цель, в редакцию «Вечерней бир-

жевой». Он не разменивался на вопли о русских победах, на глубокомысленные сравнения антантовской «гуманности» и немецкого варварства. Он помещал две-три заметки петитом в конце четвертой страницы перед колонками биржевых курсов, но заметочки были очень дорогие и появлялись на день раньше, чем в других газетах... Чтобы доставать их, нужен был неисчерпаемый темперамент Леви Левицкого, двадцать семь лет кипевший в уманской глуши. В редакции посмеивались над его местечковым языком, над сверхрасторопностью, скупостью и в особенности над неожиданной дружбой с петербургским митрополитом Питиримом. Когда Леви Левицкий появлялся в редакции — черная визитка, руки в карманах, губы плотно сжаты, — ему кричали хроникеры и журналисты с тройной совестью, — все птенцы короля газетчиков, редактора «Биржевки» — Гаккебуша: «Сашка, ну как? Завтракал с его преосвященством? Распутин тебе только что звонил, кланялся. Что нового при дворе?»

Шум, телефонные звонки, трескотня машинисток, зубоскальство, анекдоты, хохот... Леви Левицкий спокойно подходил к настольному телефону (если кто-нибудь разговаривал, он вырывал у него трубку) и лез с аппаратом под огромный редакционный стол, за корзину с бумагами. Оттуда было слышно только: «Барышня, я вам повторяю номер, алло!.. Это вы, ваше преосвященство?.. Это я, Леви Левицкий. Здравствуйте, как ваше здоровье? Слава богу? Я очень рад. Мое как? Так себе. Есть интересное сообщение. Бой на Гнилой Липе... Сведения из первоисточника. Завтра уже будет в газетах, но пока на бирже не знают».

В него под стол швыряли книги, иногда вытаскивали за ногу вместе с телефоном, но он успевал сообщить то, чего еще не знали ни на бирже, ни в военном министерстве. Понемногу круг сообщений из-под стола расширялся, — он вызывал то банкира Жданова, то самого Митьку Рубинштейна, то — анонимно: «Попросите к аппарату графа...» За военные и политические новости ему платили акциями. В шестнадцатом году он играл уже самостоятельно. После убийства Распутина сказал в редакции: «Увидите, господа, кровь этого мужика затопит всю Россию...» В марте семнадцатого года он исчез на три ме-

сяца, оказалось — уехал в Умань, революция разбудила в нем своеобразное чувство сыновнего долга и честолюбия. В своих лучших костюмах он гулял по Умани, проносил речи на летучих митингах. был даже назначен уездным комиссаром по делам печати, но под конец удачно купил несколько деревянных домов и снова появился в Петербурге, утомленный и разочарованный. Здесь он свирепо рванулся в спекуляцию, картежную игру и в похождения с женщинами. В это время ему удалось перевести в Стокгольм значительную сумму денег. Когда разразился Октябрьский переворот, Леви Левицкий сказал в редакции: «Бросьте смеяться, будет гораздо хуже, будет кошмарно плохо. Вы не представляете, что такое русская демобилизация. Дай бог здоровья большевикам, если они хоть что-нибудь спасут в этой каше».

Он пошел в Смольный и предложил свои услуги. Впопыхах ему поверили. Он добросовестно исполнял мелкие и незначительные работы, но умело откручивался от ответственных назначений. Он похудел, помрачнел, носил полувоенный костюм, сутуло переходил на другую сторону улицы, когда встречал старых товарищей по редакции...

— Вы спросите, барышня, что же меня удерживало в Петрограде? Немцы оккупировали Украину, восстали чехословаки, отложилась Сибирь, на юге хозяйничали добровольцы и разбойничьи банды. Я отлично видел, что большевикам не выдержать и года... Но кто их заменит? Батько Махно? В душе моей был мрак, я ни во что не верил. Я получил известие, что Умань вырезана петлюровским атаманом и мой папашка погиб. Он плюнул в глаза атаману, и его мучительно зарубили шашками... Так что же, и революция не избавила нас от погрома?

Весь восемнадцатый год Леви Левицкий пребывал в состоянии величайшей растерянности: он сорвал покрывало со святыни и ужаснулся вида ее. В нем жила, нашептанный отцами и дедами в подвалах гетто, любовь к святому акту революции: от ее трубного звука рухнет стена плача, и перед угнетенными и униженными откроется свобода и богатство. Но революция, разрушив стену плача, сурово повелевала идти мимо процветания Леви Левицкого, в неведомые туманы новой истории, где золото предназначалось для общественных ватеркло-

зетов. Во что же было верить, когда сама революция обманула?

В девятнадцатом году Леви Левицкому удалось побывать за границей, он ездил в Ревель и Ригу и вернулся. Тогда ему дали более ответственное поручение — в Стокгольм. Вместе с казенными пакетами он вывез туда всю свою валюту и драгоценности.

— Вот что странно, барышня, я действительно отряхнул прах с ног... Но здесь меня тянет к советским людям, право... Я не могу сблизиться с эмигрантами. У них погромное отношение к революции, они готовы молиться даже на великого князя Кирилла, дать ему шомпол вместо скипетра и еврейский череп вместо державы... Слушайте, надо же было чему-нибудь научиться!.. Но, что касается женщин, — с ними я немножко сумасшедший... Боже сохрани, не вздрагивайте, золотко мое... Я хотел бы поговорить о вашей знакомой, такая высокая, элегантная... Помните ужин в «Гранд-отеле»? Она задела меня, скрывать нечего...

Лили, помня инструкции Хаджет Лаше, сказала:

— Я уверена, княгиня будет очень заинтересована вашим знакомством.

— Слушайте, как бы нам встретиться?

Лили сказала согласно инструкции:

— Можно здесь, в ресторане. Можно у нас на даче...

— А где она живет?

— В Баль Станэсе... Хотите — приезжайте на дачу...

Лили спешила замять разговор, — было страшно что-нибудь напутать и потом отчитываться перед Лаше... Но Леви Левицкий продолжал возбужденно расспрашивать, и Лили, запинаясь, врала про Веру Юрьевну и Хаджет Лаше (ее горячего поклонника, богатого человека и писателя), про восхитительную дачу, предложенную Хаджет Лаше в полное распоряжение женщинам, утомленным парижским сезоном. Леви Левицкий спохватился ехать завтра же. Лили, вспомнив инструкцию, сказала торопливо:

— Нет, нет. Вера сейчас немножко нездорова... Словом, я вас извещу.

Несмотря на путаницу и очевидную чушь, всегда осторожный и подозрительный Леви Левицкий не почувал опасности, — сам черт не догадался бы, что эта запиная-

щаяся хорошенькая девушка заманивает его в ловушку, на мучительную смерть. Он придвинулся и поглаживал холодноватую руку Лили, называя деточкой, — кровяные жилки наливались в его маслянистых глазах.

— Когда женщина ударит по нервам, — да еще такая европейская красавица, как ваша княгиня, — я готов отдать все... Вы меня понимаете? Деточка, я воспитан войной и революцией... Я голодный. Я хочу досыта накушаться жизнью.

45

После позднего обеда, в сумерках, Вера Юрьевна сидела в шезлонге на берегу озера. Неожиданно подъехал к даче автомобиль. Это из Ревеля вернулся Хаджет Лаше. Послышались голоса нескольких человек, — с ним были Эттингер, Биттенбиндер, Извольский... Кто-то из них закричал:

— Вера Юрьевна! Княгиня! Ваше сиятельство! Ваше стервятство!.. Эй, Василий Алексеевич, полковник! (Вера Юрьевна не подняла головы, не пошевелилась в кресле, подумала спокойно: «Хулиганы, бандиты, почему ни тиф их, ни пуля не взяли?..»)

Автомобиль уехал, четверо вошли в дом. Свет через раскрытое окно лег на скошенный луг. В столовой звенела посуда, хлопнула откупориваемая бутылка, и — затем — раздраженный голос Хаджет Лаше:

— Эти девки жрут тут без меня, как свиньи. Господа, господа, не начинайте с коньяка, — у нас целый ряд серьезнейших вопросов...

Тогда Вера Юрьевна поднялась и неслышно подошла к дому. До последнего слова она прослушала совещание в столовой. Лаше говорил:

— Предварительная подготовка закончена... Лига связала себя круговой порукой с Парижем, Лондоном, Вашингтоном, с Колчаком, Деникиным...

Вежливый голос Извольского:

— Простите, через кого установлены связи с Колчаком и Деникиным?

— С Колчаком — через Юденича, с Деникиным — через генерала Янова... Затем мы связались с эмигрантским центром и крупнейшей нефтяной группой. Теперь

я это могу открыть, господа: нами очень интересуется Детердинг... Лига неуязвима... Мы должны перейти к действиям...

(Пауза. И — голоса: Извольского: «Давно пора», Биттенбиндера: «Урра!», Эттингера: «Честное слово, мы уже совершенно без денег, господа...»)

— Вот список, пополненный в мое отсутствие генералом Гиссером, — продолжал Лаше. — Мы его обсудим и установим очередь. Первый номер: матрос Варфоломеев...

Голос Извольского:

— В расход...

Эттингер — вскользь:

— С ним придется здорово повозиться...

— Вторым номером — семья народного комиссара Красина.

Извольский:

— А что это нам даст?

— Это даст нам самого Красина...

— Ага... Не спорю...

— Третий — полпред Воровский... Он еще в Стокгольме. Но с ним так же, как и с Красиным, я бы несколько подождал, господа, вернее — я бы не с них начал. Четвертый — это также по политической линии... Я говорю о загадочном лице, недавно прибывшем из России, — нашей разведке он известен под кличкой «в голубых очках»... Имени установить не удалось. Граф де Мерси сказал мне сегодня, что посылал запрос в Париж, и Сюрте ему ответило, что московский агент Сюрте предупреждал о возможности появления в Европе крайне опасной личности в голубых очках...

— Я его знаю, — крикнул Биттенбиндер, — голубые очки — харьковский чекист... Этому молодчику спицы надо под ногти!

— Детали обсудим после... Пятым в списке — Леви Левицкий (удовлетворенное рычание собеседников...) и, наконец, шестой — Ардашев... (Снова одобрительные восклицания.) Эта тройка — Леви, Ардашев и Варфоломеев — не вызовет никаких политических неприятностей, здесь можно действовать без оглядки, кроме того, господа, вы сами понимаете, это *вещественно*... Поэтому

я и предлагаю: начать с этой тройки. А чистой политической займемся уже во вторую очередь.

Биттенбиндер:

— Bravo!

Эттингер:

— Поддерживаю...

Затем — холодный голос Извольского:

— Я не согласен... Господа, прежде всего мы должны оправдать свое лицо... Мы боремся за поруганную и распятую монархию... Мы — братья белого ордена — боремся с большевиками, то есть: с агентами сионских мудрецов, с еврейством в целом и с его прихвостнями — российскими либералами и интеллигентами. Наша цель — вернуть России ее исконную святыню и восстановить золотой век, когда государственный строй был подобен небесной иерархии: народ был покоен и чист духом, высшие силы заботились и пеклись о нем. Крестьянин был сыт, здоров и весел, под отеческой опекой крестьянин истово трудился, имея видимую цель: своего барина — своего отца. В свою очередь над барином стояли высшие силы, и вся незыблемая система осенялась славой горностаевой мантии помазанника. Было легко дышать, легко жить... Так вот, господа, я полагаю, что первый наш акт должен быть чисто политическим. Это наш первый долг, этим мы поднимаем себя на моральную высоту и смело взглянем в лицо нашим друзьям... Иначе — Лига разменяется на мелкие операции...

Его перебил рев Биттенбиндера:

— Хороши мелкие операции! У Леви Левицкого полмиллиарда крон на текущем счету...

— Вы меня не поняли, поручик Биттенбиндер, я говорю — мелкие в моральном смысле...

— Ну, это уже тонкости...

Лаше — мягко Извольскому:

— Не забудьте, что организация казни крупного политического лица требует огромных предварительных затрат. Ассигнованные нам суммы — капля в море, да и капля-то еще в море, а не у нас... Прежде всего мы должны пополнить нашу кассу... Итак, вопрос о Леви Левицком, Ардашеве и Варфоломееве я считаю решенным... Мой план захвата этих лиц таков...

Налымов проснулся, зажег электрическую лампочку у дивана и стал поджидать Веру Юрьевну.

Внизу в столовой бубнили голоса. Деревянные стены дома резонировали тревожно, будто волны беспокойных мыслей бежали до чердака, уносились в ночь, рассыпавшую августовские звезды над домом.

Налымов подумал лениво: «Совещаются...» Но где Вера Юрьевна? Ему до того внезапно стало жалко ее, что он сморщился и потер грудь там, где тупой болью сжималось пропитое сердце. «Да, братец ты мой... Пора, пора... Довольно, будет. Пора, братец мой...»

Под его постелью стоял чемодан, в нем в скомканном белье, в коробке от мыла, среди бритвенных принадлежностей, грязных воротничков и прочей ерунды — маленький браунинг... Эта его смерть была далеко запрятана, как у Кощея бессмертного.

Он повторил: «Пора, пора!» — но даже и не пошевелился. Значит — еще не «пора». А не пора потому, что, кроме него, еще — Вера... «Да, накачал бабу на шею... А, собственно говоря, если бы не накачал? Неизбежно, братец мой, все равно — неизбежно, — не ее, так другую, именно такую. Да, братец, живуч все-таки человек...»

Осторожно скрипнула дверь, вошла Вера Юрьевна.

— Приехали, — шепотом сказала она и села у него в ногах на диван. Лицо ее было жалкое. Зрачки — во весь глаз. — Дождались...

Василий Алексеевич спросил как можно спокойнее:

— Что именно случилось?

— С завтрашнего дня начинают... Как мясники... Ну, ты понимаешь, — как мясники!.. Что же это такое? — Она тихо заломила руки.

— Хочешь, дадим знать полиции?

— Ах, у них все — шито-крыто... У них поддержка повсюду. Все предусмотрено. Они спокойны! Пойми, какие-то фантастические злодеи!

У Василия Алексеевича задрожало где-то в кишках. Осторожно спустил ноги с дивана. У Веры Юрьевны зрачки сузились; она следила за ним, не отрываясь. Да, надо было решать... Дряблая воля, давно отвыкшая велесть, мелко тряслась где-то в кишках... Но понимал: «Прижали вилами — выкручивайся...»

— Вера... Если ты в состоянии,— бежим...

Она — быстро:

— Куда?

— Не знаю пока еще... Там увидим... Во всяком случае, у нас будет какое-то одно очко... (Зрачки ее замечались.) А здесь они используют тебя и уберут, как ненадежного свидетеля... И тебя, и Лильку, и Машу...

— Я это знаю... Я этого давно ждала... Ведь это же — мясная лавка! Нужно бежать сейчас, — они, кажется, уже там напились... В Финляндию и в Петроград! На границе нас схватят, и мы расскажем все... Я скажу... (Вытянулась, зрачки — как точки...) Господин комиссар!.. Мы бежали к вам — предупредить о кошмарном преступлении... Мы — из шайки убийц. Найдете нужным — расстреливайте нас... Ведь все равно же, Вася!

— Конечно, конечно... Я бы даже так сказал: приятно быть зрителем, но наступает час, когда нельзя быть зрителем... Тут не в опасности, конечно, дело... Но есть предел грязи, мерзости...

— Да, да, да...

— Теперь — практически: бежать, конечно, сегодня, сейчас... Взять только деньги и драповое пальто... Когда доберемся — там уже будут дожди, а в Питере теплого не достанешь. Да! Надень высокие башмаки... А я пойду в столовую и подпою их хорошенько...

— Сам не напейся, Вася...

— Брось!.. И жди меня на шоссе... Мы еще захватим последний поезд в Стокгольм...

Вера Юрьевна молча обхватила его, прижалась лбом, носом, губами к его жилетке. Он отогнул ее голову, растрепал волосы, погрозил пальцем ее взволнованному лицу:

— Не сплеховать!

— Нет... Иду...

Дверь в это время толкнули. В комнату вскочил Хаджет Лаше, за ним вошли Биттенбиндер и Извольский. Изрытое воспаленное лицо Хаджет Лаше кривлялось и прыгало, слясь сорвать маску. Бешенство застряло у него в горле, — он шипел, заикался и брызгался. Вера Юрьевна попятилась в ужасе.

Биттенбиндер подошел к Налымову и ударил его ру-

кояткой револьвера в переносье. Василий Алексеевич схватился за голову, повернулся к дивану, нагнулся, — кровь выступила между пальцами. Вера Юрьевна закричала. Извольский сказал с кривой усмешкой:

— Господа, мы слышали все. Прошу вас не покидать этой комнаты... Мы сделаем короткое совещание и вынесем приговор...

46

В одной из стокгольмских газет появилась заметка в отделе происшествий:

«При загадочных обстоятельствах исчез курьер русского посольства некто Кальве. Идет речь о посольстве Советов, захватившем помещение царского посольства, которое принуждено теперь ютиться на окраине города. Настоящая его фамилия Кальве-Варфоломеев. Это один из матросов ушедшего в Румынию царского броненосца «Потемкин». Бунтовщики, как известно, находились под охраной международного права и свободно проживали в Европе под своими именами. Перемена Варфоломеевым своей фамилии наводит на мысль, — не скрывалось ли под этим намерение укрыться от уголовной полиции?»

«...До сих пор стокгольмской полиции не удалось выяснить причину исчезновения Кальве-Варфоломеева, также и то — было ли тут наличие преступления, или Кальве-Варфоломеев исчез, выполняя какие-то таинственные задачи...»

Откликаясь на эту заметку, ревельская (русская) газета опубликовала статью небезызвестного русского писателя-эмигранта — Н. Н., с огромным темпераментом взыскующего к народам Антанты:

«...Вы, гордые своей цивилизацией, мощью и богатством, вы, удовлетворенные плодами победы и мира, вы, беззаботно посылающие своих слуг в ближайший магазин за хлебом, мясом, сахаром и папиросами, вы, безопасно разгуливающие в прочных ботинках и дорогих одеждах по улицам блестящих городов, вы, по ночам не просыпающиеся в ужасе от звука подъехавшего автомобиля... Вы, с высоты благополучия, спокойно взираете на окровавленную Россию, где ваши братья, — пусть младшие, — лишены всего, понимаете ли вы, лишены

элементарных прав человека и гражданина!.. Антихристовой формулой мы лишены хлеба! А вы слышите наши предсмертные вопли и не спешите на помощь... Мало того... Вы даете убежище большевикам и их приспешникам — вместо того чтобы сажать их, как диких зверей, в железные клетки. Да знаете ли вы, что большевики готовят вам, вашей цивилизации, вашему спокойствию? О, мы, русские, могли бы порассказать об ужасах, перед которыми побледнеет самая болезненная фантазия!»

Следовало на трех столбцах перечисление большевистских ужасов. Далее автор переходил к биографии Кальве-Варфоломеева — «этого гориллообразного зверя-большевика». Автор не сомневался, что гориллоподобный курьер, наведя полицию на ложный след, на самом деле отправился в Венгрию раздувать пламя преступной революции.

Выдержки из статьи перепечатала стокгольмская газета, после чего толпа разношерстных людей собралась перед советским посольством, пыталась ворваться в парадный подъезд, но, потерпев неудачу, выкинула андреевский флаг и камнями выхлестала окошки в первом этаже.

В уборной для артистов — в «Гранд-отеле» — Мари пудрила плечи. У соседнего зеркала голая, лимонно-матовая, совсем молоденькая мулатка тихо оттаптывала джигу, упершись в бедра худыми руками, полузакрыв ресницы. Шесть «герлс» переодевались в спортивные юбочки среди хаоса сброшенного белья, картонок и искусственных цветов.

От резкого света стосвечовых ламп лица женщин казались кукольными, глаза — стеклянно-прозрачными. Говорили немного, негромко, профессионально озабоченно. Дули на пуховки. Деловито испытывали движения, гримасы лица, повороты тела — те самые, с трудом найденные и точно рассчитанные движения, которые из вечера в вечер превращались на эстраде в возбуждающую женственность. Там, с помоста, женщины улавливали нормальное для успеха номера количество обращенных

к ним мужских лиц, нормальное вожделение. Выше этой нормы возбуждения ужинающих самцов они не шли, — каждое лишнее движение в сторону красной физиономии, давящейся бифштексом, было бы утомительно, не профессионально и грязно. Мари с первых же дней поняла эту границу. Среди певичек, плясуний, «герлс», акробаток, фокусниц она почувствовала такую забытую потребность в уважении, товарищеской ласке, дружбе, что эта тесная, пропахшая потом и пудрой уборная стала для нее островком спасения, куда ее — загаженную по уши в грязи и крови — выбрасывало, как на свежий воздух. Здесь никогда ни о чем не спрашивали, были дружны и внимательны и с профессиональным уважением относились даже к ее сильно пропитому голосу и дрянным песенкам, которые она пела с эстрады.

Мари напудрила плечи, через голову набросила платье в блестках. Оно застегивалось на спине. Она подошла к голой мулатке, тихо отплясывающей джигу. Застегивая ей на спине платье, мулатка сказала на ухо:

— Вам нужно похудеть, Маша, — и прищепила жирок у нее на боку. — Здесь это сойдет, но в Париж вы не подпишете с такими боками. Перестаньте есть сладкое и мучное.

— Меня губят ужины, — с огорчением сказала Мари. — Я обязана заказывать.

Застегнув платье, девушка ласково шлепнула Мари по задку. Мари поцеловала узкое, с большим ртом, чуть плосконосое личико мулатки, ласково улыбнувшейся от поцелуя. Вернулась к зеркалу: «Да, жирна...»

— Мари, можно?

В полуоткрытую дверь просунулась бледная Лилька, — глаза птичьи, круглые, вся насыщена дрянью. Мари поспешно вышла к ней за дверь:

— Зачем явилась? Знаешь — я не люблю.

— Мари... (Дрожащим шепотом.) Мне — опять поручение...

— Я тут при чем?

— Ты всегда ни при чем — одна я отдувайся... Слушай, этот Кальве, оказывается, исчез, — которого я привезла на дачу-то... В газете напечатано — разыскивается полицией...

— Тише ты! — Мари прикрыла дверь. — Ты что узнала?

— Ничего я не узнала. Понимаешь, когда я его отвезла в Баль Станэс, мне велели вернуться и ждать тебя в «Гранд-отеле» до утра... И в это именно время, — я уверена, — что они его... (Всхлипнула.) Боюсь, Маша... Теперь велели привезти Леви Левицкого.

— С Верой говорила?

— Что ты!.. К ней подойти-то страшно...

Помолчали. За бархатным занавесом кулис на эстраде настраивали оркестр. Прошли четверо, в клетчатых широких пальто с поднятыми воротниками, в мохнатых кепках, в руках одинаковые чемоданчики, — братья Хипс-Хопс, воздушные эксцентрики. Задний ласково кивнул Мари. Тогда Марья Михайловна задрожала от отвращения и — тихо Лильке:

— Ну вас всех к черту... Убирайся отсюда к черту!..

Лилька подняла плечи и пошла, не оборачиваясь. На голове ее нелепо, как на манекене, торчала шапчонка — дурацким колпачком.

Лили села в вестибюле на обычное место, у камина.

Не переставая махали стеклянные половинки парадных дверей. Входили и выходили люди, уверенные в своем праве нести себя через жизнь. Вплывали и уплывали на спинах служителей огромные груды элегантного багажа. Как сказочные гномы, выскакивали из мягко упавших лифтов ливрейные мальчики со множеством блестящих пуговичек на курточках. В коробки лифтов входили Уверенные и женщины Уверенных, — для них, только для этих земных божеств тутовые гусеницы ткали шелк, громадные кашалоты копили амбру в мочевых пузырях, под землею уголь спекался в алмаз, седел соболь под северным сиянием и восемьдесят процентов человечества добывали эти и другие прекрасные вещи, получая взамен скромное счастье созерцать красивую жизнь земных божеств, так умело и так цивилизованно пользующихся дарами природы и рук человеческих.

Среди Уверенных одна Лилька, хипесница, сидела чужая, с глупыми круглыми глазами перепуганной птицы. На прошлой неделе она выполнила задание Хад-

жет Лаше, — привезла Варфоломеева в Баль Станэс. Вышло это так. Предварительная слежка установила, что Варфоломеев посещал антикварную лавку и приценивался к восточным коврам. Лили должна была подойти в вестибюле к Варфоломееву и попросить как соотечественника помочь ее горю: старушка мать лежит-де при смерти, все продано и заложено, но у них-де осталась одна вещь — персидский ковер, она хотела бы за него — ну хоть пятьдесят крон... Если Варфоломеев спросит, откуда ковер, — объяснить, что покойный папочка — швед по происхождению — работал в России, но из-за плохого здоровья оставил службу и еще до войны перебрался вместе с семьей в Стокгольм. А ковер-де — подарок бывшего хозяина.

Когда Лили подошла в вестибюле к Варфоломееву и заговорила, Хаджет Лаше и Биттенбиндер стояли в двух шагах. Лили была как под гипнозом. Варфоломеев сначала слушал подозрительно. Но у Лили от волнения выступили слезы, бормотала она так бессвязно и жалобно, что его широкое крепкое лицо вдруг смягчилось, виски у глаз собрались морщинками, но неожиданно все едва не сорвалось: он просто предложил ей эти пятьдесят крон взаймы. Лили растерялась. В нее воткнулись черные глаза Хаджет Лаше. Лили замотала головой. Варфоломеев вынул деньги. Тогда Хаджет Лаше решительно вмешался.

— Простите, сударыня, — сказал он Лили, — я нечаянно подслушал ваше предложение господину... (Высокомерно поклонился насупившемуся Варфоломееву.) За персидский ковер я мог бы дать более высокую цену.

Лили под колючим взглядом ответила, что уже сговорилась с господином... Лаше, ворча, отошел... Варфоломеев пожелал сейчас же взглянуть на ковер. Лили попросила подождать до вечера. В сумерки они встретились у выхода из гостиницы и сели в поджидавшее такси. За шофера сидел сын генерала Гиссера, Жоржик, отчаянный автомобилист. Выбравшись из людной части города, он на ураганной скорости погнал машину в Баль Станэс.

Все дело прошло как по маслу. У Варфоломеева не закралось подозрение, даже когда Лили ввела его в тем-

ную дачу, попросила подняться наверх в гостиную, и не зажигая света, оставила одного.

Лили тотчас же увезли обратно в Стокгольм. Когда наутро она и Мари вернулись, на даче никого не было, одна Вера Юрьевна заперлась на ключ и не откликнулась. Неожиданно Лили обнаружила разгром у себя в комнате — одеяло с постели сорвано, простыни исчезли. Лили и Мари обошли оба этажа: все — на местах, как и стояло, только в гостиной паркетный пол как будто недавно был вымыт. Сунулись опять к Вере Юрьевне, — к себе не пустила, шипела, как змея, за дверью... хотя такое ее настроение легко можно было объяснить после внезапного отъезда Налымова в Париж.

Лили не отличалась склонностью углублять явления, так и на этот раз она отмахнулась от непонятного. Но во вчерашней вечерней газете прочла, что полиция «идет по следу таинственного преступления»... «Варфоломеев исчез или убит?..» «Кто он — жертва или преступник?..» У Лили от страха расстроился кишечник. Всю ночь она прислушивалась к шорохам, но полиция не явилась в Баль Станэс. Началось томительное ожидание катастрофы. Все тело ее точно измолотили невидимыми дубинками. Сейчас Лили сидела в вестибюле и воспаленными кончиками нервов ждала громового голоса: «Сударыня, следуйте за мной...»

Теперь Хаджет Лаше приказал ей привезти на дачу Леви Левицкого. Ему опять показали Веру Юрьевну. Накануне за уроком Лили сообщила ему, что княгиня будет в Стокгольме у ювелира. Леви Левицкий попросил Лили пойти вместе с ним... Они долго стояли на тротуаре у ювелирного магазина. Вера Юрьевна подъехала в машине, вышла и остановилась у витрины, где на черном бархате колючими лучами переливались камни. Вера Юрьевна была в седых соболях, бледна, потрясающе шикарна. Перед витриной, в блестящей суеулицы, эта неподвижная, высокая и недоступная женщина отшибла у Леви Левицкого остатки благоразумия. Он намеревался было заговорить, но Вера Юрьевна, не замечая его, вернулась в автомобиль и исчезла среди несущихся вниз по крутой улице машин, автобусов, трамваев. .

На диван рядом с Лилькой тяжело плюхнулся Леви Левицкий. Она обмерла. Он положил горячую руку на ее колено:

— Когда же, когда, Елизавета Николаевна? Завтра наверное?

— Да... (Чуть слышно.) Завтра... Вечером...

— Вы чем-то расстроены, золотко мое? Ну-ну-ну... (Потрепал по колену.) Только шепните ей про меня — ничего для вас не пожалею...

Лили поглотала слюну, — средство не помогло: как из лейки, вдруг брызнули слезы. Уткнулась в платок. Леви Левицкий с горячей отзывчивостью сжал ее руки, нагнулся к лицу:

— Детка моя, кто же вас так расстроил? Можно помочь как-нибудь? Ай-ай-ай... Денег, что ли, нет? Э, бросьте, а Леви Левицкий на что? Пойдемте-ка, золотко, ко мне в номер да выложите все, как родному брату...

Лили ладонями зажала трясущийся рот, чтобы не заорать на весь вестибюль. Кое-кто из Уверенных стал уже оборачиваться с негодованием... Нахмурился портье за конторкой. Тогда Лили стащила с себя шапочку и закрыла ею лицо. Еще секунда, и она уткнулась бы в грудь этого доброго Леви Левицкого и вырыдала бы всю свою отчаянную растерзанность. Но вовремя от этого безумного шага ее удержал пристальный взгляд Биттенбиндера, — поручик был в смокинге, цилиндре, с черым плащом в руке.

— Нет, я оттого, — пролепетала она, — что моя мамочка при смерти.

Леви Левицкому вспомнился зарубленный петлюровцами папашка. Искренне и пылко жалея девушку, он настоял, чтобы она пошла с ним ужинать. Биттенбиндер сделал знак, и Лили согласилась.

Тогда ночью в Баль Станэсе президиум Лиги вынес смертный приговор Налымову и Вере Юрьевне. И она и он выслушали его с каким-то даже облегчением, — наконец кончена канитель! Извольский, прочтя приговор, разорвал бумажонку и обрывки поджег спичкой. Вера

Юрьевна и Налымов сидели на диване, президиум расселся напротив, Хаджет Лаше немного впереди других. Он уже успокоился, подогнул под стул ногу, уперев руку в бедро, поигрывая концом кавказского пояса, игриво поглядывал на Веру Юрьевну. Выдержав минуту, чтобы приговоренные полной мерой хлебнули предсмертной тоски, закончил решение президиума:

— Считаюсь с нуждами Лиги, мы откладываем исполнение приговора и даже даем обоим государственным преступникам возможность загладить беззаветной работой свой проступок. Полковник Налымов немедленно выезжает в Париж к своим обязанностям, княгиня Чувашева остается здесь под моим личным наблюдением...

Налымова увезли в автомобиле на следующее утро, не разрешив проститься с Верой Юрьевной. Она получила от него на другой день открытку в два слова. Ночью Хаджет Лаше говорил Вере Юрьевне:

— Красавица моя, от вашего поведения зависит жизнь полковника Налымова: попытайтесь послушаться меня хотя бы в мелочах, — обещаю прострелить ему башку. Понятно? Его я также предупредил, что спущу вас в мешке в озеро, если он попытается вилять там, в Париже. Понятно? Кроме того, если он сделает глупость — донесет полиции, донос поступит ко мне же, в первую голову. Последствия понятны. Ну-с, а ваши предположения, что всех вас по миновании надобности Лига «уберет», как вы или Василий Алексеевич тогда выразились, кошечка моя, — истерический вздор. Денежную долю выделим вам широко, милуйте себя на здоровье хоть на Соломоновых островах... Пора понять: в политике я жесток, вне политики доброжелателен. Может быть, я — последний романтик, почитали бы все-таки мои книжечки. Особенно рекомендую роман «Убийца на троне». Там с большой эрудицией описываются турецкие пытки... А также глубокое знание женской души... (Весело открыл зубы.) Итак, по рукам?

Что же ей оставалось? Хаджет Лаше внушал ей ужас. Он и не скрывал, что намеренно усиливал близость между ней и Налымовым. «Не на один, так на другой крючок вас возьму, если смерти не боитесь». И действительно, если в ней и оставалось что-нибудь живое — так только отчаянный страх за Васеньку.

Оставаясь одна на даче, Вера Юрьевна тихо выла в подушку. И приказания Хаджет Лаше исполняла в точности. Только один раз, недавно ночью, не выдержала... Затыкала уши, совала голову под подушку, — не могла больше слушать протяжного крика боли, доносившегося из гостиной. Крик обрывался. Она различала мужское всхлипывание. Начиналась омерзительная возня... Бормотание голосов. Удары. Тишина. Острый крик раздирал ночную тишину. (Хуже всего, что она видела из окна в Лилькиной машине этого Варфоломеева.) Кричал сильный, полный крови человек...

Вера Юрьевна сорвалась с постели, выскочила на балкончик, сползла по низко спускающейся крыше на луг, побежала к озеру и дальше — к березовому леску. И там до зеленого рассвета тряслась в одной сорочке.

Но и эта ночь миновала. Остался только непроглотный клубок в горле, — не запить никаким вином. Веру Юрьевну два раза таскали в Стокгольм — вечером в ресторан, днем на свидание с Леви Левицким у ювелирного магазина.

Наконец Лаше сказал:

— Завтра его привезут. Может, все обойдется вполне прилично, — я еще не решил... Тогда вам придется пофлиртовать. Не давайте себя откровенно лапать, но и не очень его отпугивайте.

Леви Левицкий брился, стоя перед зеркальным шкафом. Что могло быть лучше ощущения горячего прилива жизни! Черт возьми, какая легкость! Кровь так всего и обмывает, мыло шипит на щеках — до чего щеки здоровы. Хорошо, что вчера не пил водки (угощая ужином Лили), только стопочку шампанского! Здесь пить надо бросить, — жизнь пьянее вина. Водка, спирт, автомобильная смесь, — пили мы, братишечка, чтобы отмахнуться от жизни... «Эх ты, яблочко!..» Он повел плечом, и ноги сами притопнули по ковру. Это же — счастье, полная жизнь! И, вдруг испугавшись, — не прыщик ли? — придвинулся к зеркалу. И загляделся на себя... Ах, Леви Левицкий, ты ли это?

Положив бритву на стеклянную доску на туалете, смочил полотенце одеколоном, осторожно вытер щеки и шею. Припудрился тальком из пестрой жестянки. Эти предметы высокой культуры, разбросанные по столикам и креслам, усиливали ощущение полноты жизни. А помнишь, братишка, питерский пропотевший френч, хлюпающие сыростью башмаки, белье, липнущее к телу? Благословенны шелковые кальсоны, паутиновые носочки, лакированные башмаки, внутри выложенные замшей и посыпанные тальком, чтобы нога нежилась, как в утробе матери.

Он отворил дверцу в ванное помещение — изразцы озарены пестрым витражом окна. Повернул никелированные краны, синеватая горячая вода зашумела в белую ванну, поднимая облачка пара, и вдруг ему стало страшно: слишком уже все хорошо... А вдруг все это — на ниточке? Он сел на край ванны, мрачно задумался. Еще в постели он просмотрел утренние газеты. Германия в особенности внушала самые серьезные опасения. Очень ненадежно. «Черт их знает, на что-то надеются же большевики. Прут напролом, да еще издеваются... Какие-то данные должны у них быть для такой уверенности. Ой-ой-ой!.. Версальский мир! Пропаганды для европейской революции лучше и не придумать».

Леви Левицкий закрыл воду, сбросил пижаму и, вздрагивая от звериного наслаждения, лег в ванну. Глядел на пестрых рыцарей на витраже.

«Что, если все — вздор? Русская революция просто — затянувшаяся демобилизация? Большевики — книжники, спятившие с ума? Ну-те-с! Тогда версальцы не такие уж ослы. Германия и Россия — две половинки одного тела, — индустрия и сырье. Версальский мир весь целиком направлен против Востока, — считая от Рейна до Тихого океана. А если так, — Антанта получает рынок, какой и не снился человечеству. Германские заводы переходят к Франции и Англии. Широкий карательный марш на Восток. Народишки российских федеративных республик разметываются, как мусор. Вслед за армиями Антанты вливается излишек европейского населения. И великолепнейшую буржуазную культуру железным гвоздем приколачивают до самого земного

пупа на веки веков — от Великой Британии до Тихого океана».

Леви Левицкий длил наслаждение, поворачиваясь с боку на бок в ванне. Нет, будущее — лучезарно. За будущее он спокоен. И мысли его перенеслись к волнующей женщине из Баль Станэса. Вдруг он вспомнил: «Черт, цветов забыл!» Торопливо вышел из воды, растерся, надушился, припудрился и начал одеваться, выбрав самый лучший костюм.

Роскошной бабочкой Леви Левицкий стремительно летел на огонь. По телефону он заказал букет белых роз. Легко позавтракал, без вина, — только рюмочка ликера с черным кофе. Спросил гавану в шесть крон. Попыхивая ароматным дымком (каким попыхивают только самые богатые люди на свете), самоуверенно, неторопливо вышел в вестибюль за шляпой и тростью. Навстречу с кожаного дивана поднялась Лили, пробормотала, что автомобиль уже нанят и ждет.

— Превосходно, — сказал Леви Левицкий, беря у ливрейного мальчика шляпу и трость. Его не удивило ни землистое лицо Лили с провалившимися глазами, ни то, что нанятый автомобиль стоял не у подъезда, но довольно далеко от гостиницы, за углом.

Усевшись на заднее сиденье машины, Леви Левицкий сказал адрес цветочного магазина. Шофер (Жоржик Гиссер), как будто не поняв приказа, быстро поехал не в сторону Биргельярлс-гатан (где был цветочный магазин), а к набережной. Леви Левицкий схватил его за плечо (Жорж, не оборачиваясь, болезненно оскандился) и крикнул с раздражением:

— Елизавета Николаевна, скажите этому болвану по-шведски, — я должен заехать за букетом...

Машина повернула на Биргельярлс-гатан. В то время, когда Леви Левицкий платил в магазине за цветы, шофер Жорж успел заскочить в уличный автомат и по телефону запросил Баль Станэс:

— Гость наследил. Что делать?

Голос Хаджет Лаше бешено, отрывисто:

— В чем дело? Точнее...

— Покупает на Биргельярлс-гатан огромный букет. Десятки свидетелей...

— Невозможно!.. (Голос захлебнулся и затараторил татарские ругательства.) Все делается из рук вон! Позовите к телефону Елизавету Степанову. (Жорж ответил: «Нельзя, говорю из уличного автомата».) О, черт! (Опять по-татарски.) Ананасана... Бабасана! Везите, все равно...

Букет был завернут в тончайшую шелковую бумагу. Леви Левицкий держал его на коленях, как свое счастье.

Он был счастлив за эти двадцать пять минут перегона по великолепному шоссе от Стокгольма до Баль Станэса. Он сказал Лили, что Европа для него в сущности тесна, развернуться можно только в Америке, где, «душка моя, вот вам мое слово: этих башмаков не изношу, — буду иметь собственный банк и парочку небоскребов...»

На завороте шоссе автомобиль почти коснулся крылом мелькнувшей навстречу машины, — она шла из Баль Станэса в Стокгольм. За стеклом две пары свирепых глаз укололи Леви Левицкого. Но заметила это только Лили, узнав Биттенбиндера и Эттингера. Затем — за поворотом — открылось кубово-синее, среди желтеющей листвы, длинное озеро. Лили указала на черепичную кровлю уединенного дома. Быстро покрыли дорогу вдоль леса. У подъезда дачи на садовой скамейке сидел Хаджет Лаше и добродушно курил из длинного мундштука.

— А-а, милости просим, милости просим... Давно друг друга знаем, но не знакомы, рад, очень рад, — сказал Хаджет Лаше, задерживая руку Леви Левицкого. — И с цветами! По-европейски. Княгиня вас поджидает... Не нравится мне ее здоровье, — настроение, нервы... Да, да, все мы здесь чахнем потихоньку без родной почвы... Вера Юрьевна! — крикнул он, задрал к окну голову и расставя ноги, — гость из Петрограда... Да, поджидает она вас, очень поджидает... Елизавета Николаевна, по русскому обычаю гостя надо бы чайком. (Лили сейчас же ушла в дом.)

— Да вы садитесь, Александр Борисович, в ногах правды нет... Давно ли из Петрограда? Ах, иногда все

кажется, как сон какой-то... Помню, — давно ли это было, — Невский проспект: чинно, строго, прочно. Войска проходят с музыкой... Спешат чиновники, мчатся коляски, юнкера на лихачах. Помните пару вороных под синей шелковой сеткой — запряжку императрицы? Любил я глядеть, как, бывало, идет генерал в кожаных калошах с медными пятками, помните? Может быть, сам-то по себе заурядный человек, но сознание в лице, что — высший представитель империи. И это было внушительно. Солдаты — раз-раз — во фронт, юнкера — дзынь, дзынь — в четверть оборота, локоть — в уровень козырька! Красиво! И вместо этого на пустынном Невском — выбитые стекла и лошадиная падаль. Да, да, вот сижу здесь и размышляю о скоротечности всего земного...

В это время произошло что-то мгновенное и мало понятное... В дверях дома появилась Вера Юрьевна. Только по росту, по меху на плечах Леви Левицкий узнал ее, — бледное, густо напудренное лицо ее было искажено гримасой перекошенного рта. Соболий палантин у самого горла она стискивала худой, в перстнях, рукой, ногтями — глубоко в мех. На пороге споткнулась и с каким-то отчаянием протянула руку перед собой. Хаджет Лаше кинулся к ней, втокнул в дом и захлопнул за собой и за нею дверь. Все это — в долю секунды. Леви Левицкий в недоумении остался на скамейке.

Дотащив Веру Юрьевну до внутренней лестницы, Лаше придвинулся вплоть вздувшимся от гнева лицом и — без голоса:

— Это что же... знаки? Ананасана! Знаки подаешь? Марш! В постель!.. Лечь... Предупреждение последнее...

Под мехом он ловил ее руку, чтобы сломать пальцы. Вера Юрьевна пошла наверх по лестнице неживыми шагами. Лаше вернулся к Леви Левицкому. Ударил себя по ляжкам. Сел:

— Вы видели? Ну что с ней поделаешь! Опять припадок истерии. Переволновалась, ожидая вас, что ли... Приказал, буквально силой, — лечь... (Всовывая папиросу в длинный мундштук.) Доктора, ах, доктора! Кого ей только не привозил... Без докторов, понятно, что — будь при ней муж, любовник; грубо говоря, хороший самец, — вот и все лекарство. Да, тяжело, Александр

Борисович, мне, право, совестно перед вами... Да и княгиня будет в отчаянии... Приезжайте-ка к нам, батенька, запросто ужинать... Будут милые люди... Засидимся — останетесь ночевать... Условились, а? Завтра вечером, идет? Этот же шофер вам и подаст машину... Но только уж никаких букетов... И просьба... Не говорить никому... Знаете, голодные эмигранты такая бесцеремонная публика, — чуть где запахнет ужином, — так и тянутся на огонек...

Остаток дня Леви Левицкий прогуливался по Вазагатан. Купил чудные перчатки антилоповой кожи и машинку для точки бритв. Потом зашел в кино, где шла новинка — «Три мушкетера». Три французских дворянина и их друг совершали чудеса храбрости во имя чести, Франции и короля. Леви Левицкий скучал, — кому нужна эта неправдоподобная чепуха?

Ужинать пошел в известный кабачок «Три рюмки», но и здесь было скучновато, пресно. От сегодняшнего посещения Баль Станэса оставалось смутное впечатление чего-то болезненного и тоже неправдоподобного... «А не бросить ли канитель с этой бабой? Наверное, с фокусами, подумаешь — аристократка!..» Спать он лег раздраженный, неудовлетворенный.

Утром, лежа в ванне, окончательно решил: довольно нежиться, довольно сладострастничать, мотать деньги. Первое — прочь из этой дыры, Стокгольма, — на простор, в Америку. В девять часов он позвонил Ардашеву и к двенадцати поехал к нему завтракать. Задача: устроить через Ардашева американскую визу.

Николай Петрович встретил его, размахивая объемистым конвертом, сплошь облепленным марками — они тянулись в виде хвоста на особой подклейке. Леви Левицкий засмеялся:

- Узнаю советскую почту. От кого?
- Представьте, дошло! От Бистрема.
- Ну-ка, ну-ка?
- За кофе прочтем.

Сели завтракать. После водочки, когда у Ардашева увлажнились глаза, Леви Левицкий изложил просьбу

об американской визе. Николай Петрович отнесся к этому чрезвычайно серьезно.

— Дорогой мой, вы хотите окончательно эмигрировать?

— Не понимаю такого вопроса, Николай Петрович — я не был и не буду эмигрантом... Я должен испытать счастье, раз уже вырвался за границу... Во мне столько темперамента, столько энергии, удачи, честное слово, — жалко бросать Советской России такой кусок! Ей нужен Буденный, а я боюсь острых предметов, сижу на лошади, как собака на заборе. Года через три или я сделаю миллионы, или лопну, как мыльный пузырь... Тогда уж вернусь в Советскую Россию, расскаюсь (рассмеялся) и отдам себя революции. Вы понимаете, я — слишком Я... Это мне мешает спать. Зла трудящимся я не собираюсь делать, разве пущу в трубу десяток-другой спекулянтов...

Ардашев снял серебряную крышку с дымящегося блюда. Близоруко прищурился.

— Мне-то уж слишком смешно быть моралистом, Александр Борисович... Эмигранты считают меня большевиком, большевики — буржуем. И те и другие правы. Я верю в правду революции, но не верю в себя и продолжаю кушать с серебряной тарелки... И вас я понимаю. Вы цельный человек... Но было бы больно увидеть вас среди врагов Советской России.

— Боже сохрани! Николай Петрович, Россия была мне злой мачехой... Но зла я не хочу помнить: Богом вам клянусь, чем хотите: будет у меня сто миллионов, все равно в душе останусь пролетарием!..

Он сказал это горячо, с верой в себя и в сто миллионов. Выпили под дымящееся блюдо. Ардашев обещал завтра же сходить в американскую миссию.

— Должен вас все-таки огорчить, Александр Борисович: Америка сейчас — не слишком удобное поле для игры. Нет ничего прочнее американских бумаг. Игра сейчас — здесь, в Европе. За войну Америка ввезла сюда товаров более чем на десять миллиардов долларов. По крайней мере половину этого не успели израсходовать. Считайте, что в Европе болтается на разных складах, в военных министерствах, у разных спекулянтов — обуви, белья, одеял, консервов, печенья, варенья, муки, та-

баку, мороженого мяса и прочего на пять миллиардов долларов. Вот и положите эту сумму себе в карман, Александр Борисович... Потом соберемся опять у меня за завтраком и посмеемся, как два авгура, знающих цену деньгам, человеческой низости и юмору.

— Слушайте, вы серьезно советуете обратить внимание на Европу? Ладно, подумаю... Читайте письмо Бистрема.

Начало письма было о матери Бистрема, — он просил Ардашева сходить к ней и, если нужно, помочь денежно. «Передайте мамочке, что здесь я, во всяком случае, в большей безопасности, чем живя в Стокгольме». Сообщал о себе: вначале он работал в Наркомпросе. «С нетерпеливостью революция требует от наук и искусств покинуть горные вершины и все свои сокровища, отдать массам. Грандиозные здания бывших учреждений и дворцов отводятся под академии. Туда привлекаются все, кто может чему-нибудь научить: ученые, академики, специалисты, поэты, философы, балетные танцоры, музыканты, режиссеры... Бесчисленное множество факультетов и аудиторий заполняется толпой рабочих и работниц, красноармейцев, подростков и стариков. Половина этих людей не знает грамоты. Но они, как растения в засуху, пьют влагу знания. В одном зале знаменитый астроном, с мешком для пайков за спиной, в калошах на босу ногу, читает о мироздании. Тысяча человек таких же голодных, как он, слушают, как зачарованные, о небесных туманностях, о лучах света, ползущих миллионы световых лет по сферическому четырехмерному пространству. Тысяча слушателей чувствуют, что эфир, туманности и свет завоеваны ими, они свои теперь, советские, как этот дворец, как этот величественный и суровый город. В другой аудитории бледнолицый поэт говорит о ямбах и хорях, трехдольных паузниках, ритме, аллитерациях, читает поэмы Пушкина под всеобщее одобрение, с бешенством нападает на символистов и поздравляет слушателей с появлением космического гения Хлебникова. В третьей аудитории деревенские парни, сняв простреленные шинели, обучаются движениям классического балета, и это не смешно, потому что революция взамен мещанских материальных благ пригорш-

нями швыряет величайшие сокровища тысячелетней цивилизации.

Жизнь с каждой неделей все тревожнее: растет голод, белые армии теснее обхватывают пределы республики.

Из Наркомпроса меня перебросили в отряды по продразверстке. Нужно силой добывать хлеб у все более лютеющего кулачья. О да, я научился ненавидеть сытых... Я пересмотрел мое философское отношение к еде. В этой точке начинается расхождение двух мировосприятий: чувственного и идейного, индивидуалистического с его «сегодня» и социалистического с его «завтра»... Я вижу, вы читаете это письмо за завтраком и улыбаетесь. Николай Петрович, я немного похож на голодного оптимиста, не имеющего чем набить желудок и бодро философствующего на тему, что не единым хлебом жив человек. Да, я хочу есть, и это мучительно. Но мозг мой ясен и верит в победу великих истин, и долю истины вы найдете в моих рассуждениях.

Самая буржуазная нация, французы, создали из еды искусство, более почитаемое, чем все остальные. В хоровод муз они ввели десятую музу — Кипящую Кастрюлю. Эту бабу, с глазами восхитительно пошлыми и засасывающими, богиню всех рантье, мелких буржуа, богиню угрюмой жадности, индивидуализма, человеконенавистничества, богиню тухлой отрыжки, называемую также — Версальским миром. Эту мировую стерву я со всей классовой ненавистью выкидываю из хоровода муз. Десятой музой я ввожу крылатую музу Революции, уносящую на своих пылающих крыльях человечество к голубым городам социализма. Она — со мной, опершись о мой стол (где пишу вам при свете коптящего фитилька в консервной жестянке), глядит в мою совесть глазами прозрачными, как математическая формула, неумолимыми, как декрет, светлыми, как утренняя заря.

Не думайте все же, Николай Петрович, что я занимаюсь здесь одной поэзией при свете коптилки. Это мой досуг, очень скудный, кстати. Вчера вернулся из двухнедельной поездки с продотрядом. Нас было четырнадцать человек — двенадцать рабочих-металлистов, комиссар и я — агитатор. Из отряда вернулись живыми двое — пятидесятилетний рабочий Чуриков и я. Двена-

дцать вагонов хлеба, которые мы успели пригнать в Петроград, стоили нам двенадцати жизней: в дождливую и ветреную ночь комиссар с одиннадцатью товарищами были зарублены топорами, сожжены вместе с сараем, где ночевали. Мы с Чуриковым спаслись только потому, что в этот час были на железнодорожной станции.

Боюсь, что мне теперь долго не придется писать вам. События для нас, петроградцев, чрезвычайно угрожающие. По нашим сведениям, Анганта серьезно принялась вооружать Юденича и финнов. Петроград — на мушке дальнобойных орудий финского берега, Кронштадт — под жерлами английских дредноутов. Наступления ждем со дня на день. А Москва продолжает высасывать у нас силы для иных фронтов. Есть слухи (но, очевидно, панические, а может быть, и провокаторские) — будто бы Петроградом на крайний случай решено пожертвовать и базу тяжелой индустрии перенести на Урал и в Кузнецкий бассейн. Слухи подогреваются приказами об эвакуации заводов. Но рабочие отвечают на это примерно так:

Рабочие Ижорского завода постановили: «Всякую эвакуацию прекратить, дабы не вводить дезорганизацию как в среду рабочих, так и во вполне налаженную работу по бронированию автомашин. Мы, ижорцы, закаленные в боях, твердо верим в победу, крепко стоим на своих постах и знаем, что и когда нужно делать, когда и какую работу производить и когда нужно заниматься эвакуацией».

Впечатление от этого письма было настолько крепкое, что Леви Левицкий и Ардашев долго молчали, — один, навалившись локтями на стол, глядел в пустую синеву окна, другой, поджав губы, мял хлебные шарики. Потом они заговорили о судьбе революции, волочащей на ногах чудовищные гири: на левой — семьдесят пять процентов неграмотного населения, на правой — интервенцию с белыми генералами и за спиной — змеиный клубок заговоров.

Ардашев откупорил бутылку коньяку, — сердца у обоих разгорячились и умилились. В этот час оба, казалось, готовы были отдать жизнь за справедливость.

— Честное слово, я вернусь, я вернусь, я должен вернуться, — повторил Леви Левицкий. — Здесь я себя

не уважаю! Человек может пачкать себе лицо, но жить в грязи? Нет! Нет!

Возвращаясь уже под вечер с затянувшегося завтрака, Леви Левицкий не останавливался перед витринами, не дергал ноздрей в сторону хорошеньких женщин. Он купил русских и немецких газет, вернулся в гостиницу, снял пиджак и сел читать. В Венгрии — революция, в Германии — вот-вот восстанут спартаковцы, в Англии — забастовки, в Италии — невообразимый хаос. Душа Леви Левицкого расщепилась. «Они правы, черт их возьми, правы, правы,— бормотал он, хватая, бросая, комкая газеты,— это начало мировой революции...» Заглядывая в котировку биржевых курсов, сличая их со вчерашними, шумно сопел носом: «Ардашев прав, деньги нужно делать в Европе, и именно там, где все на волоске». Наконец он начал ходить из угла в угол; волоча за собой табачный дым. В дверь слабо постучали. Бесцветной тенью появилась Лили:

— Вера Юрьевна просила передать, что очень извиняется за вчерашнее, непременно ждет вас сегодня к обеду, к семи часам.

— Вы знаете, я, кажется, не поеду... А? (Лили опустила голову.) Золотко мое, извинитесь за меня... Или я напишу. (Лили тенью стала уползать в дверную щель.) Может быть, отложим?

И вдруг в нем поднялось желание, такое вещественное и мучительное, что, стиснув зубы, он за руку втащил Лили в комнату.

— Подождите... Княгиня ждет меня, говорите?

— Да, они очень ждут.

— Ну, раз ждут... Буду европейцем... Что нужно — смокинг? Через десять минут буду готов.

— Я заказала автомобиль... Вы одни поедете, я позже...

Закрыв за ней дверь, он взглянул на часы: двадцать минут седьмого. Он торопливо достал крахмальную рубашку и, ломая ногти, всовывал запонки. Желание раздавливало его, как лягушку в колесной колее, и он, сердясь на запонки, бешено оскалился. Но остроумие все же никогда его не покидало: покосился в зеркало, пробормотал:

— Завоеватель Европы...

— Едет,— сказал Хаджет Лаше.

Он вышел на крыльцо. В сумерках, быстро приближаясь, шумела машина. Лаше схватился за перила, слушал, всматриваясь.

Вдали выступали из темноты березовые стволы, свет фар побежал по стволам. Лаше снял руки с перил, провел по волосам. Сошел с крыльца.

Со всего хода автомобиль затормозил. Лаше подошел, дернул дверцу. Из автомобиля неуклюже — боком вылез Леви Левицкий. Поправил шляпу, глядя на темный дом, где — ни одного освещенного окна.

— Приехали все-таки... — обеими руками Лаше потер щеки.

— А что? — почти с испугом спросил Леви Левицкий.

— Да ничего, все в порядке... Ждем... Кто-нибудь знает, что вы поехали сюда?

— Нет... Вы же просили...

— Кому-нибудь да сказали все-таки?

— Слушайте... Это странно даже...

— Завтракали у Ардашева?

— Ну, завтракал...

— Он знает?

— Что? Что он знает?

Оба говорили отрывисто, торопливо, сдерживая нарастающее волнение.

— Да никто ничего не знает,— сердито сказал Леви Левицкий.— В чем дело?

Хаджет Лаше придвинулся.

— Ах, в чем дело, хотите знать?

Это уже походило на угрозу. Леви Левицкий оглянулся, сейчас же Жорж погасил фары. В руке Леви Левицкого задрожала тросточка. Но он был больше растерян, чем испуган. Что все это могло значить? Лаше или сумасшедший, или бешеный ревнивец...

— Я не навязывался ни к вам, ни к вашим дамам... И даже ехать-то не имел особенного желания... (Леви Левицкий осмелел и петушился.) Княгиня хотела о чем-то со мной говорить... Пожалуйста... Не нравится мое присутствие? Пожалуйста...

Он повернулся к автомобилю. Жорж торопливо отъехал. Леви Левицкий остался с поднятой тростью. Лаше — мягко, с завыванием:

— Милости просим в дом, дорогой товарищ, поговорим по душам.

Больно схватил за руку выше локтя. Леви Левицкий с силой рванулся. Из темного дома на крыльцо вышли трое. У него стало тошно в ногах. Три человека сбежали с крыльца, вырвали у него трость, сбили шляпу. Двое — под руки, третий, схватив сзади за штаны, втащили в дом, в темноту. Все это — мгновенно и молча, только шумно сопел Хаджет Лаше.

— Наверх его, наверх...

Леви Левицкий в изорванном смокинге, с выскочившими запонками полулежал на угловом диване наверху, в комнате с камином. Еще в темноте его обыскали, взяли бумажник, документы, золотой портсигар, часы с бриллиантками, сорвали перстень с пальца. Кто-то, наконец, зажег свет. Четыре запыхавшихся человека стояли перед ним... У Хаджет Лаше, как резиновое, ходило ходуном изрытое лицо. Рыжеволосый Эттингер, от сердцебиения побледневший до веснушек, вытирался платком. Биттенбиндер свирепо выпячивал губы. Извольский свинцово глядел в лицо Леви Левицкому. Затем кто-то достал папиросы, и все четверо жадно закурили.

Извольский, не спуская темных от ненависти глаз с Леви Левицкого, сказал тихо:

— Мерзавец! Товарищ большевик! Ты приговорен Лигой спасения Российской империи... Сволочь, жид! Повесить... твою мать!

Он качнулся, точно падая, ударил его в лицо, но Леви Левицкий втянул голову, и кулак стукнул ему о череп. Биттенбиндер, отстраняя Извольского:

— Это ему что! Пытать его...

Извольский — тяжелым дыханием поднимая и опускающая плечи:

— Излишне... Повесить и — в озеро.

Леви Левицкий глядел на Хаджет Лаше, чувствуя, что это — главное. Лаше подошел, — он был в туго перепоясанной малиновой кавказской рубахе.

— Ты в руках грозной организации, голубчик... Тебе не уйти... Но можешь смягчить свою участь, ты понял меня?

Извольский, — топнув, резко:

— Смягчить? Не согласен...

Лаше всем телом повернулся к нему, Извольский опустил глаза... Лаше — опять:

— Ты понял, голубчик?.. Так вот: где ключ от твоего сейфа?

Леви Левицкий облизнул губы.

— Где ключ от сейфа? — повторил Лаше. — И сообщить подробно, сколько вывез бриллиантов, валюты... Поддай чековую книжку... Ну, что же ты молчишь?

Все четверо глядели на Леви Левицкого так, будто изо рта его сейчас посыплются золотые червонцы. Но он, полузакрыв веки, ноздри его трепетали, — ненависть, выношенная десятками еврейских поколений в гетто, каменное упрямство, ненависть и упрямство, более жгучие, чем страх смерти, высушили его горло, — в ответ он только проворчал невнятное...

Биттенбиндер — зловеще:

— Что-о-о? Повтори, скотина!

Лаше, — начиная завывать:

— Отказываешься отвечать, голубчик? Говорить отказываешься? (Голос взывал все выше, глаза завертелись.) В последний раз спрашиваю, голубчик: где ключ от сейфа, где чековая книжка?

Облизнув губы, Леви Левицкий, наконец, ответил:

— Я не большевик. Мои деньги — это мои деньги... Отвечать мне нечего... Бриллианты — чушь! И здесь не контрразведка...

Тогда Хаджет Лаше кинулся на него, запустил большие пальцы в рот, рвя ему губы, вертя голову. Заходясь голосом, закричал Извольский. Кричали все, сбившись у дивана. Руки Леви Левицкого кто-то схватил, скручивая в кисти. От возни поднялась пыль. Звенели стекляшки в люстре.

Лаше запыхался, отвалился. От него шел резкий чесночный запах. Леви Левицкий остался лежать навзничь на диване. Из ноздри, из угла разорванного рта ползла кровь. Одна штанина сорвана, на оголенном

вздувшемся животе — красные полосы. Он потерял сознание, когда ему вывертывали кисти рук.

Извольский опять предложил всем папирос. Схватили, закурили. Лаше, — яростно плюнув:

— Какой черт выдумал крутить ему руки?

Биттенбиндер — вызывающе:

— Я выдумал.

— Идиот!

— Но-но, потише!

— Пьяная морда. Он же должен подписать чеки... Как он будет подписывать чеки свернутой рукой? Поди — принеси воды...

Биттенбиндер принес из Лилькиной комнаты кувшин с водой. Лаше вырвал у него кувшин, плеснул, затем весь кувшин вылил на лицо Леви Левицкому. Тот застонал. Медленно очнулся. Глаза, сначала бессмысленные, налились ужасом. Он поднял изуродованную правую руку, посмотрел на нее, мокрое лицо его сморщилось от безмолвного плача. На вопрос, будет ли он теперь отвечать, Леви Левицкий вздернул голову и, пуская кровавые пузыри, начал проклинать этих четверых на том древнем языке, который слышал от папашки, читавшего талмуд. Тогда все опять сорвались.

— Огонь разводи! Огонь! Спички!.. Ананасана!.. Огня!.. — кричал Хаджет Лаше, размахивая каминными щипцами...

Вере Юрьевне давеча велели быть в столовой. Там она и осталась в темноте, — впопыхах о ней забыли. Впрочем, это было и неважно, — она была смертельно пьяна. Раскинув руки по столу, то засыпала на долю секунды, то, подброшенная толчком сердца, шептала и бормотала.

С потолка сыпалась штукатурка — наверху топот и крики. Опять та же возня... В затуманенном мозгу ее появлялась навязчивая мысль: «На кухне бидон с керосином... Опрокинуть его на лестницу... спички... взовьется огонь... Костер до самых туч... Всех — живьем. Зажарить кавказский шашлык... Боже, как гениально: шашлык из Хаджет Лаше!... «Нам каждый гость дарован богом...»

Тихо повизгивая, Вера Юрьевна смеялась, царапала скатерть. Но алкоголь оглушал, падали руки, падала голова на стол.

Наверху снова — крик. Веру Юрьевну опять подбросило. Такого крика еще не было. Дикая, нарастающая рев боли, невыносимого страдания. На весь дом разинут кричащий рот. Как может так кричать человек?

Она поднялась. Схватилась за голову. Побежала, налетела в темноте на какую-то мебель, со всего размаха упала, покатилась...

По-видимому, минутой позже Леви Левицкий, проткнутый раскаленными щипцами, с вырванным глазом, с джутовой бечевкой на шее, неожиданно (для утомленных членов Лиги) опрокинул двоих, оттолкнул третьего, кинулся к окну, разбил раму и выбросился со второго этажа. Когда члены Лиги выбежали из дому в сырую темноту, — на гравиевой дорожке лежал Леви Левицкий, уткнувшись, мертвый. Все же они еще долго топтали его и добивали.

Одиннадцатого октября северо-западная армия Юденича разорвала на две части фронт Красной Армии и начала наступление на Петроград в направлении: Красная Горка (левый фланг), Царское Село (центр) и станция Октябрьской дороги Тосно (правый фланг). Северо-западная армия, численностью в восемнадцать тысяч пятьсот штыков и сабель, при танках и четырех бронепоездах, была одета в английское обмундирование и прекрасно снабжена пищевым довольствием и огневыми припасами. Шли, как на прогулку, отбрасывая красные части.

С моря над Петроградом навис английский флот адмирала Коуэна. С севера стояла готовая к карательным действиям семидесятитысячная армия финнов. В самом Петрограде сидело тайное правительство, сформированное английским агентом Полем Дьюксом (выдававшим себя за социалиста, друга России). «Цивилизованный» мир принял к сведению заявление Юденича о том, что Петроград после взятия будет изолирован на сто дней в целях планомерной очистки города от преступного элемента и лишь по прошествии ста дней туда будут допущены гражданские власти.

Огромный заговор пронизывал в Петрограде все жизненные центры армии и флота. Люндеквист (начальник штаба Седьмой армии) и Медиокритский (заведующий оперативным отделом Балтфлота) пересылали Юденичу военные планы. Берг — начальник воздушных сил Балтфлота — передал Финляндии план минных заграждений Кронштадта. Рейтер — начальник петроградской радиостанции — отправлял радиосообщения шифрами, понятными белым. Заговор проникал в боевые части. Заговор заводил сомнительные беседы у ночных красноармейских костров. Заговор скрипел перьями в чудовищно громоздких советских учреждениях. Заговор высывал настороженный бледный нос из-за пыльных портьер в нетопленных питерских квартирах.

Красные части отступали. Белые с каждой занятой деревней воодушевлялись мщением. Четырнадцатого октября у них в цепях кидали в небо фуражки и кричали «ура»... К вечеру стало известно всему миру о взятии деникинской армией города Орла — предпоследней цитадели перед Москвой...

Жорж Клемансо, лично сам, взяв из рук секретаря телефонную трубку, сказал завывающим голосом председателю парижского совещания князю Львову:

— Кажется, я скоро буду иметь удовольствие поздравить вас с российским законным правительством?

Князь Львов, прикрыв дрожащей рукой засветившиеся глаза (это было во время заседания, в наступившей напряженной тишине), ответил тихим голосом:

— Все основания так думать, господин министр...

Из Парижа в Лондон торопливо выехал Николай Хрисанфович Денисов вместе с группой банкиров, чтобы организовать англо-русский банк для кредитования освобожденной России. На черных биржах зашевелились русские бумаги, преимущественно нефтяные акции. Северный богатырь, Митька Рубинштейн, в три дня свалил в пропасть финляндскую марку и начал взвинчивать юденический рубль.

Бурцев Владимир Львович на последние деньги денисовской дотации выпустил знаменитый номер «Общего дела» с заголовком во всю страницу «Осиновый кол вам, большевики». Со свежим оттиском газеты он ворвался на

заседание парижского совещания (объявленного непрерывным) и потребовал пятьдесят тысяч франков на окончательную дискредитацию Ленина и К°...

Русских эмигрантов охватила счастливая суматоха возвращения на родину. Неожиданно вынырнул из небытия Александр Федорович Керенский и объявил две публичные лекции на тему: «Виноват ли я!..» Не во френче и в перчатках, — каким знали его, всероссийского диктатора, — в поношенном пиджачке, с судорожно затянутым грязным галстуком на шее, с припухшим нездоровым лицом старого мальчишки, — Александр Федорович с крайней заносчивостью доказал аудитории, что если бы его вовремя послушали, то не было бы ни большевиков, ни гражданской войны, ни эмиграции, но было бы все хорошо и превосходно.

Журналист Лисовский получил блестящее назначение военным корреспондентом в Ревель. Живописность ревельских телеграмм Лисовского изумила самых прожженных журналистов Парижа. В Ревель изо всех европейских закоулков устремились сотни спекулянтов с невыгоднейшими предложениями снабжения освобожденного Петрограда всем необходимым: от австралийской солонины до венских презервативов, — на Петроград надвигались горы тухлятины и гниль. Северо-западная армия не шла — летела вперед. Восемнадцатого октября были взяты Красное Село и Гатчина. Девятнадцатого генерал Юденич вошел в Царское Село.

Генерал знал, что на него смотрит мир. Он тяжело спустился с площадки салон-вагона и взглянул в сторону Петрограда, синеватой полоской проступающего вдали болотистой равнины. Доносились орудийные выстрелы. Ждали, что генерал размахисто перекрестится. Но он почему-то этого не сделал. Малиновые отвороты его шинели, надвинутый большой козырек и седые подусники проплыли мимо выстроившегося караула юнкеров. Дул холодный ветер, гоня по вокзальной площади опавшие листья. В городе было пустынно, лишь качались и шумели высокие лиственницы и оголенные липы с покинутыми вороньими гнездами.

Генерал сел в коляску и, сопровождаемый лихими конвойцами, проследовал в Александровский дворец.

Громовыми вздохами над Петроградом прокатывались выстрелы со стороны моря, — это линкор «Севастополь» стрелял из башенных орудий по Красному Селу. С моря, с северо-запада, ползли тучи, дождь хлестал вдоль пустынных улиц по простреленным крышам, по облупленным фасадам с разбитыми окнами.

У Троицкого моста за грудями мешков нахохлились часовые. Непогода посвистывала на штыках. Тощие, заросшие лица, суровые от голода и ненависти глаза. Ветер доносит — бух! бух! Низкая туча наползает на город, навстречу ей ледяной бездной вздувается Нева и хлещет о полузатонувшие баржи, о граниты набережных.

Надвинув промокшую кепку, руки в карманах, нос — в поднятый воротник, Карл Бистрем, преодолевая ветер, миновал Троицкий мост, протянул часовому пропуск и — бодро:

— Чертова погодка, товарищ...

В ответ часовой, повертев пропуск и так и этак, нехотя проворчал:

— Проходи.

Пробраться было не просто через взрытую и залитую дождем Троицкую площадь. Повалил снег. Ветер задирал толстые листья на круглой крыше деревянного цирка. Несколько человек пробиралось туда. Восторженный, как во все эти дни, бодро шлепая размокшими башмаками по грязи, Бистрем перегнал их. У входа — пулемет и красногвардейцы. Снова — пропуск. Полный народа, туманный от сырости вестибюль: Бистрем с трудом протолкался. Цирк был полон, на высоком месте оркестра стояли двое — коренастый сивоусый человек и нескладный солдат, не вытаскивающий рук из карманов мокрой шинели. Сивоусый, — подняв палец:

— Товарищи... В ответ мировым империалистам и их кровавым собакам — православным генералам... В ответ белогвардейскому разъезду, который мы видели за Нарвскими воротами... В ответ мы, путиловские рабочие, сегодня послали в партию двести пятьдесят человек... А всего за эти дни петроградские заводы послали в партию пять тысяч человек... Да здравствует мировая революция!..

Длительные аплодисменты... Усы оратора еще некоторое время двигаются. И вдруг он широко улыбнулся. Хлопающие поднаддали. Когда, наконец, смолкло, он указал на нескладного солдата:

— Вот — товарищ делегат с зеленого фронта... От дезертиров Сормовского завода... (Сразу тишина, — над мокрой крышей глухо — бух! бух! — вздыхает воздух.)

Чей-то грубый голос:

— При чем тут дезертиры?

Солдат испуганно оглянулся на путиловца и с виноватой готовностью нескладно заговорил:

— Мы, то есть дезертиры, с Сормовских заводов... Не так, чтобы большое количество, но — достаточно... Значит, признаемся — шкурники... Что хочешь делай... Мы, значит, узнали, что на вас — на питерских рабочих — идут белые генералы. Обсудили: надо выручать. Трех нас, делегатов, послали к вам, чтобы вы разрешили грузиться в эшелон нам, дезертирам, и выдали бы оружие, что ли, — здесь, на месте, — все равно... Не настаиваем... Постановили единогласно — выручать!..

— Принять!.. Благодарить!.. — закричали с мест.

По лестнице в оркестр проворно взбежал матрос, в распахнутом бушлате, локтем, как котенка, отстранил солдата:

— Товарищи, в грозный час, в двенадцатый час революции красные моряки-балтийцы стали на своих боевых постах... (Выкинул кулаки.) Не раз мы били белые банды на подступах к Петрограду... Страх и ужас вселяли матросы в ряды врагов трудового народа... (Плечо вперед, прищурился и — по буквам.) Принять бой с нами, значит принять смертный бой... Кто колеблется — отбросьте свои сомнения... Моряки красной Балтики зовут всех трудящихся, всех, кто, как мы (кулаком гулко в грудь), ненавидит золотопогонников, барскую сволочь, зовут вас на последний, победный бой... (С какой-то даже изнеженностью, от переизбытка сил, помаhal затихшему без дыхания цирку...) До последнего патрона, до последнего вдоха... Все к оружию!.. Все на боевые линии!.. Мы, балтийские моряки, даем смертную клятву — победить под стенами Питера...

Карл Бистрем закричал, протискиваясь в темноте к эстраде. Все лица, худые и тусклые, старые и молодые,

дрожали, разевали рты, кричали, как будто вместо красновато-накаленных шаров с потолка обрушился поток горячего света... На лицах, в глазах, исхлестанных осенним дождем, исступленное решение... Весь амфитеатр колыхался и кричал, ошестиненный вытянутыми руками, кричал найденное слово:

— Клянемся!.. Клянемся!..

Карл Бистрем не успел высказать все, что переполняло его. Пожалуй, было и хорошо, что не заговорил,— в крайнем возбуждении этих дней мысли его заносились во все более отвлеченные пределы, а он и сам видел, что сейчас нужны слова такие же простые и вещественные, как смертная клятва... Бистрем получил записку и протолкался к столу президиума. Председатель, старый знакомый (кто допрашивал его в Сестрорецке), шепотом сказал, преодолевая кашель:

— Ступай на Путиловский завод... Возьми мою машину. Там ни одного агитатора... Будь бессменно... Держи телефонную связь со мной. Ты клялся?

Бистрем запотевшими очками уставился ему в блестящие лихорадкой глаза:

— Великой клятвой пролетария...

Председатель кивнул:

— Ступай.

На улице хлестал дождь со снегом. Громовые удары отдавались из-за низких туч. Казалось, отчаяние легло на низкие дома, на жидко-грязные мостовые. Дребезжащая машина уносила Бистрема через мосты, пустынные набережные. Потоки грязи из-под колес хлестали по плачущим окнам.

Дома — все пустынное и ниже. Пустыри. Развалины лачуг без окон и дверей. Бух! Бух! — яснее доносились орудия. Та-та-та,— постукивало из едва видимой торфяной равнины. Справа — за вздувшейся речонкой — деревянные крыши деревни Волынки, прямо — решетчатым призраком повис большой кран путиловской верфи. Серая пелена моря. Шквалистый ветер. Автомобиль, валясь на стороны, мчится по сплошной воде. С юго-запада, из мглы, по оловянной ленте Петергофского шоссе тянутся обозы, грузовики, пешие люди.

Автомобиль сворачивает к заборам, за ними — кирпичные корпуса со ступенчатыми крышами. Угрюмо, сбивая черный дым к земле, дымят трубы. У заводских ворот — скопище повозок. Шофер остановил машину и Бистрему — со злобой:

— Вылезайте.

— Что тут такое?

— Не видите, что ли?

Бистрем вылез из машины; по щиколотку в грязи, разъезжаясь ногами, пошел к воротам. Люди в солдатских шинелях сидели поверх горой наваленной поклажи на военных повозках: серые, щетинистые, мрачные лица. На крестьянских телегах среди узлов — женщины и дети, покрытые ветошью и рогожами. Грязью залиты люди, лошади, грузовики, вереницы телег, обозы отступающей армии. В воротах — крик, треск осей; свирепый человек в черной коже, размахивая револьвером, кидается к лошадиным мордам.

Телеги и повозки въезжали на огромный фабричный двор, с кучами железного лома, бунтами леса, валяющимися ржавыми судовыми котлами и кучками беженцев, укрывающимися от непогоды. Закутываясь клубами пара, свистели паровозики узкоколейки; рабочие с криками и руганью проносили железные балки, стальные листы, мешки с песком, шпалы; повсюду горели раздуваемые переносные горны; люди облепили вагоны бронепоезда, треща и стуча молотками; слепили глаза, сыпали искрами автогенные горелки; за высокими закопченными окнами завода тяжело били молоты, вспыхивало пламя, грохотала и скрежетала сталь.

Протолкавшись на фабричный двор, Бистрем с трудом добился, где помещается заводской комитет. В полутемном коридоре конторы сидели женщины на узлах, плакали дети. На одной из дверей стояло мелом: «Завком». Рабочий штыком преградил вход. Бистрем показал пропуск. В комнате, в махорочном дыму, осипшие голоса кричали в телефонные трубки. На столах — кучи черствого хлеба и винтовок. Тут же, на одном из столов, кто-то спал, покрыв лицо инженерской фуражкой.

Здесь было сердце обороны Петрограда. Путиловский завод лихорадочно — в три смены — строил и ре-

монтировал бронепоезда, орудия, паровозы, автомобили, мобилизовал отряды, размещал отступавшие военные части, организовывал ночлег для беженцев, устанавливал бронебойные щиты на подступах к городу, проводил электрическое освещение на боевые линии. По отрывкам лающих телефонных разговоров Бистрем понял, что все эти работы были сосредоточены здесь, в завкоме.

Стряхнув воду с кепки, протерев очки, Бистрем подошел к одному из столов. Из-за буханок заплесневелого хлеба и цинковых ящиков с патронами на Бистрема воткнулись светлые глаза в воспаленных веках...

— Что надо?

Бистрем протянул мандат, наспех чернильным карандашом написанный давеча в цирке председателем; — по видимому, на одной из записок, поданных в президиум. Рука с изломанными ногтями протянулась из-за буханок, взяла клочок бумаги, поднесла к красным векам... Зазвонил один из трех телефонов на столе. Человек сорвал трубку:

— Да... Я... Что? Как не можете? Задавило? — Так. — И он, слушая, читал бистремовский мандат с обратной стороны записки...

На обратной стороне стояло:

«Гражд. пред... Туманные обещания о коммунистическом рае, а на практике — тухлая вобла — карие глазки... Если вы действительно убежденный — можете предложить населению хотя бы по триста граммов хлеба? Ну-ка?... За армией Юденича идут поезда с белыми булками и консервами... Советую: бросьте словоблудие, предложите нам существенное...»

— Чепуха!.. (В трубку.) Никак, товарищ... Бронепоезд должен быть на линии сегодня... Под Пулковом держимся... В ночь обстреляем Пулково... А? Чего? — Красные веки его напряженно заморгали. Слушая бормочущий в трубку голос, он махнул в сторону Бистрема запиской. — Чепуха! Ничего не понимаю, товарищ...

— Мандат на обратной стороне, товарищ, — сказал Бистрем.

Тот перевернул записку: «Товарищ Бистрем ударно перебрасывается на Путиловский»... (В трубку.) К шести часам крайний срок... Постой, бронепоезд вывести на линию в шесть... (С угрозой.) Товарищ, минуту промед-

ления засчитаем как контрреволюционный акт... Ладно. Катись!.. (Положил трубку и — Бистрему.) Ступай в вагонный цех... Подыми настроение, — ребята третьи сутки не спят...

Он тяжело поднялся, подошел к столу, где спал человек в инженерской фуражке, и, подсунув руку ему под затылок, встряхнул:

— Э! Проснись!

Инженер сейчас же, как подкинутый пружиной, сел: мертвенно-бледное лицо, припухшие мешки под зажмуренными глазами, один ус во рту...

— Слышишь ты, товарищ, беги в цех. Инженера там задавило. К шести бронепоезд надо на линию.

Инженер сполз со стола и, спотыкаясь, пхнулся в дверь, вышел. Бистрем, получив ломоть хлеба, догнал его во дворе. Под резким ветром и дождем у инженера глаза разлиплись, он покосился на карман Бистрема.

— Вот это несправедливо, — сказал, — двойной паек... Дайте-ка половину... (Бистрем разломил ломоть. Инженер на ходу торопливо начал есть.) Так надоело, знаете, так надоело... Мы им нынче всыпем из шестидюймовых... Двадцать четыре часа буду спать. Вы иностранец? Знаете, о чем скучаю? Пива хочу. Поднимите, поднимите настроение, это не мешает...

Из широких ворот вагонного цеха вылетела такая оглушающая трескотня клепки, — Бистрем сморщился от боли в ушах. Под самый потолок, где ползали мостовые краны, летели фонтаны искр с наждачных кругов. В сумраке огромной мастерской с трудом можно было разглядеть закопченные, запыленные человеческие фигурки; они то отделялись, то сливались с этим хаосом железа, искр и звуков. Бистрем в первый раз был на металлическом заводе. Ему показалось непонятным соотношение между громадами металла, чудовищными формами бронированных вагонов, двигающимися, крутящимися, ползающими станками — и такими слабыми человеческими фигурками. И все же они в дыму, в огне, в метели искр делали что-то, от чего тысячепудовые глыбы визжали, гнулись, соединялись и, обузданные, покорялись воле людей, шатающихся от усталости.

Отчаянно звонил колокол. Чья-то рука в кожаной рукавице потянулась и оттащила Бистрема. На него по

воздуху плыла вагонная ось. На ней стоял, держась за тросы мостового крана, щуплый человек в пальто с рваными подмышками, в валенках, обмотанных бечевками. Он опустился вместе с осью. На вымазанном, сером, как железо, лице вдруг приветственной улыбкой сморщился нос, слабо приоткрылись зубы. Бистрем узнал: Иванов,— тот, что взял его на границе под Сестрорецком.

В первый раз Бистрем почувствовал, что революция подарила ему, кроме двухсот граммов хлеба, еще и суровый мимолежный привет человека, идущего на смерть. С ужасающей ясностью Бистрему представилось, как завтра, сегодня ночью, быть может, кавалеристы генерала Родзянки, спешась в жидкую грязь, заворотив спереди длинные шинели, упрутся плечами в ложа винтовок и, выбрасывая на рвущийся ветер желтоватые дымки, будут укладывать — тело на тело — у расщепленного пулями забора вон тех, кто копошится под вагоном, тех, кто, расставив ноги, вертя лопатками, заливаясь потом, бьет молотом по брызжущей окалиной полосе, тех, кто, прижав к разбитой груди пневматический молот, наспех склепывает стальную броню.

Бистрем влез на двигающуюся взад и вперед станину станка и, поправив очки, начал говорить о противоречиях европейской политики, колеблющейся между желанием раздавить Советский Союз и страхом перед революцией у себя, о слабости Юденича, не имеющего резервов,— ничего, кроме десятка кораблей с английским снабжением и восемнадцати тысяч бандитов, страшных только для тех, кто бежит перед ними. Он рассказывал о клятве в цирке и, потрясая растопыренными пальцами, кричал:

— Товарищи, дух революции сильнее всех английских дредноутов! Буржуазный мир, несмотря на миллионные армии и несметные богатства, только обороняется. Да, он обороняется, а мы наступаем... В этом наша сила,— у нас цель и вера. А там только хотят уберечь награбленное. Им только кажется, что они наступают на Петроград,— неправда, они отступают, потому что они нас боятся больше, чем мы их... Победит тот, кто наступает, у кого вера в победу...

Несколько пожилых рабочих подошли и слушали иностранца в очках, но даже при тех его словах, когда

у него самого закипали слезы восторга, — лица их, суровые и усталые, оставались неподвижными. Когда он окончил, Иванов попросил у него папирос — раздать товарищам, — не курили со вчерашнего дня. Ногтем стуча ему в пуговицу, сказал:

— Тебе не в наш цех, тебе в деревообделочный надо пойти поговорить, — там много сиволапых. А у нас ребята в большинстве все сознательные.

Бистрем обошел артиллерийский, вагонный, автомобильный, паровозный отделы, — во всех цехах шла горячая работа. В лафетно-снарядной заканчивали первые советские танки. В минно-сборочной ковали лошадей. Под дождем грузились военные повозки. С угольной кучи по доскам и лужам бежали тачки. В раскрытые настежь двери котельных виднелись раскаленные топки, — кочегары с остервенением кидали лопатами уголь в ревущее пламя, будто это в самом деле и было пламя пролетарской революции.

Бистрем дивился: на всей территории завода не было видно охраны — ни вооруженных, ни оружейных установок, ни окопов. Беспечность? Недосуг? Или действительно эти люди обрекли себя? Не умолкая грохотали орудия с моря, из-под Пулкова и Царского Села. Правым крылом белые пробивались к Октябрьской дороге, чтобы перерезать единственную питающую город артерию.

В сумерки сквозь рваные тучи пронесся биплан, и долго на заводский двор падали мокрые листочки белых прокламаций. Кое-кто поглядывал на них искоса. Бистрем видел, как в кузнечном цехе у трех-четырех горнов оставили работу, обступили низенького старичка мастера, — вполголоса он читал прокламацию. Плечистый молотобоец, пивший воду из ведра, зло оглянулся, бросил ведро, протолкался к мастеру, выхватил листок, бросил в огонь.

Бистрем натыкался и на кучки людей, внимательно и тревожно слушающих кого-то, кто замолкал, когда он приближался. Эти люди со странными усмешками не глядели ему в лицо. Время от времени он забежал в контору, пытаясь соединиться по телефону со Смольным. В восемь часов вечера ему это удалось. Он получил задание переброситься на фронт под Пулково, в красноар-

мейскую часть, где только что выбыли из строя два комиссара.

В сарай набилось полсотни красноармейцев. Горел костер, было дымно. Входявшие, засыпанные мокрым снегом, с удовольствием крякали, стаскивая с плеча винтовку, протискивались к огню. Сарай находился в стороне от Московского шоссе, в деревне, на южном склоне Пулковского холма. Было за полночь, под дощатой крышей свистела непогода, редко доносились выстрелы.

Бистрем по совету пожилого красноармейца Ермолая Тузова (почему-то принявшего в нем хлопотливое участие) разулся и сушил носки и башмаки. Местечко у огня устроил ему тот же Тузов: «Братишечки, видите, человек растроганный, надо бы потесниться — сомлеет...» Потеснились, — впрочем, на Бистрема никто не обращал внимания.

Почти сутки он не спал и не присаживался. С Путиловского — в Смольный, оттуда — на фронт, в мокрую, снежную, жуткую темноту, где угрожающе окликали сторожевые. Только теперь можно было передохнуть. Весь мокрый, в липнущем белье, засунув руки в рукава, Бистрем мужественно боролся со сном. Голоса слышались, будто за мягкой стеной, — содрогаясь, с испугом он разлипал веки: ни на секунду нельзя понадеяться, что настроение у бойцов до конца прочно; здесь были разные люди. Ему не нравился услужливый Ермолай Тузов, — прищуренный, с бороденкой, — слишком ласков. Бистрем настораживался каждый раз, когда в обрывки разговоров ввертывался медовый голос Ермолая, — нет-нет, да и поглядывал быстро, сквозь щелки, спит ли комиссар.

Застуженный, хрипучий голос:

— Промерз, где только душа, ребята, пустите к огоньку, Христа ради.

Ермолай — скороговоркой:

— Нынче, миленок, бога поминать не велено.

— Как же говорить-то?

— «Батрак-бедняк»... Его поминай.

Огромный, как туча, человечье пропихивается к костру, валится на колени едва не в самый огонь:

— А ты все вертишься, Ермолай, как вор на ярмарке.

— Я, как все,— от своей свободы верчусь: нынче ни царя, ни бога...

Еще чей-то тревожный голос:

— Василия Мокроусова нет здесь?

Угрюмый безусый красноармеец, накинувший на голову шинель, на корточках у огня, ответил:

— Не ищи.

Сзади:

— Ой, что ты?

Мокрый человечиче:

— Застрелили насмерть Мокроусова.

Бистрем таращится. Сон мягкой пустотой бросается на него, опрокидывает в ничто,— голова кивает, валится на грудь, очки сползают, губы вытягиваются.

Ермолай — кому-то:

— Ну да, я — лужский... Чего? Да будет тебе — кулак, кулак... Не такие кулаки-то... У кулаков дома железом крыты.

Молодой красноармеец, под накинутой шинелью:

— А у тебя чем крыто?

Огромный человечиче,— борода его распушилась от огня:

— За войну-то Ермолай раз пять, чай, слетал домой, по хозяйству. Знаем мы, чем его изба крыта... Железа-то у него припасено,— замирения только не дождется... (Ермолай на это только: «Ах, ах!») Вместе, чай, в царской армии служили — я рядовой, он — вестовой. Человек известный.

— Ну, еще что? — со злобой спросил Ермолай.

— Я как был бос, так и ныне бос... А ты, гляди, живалый,— красная звезда!..

Молодой красноармеец усмехнулся худощавым лицом. Ермолай царапнул зрачком огромного человечича, но обернул все в шутку:

— Эх, ты, чудо морское, то-то говорлив... (И уже — не тому, с кем спорил, а — к стоящим в отблесках пламени у дверей сарая,— видимо, продолжая какой-то начатый разговор.) Значит — при пожарном депо этот козел и живет. В Луге все его знают,— ходит, как чело-

век, по дворам: такой умный козел... До революции ходил на станцию — встречал дачников... Прелесть!.. Так что ж они: взяли козла и вымазали всего красным фуксином.

Чье-то улыбающееся широкое лицо — в отблесках пламени:

— Кто же вымазал?

— Ну, кто... (вполголоса) коммунисты...

— Козла-то зачем?

— Для агитации...

Несколько человек разинули рты и — крепко, дружно — ха-ха-ха!.. Ермолай удовлетворенно шурился. Бистрем беспомощно пытается взмахнуть плавниками, подняться из мягкой черной пропасти, но сон снова оттягивает его губы... Молодой красноармеец (под шинелью) — с угрозой:

— Ермолай!..

— Чего? — Ермолай весь тут...

— Дошутишься ты до Чеки...

— Отчего? Я при комиссаре говорю...

Тогда все головы повернулись к Бистрему. Он посапывал. Ермолай, приободряясь:

— У меня такая же звезда на лбу... Нет, браток, ошибся. Ты еще молодой... Я с винтовкой пять тысяч верст исходил... А ты где был, когда мы Николашку свергали? Гусей пас?.. То-то. Поверите — нет, братки, вот этой рукой главнокомандующего Духонина, самого кровопийцу народного, выволок из вагона — терзать... А ты — в Чеку... Тогда всю народную армию волоки в Чеку... Мы за Советы кровь проливали... (С неожиданной яростью хватил себя кулаком по коленке.) И сейчас не пятимся...

— Верно, верно. Правильно, — негромко зашумели голоса.

Молодой, сбросив с головы шинель:

— За какие за Советы?.. Без коммунистов, что ли?

Большой человечье с высохшей бородой, видимо, не поспевая мыслью за спором, поворачивался то к Ермолаю, то к молодому. Из толпы просунулось припухловатое лицо в кудрявом пуху на смешливых щеках:

— Ермолай-та, — он за такой совет, куда его с кумовьями председателем выберут.

И опять и уже громче, дружнее стоящие у огня: ха! ха! ха! Бистрем от этого грохота: «ха, ха!» — вздернул головой, проснулся, испуганно оглядываясь. Ермолай к нему: — Товарищ комиссар, носочки просохли, можно обуться...

Сотрясая сарай, ударило тяжелое орудие. Сидевшие у огня вскочили. Сейчас же второй удар будто придавил крышу. На лицах — выжидание, напряжение, рты открыты, — рука сжимает ружье. Совсем близко хлестнул винтовочный выстрел. Еще и еще, торопясь, сдваиваясь, прокатилось громовой трещоткой. Молодой красноармеец (одна рука — в рукаве шинели) шепотом: «Наши!..» Снова — удары шестидюймовок с путиловского бронепоезда у Средней Рогатки. И ночь, тьма закипела, застучала, задыхаясь железными звуками от моря до Ям-Ижоры.

Прошло не слишком много толчков сердца с тех пор, когда только лишь уныло посвистывал ветер под крышей. Первым закричал Ермолай: «Белые наступают!» Молодой красноармеец, не попадая крючками в петли шинели: «Товарищи, никакой паники!» Бородатый человечек, — кидаясь с винтовкой к двери: «В порядке, братва, выходи в порядке!»

Снаружи рванули дверь, в неясном отблеске тлеющих головешек появился военный и — протяжно:

— Бойцы! Вчера под Воронежем красный корпус товарища Буденного разбил наголову генералов Мамонтова и Шкуро... Бойцы! Город Орел обратно взят Красной Армией. Бойцы! Военный совет Петроградского укрепленного района дал приказ — наступать сегодня в ночь...

— Ура! — хрипло сорвался чей-то голос...

— Ура! Уррра! — торопливо крепкими глотками закричали бойцы, нажимая к выходу. Среди вышедших Ермолая не оказалось.

В ночной глухой синеве над белой равниной стоял холодный срезанный месяц. Небо очистило. Ветер затих. Пахло свежим снегом. Ночь, умытая бурей, разрывалась грохочущими звуками. Они то слабели, то усиливались. С подножья Пулковского холма были видны длинные вспышки орудий. Отблески зажигали искорку

далеко на куполе собора в Царском Селе. Отблески зловеще отражались в двух окошках крестьянской избы, где был штаб и где неподалеку стоял Бистрем. (Ждали запоздавшую машину с литературой из Питера.) Он вглядывался, — снежная равнина, разбросанные черные пятна деревьев и построек — все было безлюдно. Зарево занималось на северо-востоке. Этот бой решал судьбу революции, — так представлялось ему. Совсем близко над оснеженными крышами разорвалось что-то желто-огненное, и будто пчелки просвистели мимо ушей Бистрема. Он обернулся — на верху холма, за темной чертой парка, тускло поблескивал купол обсерватории. Левее его, ближе к деревне, снова лопнул огненный шар...

Под куполом, куда в меридиональную щель падал лунный свет на лакированную лесенку, на медные части окуляра большого, как морское орудие, рефрактора, стоял семидесятилетний знаменитый астроном в черной шелковой шапочке.

Подняв к меридиональной щели морщинистое лицо, выпитое звездами, он сказал кому-то — невидному в тени:

— Они нацеливаются в купол, — это беспримерно... Нельзя ли как-нибудь телефонировать этому генералу, чтобы не нацеливались? А нельзя ли, — как вы полагаете, — если мы возьмем несколько подушек и закроем ими верхнее стекло рефрактора? Во всяком случае, тогда мы несколько понизим вероятность.

Черной, как сажа, полосой на снегу лежало Московское шоссе. Белые пристрелялись по нему, — кустами огня на шоссе взметывались их снаряды. Со стороны Питера приближалась с огромной быстротой машина. Бистрем спустился к шоссе. Перед вырастающей машиной взвилось пламя, заволокло дымом. Но автомобиль проскочил и скрылся в овражке, — через мост... Низко над тем местом ослепительно рванулась шрапнель. Блестящий радиатор с потушенными фонарями вынырнул из овражка. Бистрем подбежал. В машине была литература — еще сырые кипы приказа и отпечатанных речей...

При двойном свете — луны и спички — Бистрем разбира́л слова приказа:

«Красноармейцы, командиры, комиссары! Сегодняшний день решает судьбу Петрограда... Дальше отступать нельзя... Петроград нужно отстоять какой угодно ценой... Помните — на вашу долю выпала великая честь защищать город — родину пролетарской революции... Вперед, в наступление!.. Смерть наемникам английского капитала...»

Набив карманы литературой. Бистрем зашагал по шоссе. Вдогонку что-то ему закричали из машины, — он, не оборачиваясь, махнул рукой. Поднеся к очкам листочек, читал на ходу, чтобы запомнить наизусть. Поворот в окопы был за горелой избой. Между оглушительными ударами нашей батареи (откуда-то близко, из оврага) слышалось посвистывание пуль.

Стоп — горела изба.. Надрывающе взвыло что-то прямо в душу, из лунного света скользнула тень (или так почудилось), и огненный грохот швырнул Бистрема в сторону от шоссе.

Когда лицо его, грудь, живот, распростертые руки напились снегового холода, Бистрем медленно очнулся. Лежа ничком, силился разобраться, почему он в таком странном положении, — носом в снегу, и на чем прервались его обязанности? Из чувств у него всего сильнее была воля к долгу.

Он с трудом повернулся, — удалось сесть. В карманах литература цела. «Неприятное обстоятельство, — пробормотал. — Сколько же я здесь провалялся?..» Небо было железного цвета, снег на крышах розовел от зари. Попытки встать не привели ни к чему. Ощупал ноги, — целы, по-видимому контузия... Уши будто чем-то завалены, — мир был беззвучен.

Только теперь он заметил, что очертания горелых стропил и затем срезанного лунного диска расплылись, как за потным стеклом. Провел по лицу, ладонь стала липкой: кровь. Тогда он загоревал: разбились его очки.

А в десяти шагах от него бежали серые тени в сторону Царского Села. Их было много, полно шоссе. Сощу́ря веки, он различал шинели и фуражки курсантов,

винтовки, готовые к бою. Бежали неистово. За ними — медленнее, плотнее двигались покачивающейся колонной кожаные куртки... У Бистрема ошетинились волосы на затылке, сорвал кепку, крутя ею, закричал: «Да здравствует Коммунистический Интернационал!..» С шоссе к нему свернули два санитары с носилками.

В ту же ночь четыре эскадренных миноносца — «Гавриил», «Свобода», «Константин» и «Азард» — вышли из Кронштадта в море, держа курс на Копорский залив. Был приказ — загородить минами путь в залив.

Бушевала метель, и небо еще не прояснилось. Эсминцы шли с потушенными огнями в кабельтове друг от друга. Кругом на горизонте появлялись и пропадали какие-то огни. «Гавриил» передал по радио, что впереди — англичане. Эсминцы шли полным ходом, до труб зарываясь в косматое море.

Тучи начало сносить, показалась луна. В шесть часов поутру около параллели Долгий нос на «Гаврииле» показался огонь и последовал взрыв, после чего судна не стало видно. Через семь минут огромное пламя переломило надвое «Константина». Он затонул мгновенно. Через минуту «Свобода» скрылась за водяной горой взрыва. «Азард» застопорил машины. Впереди опять появились дымящие трубы «Свободы». Ветер донес слабые крики: «Ура!» «Свобода» сообщала световыми сигналами: «Идем ко дну. Нарвались на свежее минное поле. Нас предали. «Азарду» повернуть, идти в Кронштадт. Да здравствует революция!..»

К утру двадцать первого октября под Пулковом обозначился перелом в военных действиях. Брошенные на передовые линии отряды курсантов, коммунаров и балтийских моряков переходили в штыковые атаки. В одном из отрядов матросы сбросили бушлаты и тельники, — голые по пояс балтийцы бросились на танки. Днем двадцать первого штаб Юденича оставил Царское Село. Из Царского, Павловска и Гатчины потянулись в Ревель обозы с дворцовым имуществом. К вечеру Красная Армия ворвалась в Царское Село, — дрались под столетними липами, у Фридентальских и Орловских ворот. Белые покатались на юг, цепляясь за Красное Село, за

Гатчину и Лугу. Это был разгром, неожиданный и непоправимый, у самых ворот Петрограда.

Предполагая, что еще можно спасти положение, французский генеральный штаб предложил финскому генеральному штабу немедленно двинуть войска и интернировать Петроград. Финны ответили, что сделают это, если французы дадут денег на войну и заставят Колчака признать независимость Финляндии. Французы денег не дали. Колчак ответил отказом. Финны не выступили. Адмирал Коуэн, боясь кронштадтских мин, ограничился тем, что послал к русскому берегу монитор новейшей постройки, который несколько дней обстреливал из пятнадцатидюймовых орудий Красное Село, оставленное белыми. Эстонское правительство, не надеясь более привести в Ревель Балтийский флот, отдало приказ разоружить и интернировать Юденича с его бандами, буде они перейдут эстонскую границу.

Министр северо-западного правительства Маргулиес записал в дневнике:

«Все опять у разбитого корыта... Все поражены,— одни большевики победили. Это — нечто фатальное. Русская публика притихла, озирается. Кедрин, совершенно разбитый морально, выехал в Париж...»

54

Михаил Александрович Стахович, попыхивая папироской в толстом мундштуке, читал, против обыкновения, русскую газету «Общее дело». Пробило час. В столовой звякала посуда, на цыпочках ходил лакей. Наконец — шум машины у подъезда. Хлопнула парадная дверь. В прихожей вздохнули, начали снимать калоши... (В Париже-то калоши!) В салон вошел Львов, рассеянно потирая руки, как с мороза. По всему заметно, что в Политическом совещании, откуда он приехал завтракать,— самые серьезные неприятности...

— Уже семь минут второго,— не опуская газеты, густовато проговорил Михаил Александрович.

Львов остановился и некоторое время глядел невидяще. В беловатых глазах его мелькнуло изумление.

— Миша, ты читаешь «Общее дело»?

— Почему это тебя так встревожило? Я уже несколько дней читаю русские газеты, это меня забавляет.

— Гм... Это тебя забавляет...

Львов сделал попытку заходить по красному бобрику салона. Его внимание привлек вихрь осеннего ветра, гнавший сухие листья от подножья Эйфелевой башни по улице Монтескле,— закружив, ветер швырнул их в окно.

— Я не нахожу в этом ничего забавного,— сказал Львов.— Если Бурцев несколько односторонне освещает события, то надо же считаться с настроением французов... Вчера Николай Хрисанфович Денисов с трясущимися губами умолял меня ослабить впечатление от неудачи Юденича — не наносить удара по парижской бирже... Под Петроградом временная заминка, может быть чисто тактическая... Вот все, что нам здесь известно в конце концов... А то, что у Николая Хрисанфовича тряслись губы...

Стахович — из-за газеты:

— Неужели тряслись губы?

— Так вот... Он дал мне понять, что неудача Юденича — никак не местного значения, даже не общерусского, но европейского, но мирового... И удар по бирже прежде всего на руку большевикам... Стало быть, нужно писать так, как пишет Бурцев... Можно лгать более остроумно, согласен, но у нас нет талантливых журналистов. Ты представляешь, как все мне далеко, и чуждо, и отвратительно: лживая пресса, биржа, спекулянты, французские интересы, английские интересы. Но что делать, Миша? Все более начинаешь убеждаться, что не ты руководишь, а тебя перебрасывают из рук в руки, как мячик. Быть чисто плотным очень, очень приятно... Я тебе очень завидую.

Он заходил по красному бобрику, руки — сзади под пиджаком, голова с гладко зачесанными волосами — цвета алюминия — опущена, уперта в неразрешимое.

— В девятьсот семнадцатом я не хотел брать власть, но не счел себя вправе уклоняться от долга. Из всего Временного правительства я один знал мужика... И я верил, я и сейчас не откажусь от моей веры, иначе бы я давно сошел с ума: гармония, озаренная высшей правдой, восторгается над ожесточенной материей... Путь к правде — через страдания и кровь, и, может быть, сами большевики посланы России высшим разумом.

Стахович — примирительно:

— Это очень по-русски: гегелианство, переваренное в помещичьей усадьбе... Это — очень наше...

Львов взглянул на «Общее дело» на коленях Стаховича, коротко кашлянул. Походил.

— Неудача под Петроградом чревата для нас последствиями гораздо более тяжкими, чем поражение сто-тысячной армии Колчака, чем неудача Деникина под Орлом. Петроград — это уже Европа, под Петроградом завязан узел мировой политики... Тебе известно, что эстонцы начали переговоры о мире с большевиками? Сегодня мне преподнесли эту новость. (Львов пофыркал носом.) Генерал Юденич должен был взять Петроград, как разгрызть орешек: поставить английскую и французскую оппозицию перед существующим фактом... Он же устраивает невероятный шум, рассылает союзникам хвастливые телеграммы и не берет Петрограда...

— Юденич — истинный чудо-богатырь, было бы странно ждать от него чего-нибудь другого, — Михаил Александрович потер ладонью медно-красное лицо. — Кстати, я где-то встречал этого Юденича, — редкостный болван и жулик. Английская и французская оппозиция будет в восторге, если мы окончательно посрамимся под Петроградом. На наших спинах эти господа из профессиональных союзов прыгнут к власти. И я утверждал также, и не раз, что мы неминуемо осрамимся под Петроградом...

— Почему неминуемо? Прости меня, Миша... Ты комфортабельно устраиваешься с газетой и папироской... (Голос Георгия Евгеньевича задрожал от горечи.) Прости меня... Ты опять начинаешь злоупотреблять спиртным... (Пить Михаилу Александровичу было запрещено, — он недоуменно поднял плечи и округлил глаза, как бы от явного поклепа.) Ты безапелляционно высказываешься о событиях, которые — прости меня — уже совершились... Ты предоставляешь другим пачкать руки... Нет, почему неминуемо? Почему? Если бы адмирал Коуэн выступил со всем своим флотом двадцать первого октября... Если бы финны двинули армию за Сеструреку... Если бы эстонцы оказали нам действительную помощь... Почему неминуемо?..

— Во-первых,— сказал Михаил Александрович и от подбородка захватил почти аршинной длины бороду, в порядке уложил ее на обсыпанном пеплом жилете,— во-первых, что касается комфорта... Я — бывший помещик и бывший дворянин, бывший потому, что советская конституция отменила наши привилегии, а вы пока еще не отменили советской конституции. Как человек бывший и уже в годах, считаю наиболее добросовестным жить на ту единственную привилегию, которую у меня отнять нельзя и отнять никто не вправе: мое свободомыслие... Я сижу у окна, курю табак, читаю о политике и рассуждаю. Это ни к чему не обязывает, это безвредно, и это меня забавляет... Это мой комфорт... Комфорт я купил себе тем, что я, ни на кого не сердясь, спокойно принял факт: я — бывший... Я никогда не был слишком красным, но держался либеральных мыслей, как всякий порядочный человек... Почему же сейчас, когда я — пролетарий, я должен выбрасывать из пасти огонь на моих бывших мужиков и вообще на русских людей? Скажи, имею я право хотя бы на свободомыслие?

Львов положил руки на голову, будто защищая ее от ударов, и так прошелся. Он стал у окна, где ветер снова пронес желтые листья, столь же бесполезные, как несбыточные мечтания, отговоренные слова.

— Месяц тому назад я сказал бы тебе: нет, не имеешь права. Во имя тех жертв, которые... (Опять попытался схватиться за голову, но решительно засунул руки в карманы и там потряс ключами и медяками.) Да, Миша, ты имеешь право на свободомыслие, и мы все имеем на это право... Но как осуществить это право? Передо мной, человеком, который против насилия, против всякой крови,— встает неразрешимый вопрос: должен ли я продолжать убийство русскими русских, продолжать, сознавая, что на моей совести — кровь, ужасная кровь... Или — уйти, уйти, пока не поздно, зная, что поздно. Видимо, я не годен для борьбы, у меня нет сознания правоты... Миша, сегодня на совещании мне дали просмотреть номер московской газеты... Там — обо мне... Я принесу сейчас... (Он пошел к двери, но вернулся.) Они пишут: я — крупный помещик, до войны был заинтересован в переходе сельского хозяйства на интенсивные формы. Понимаешь?... Отсюда — я заинтересован в

развитии национального капитала, отсюда я — во главе кадетской партии. Во время войны я заинтересован в широчайшем сбыте на нужды армии продукции с моих латифундий!.. (Он особенно, с горькой иронией подчеркнул это слово «латифундий».) Отсюда — я становлюсь во главе Земского союза, чтобы организовать тыл и возможно дольше затянуть войну, набивающую карманы помещикам... Теперь я — во главе самой реакционной группы крупных земельных собственников, определяющих политику Деникина. Я — во главе интервенции, иными словами я продаю Россию, я — предатель, я — враг...

Он развел руками и с силой хлопнул себя по ляжкам, так что от серых панталон его пошла пыль.

Стахович сказал:

— У них это называется диалектикой. Очень неглупая штука. Тоже — от Гегеля...

— Как бы это ни называлось, я прочел, и мне будто плеснули в лицо помоями... Сейчас принесу... (Пошел и опять вернулся.) Я перечитал еще раз в автомобиле... Миша, у меня волосы встали дыбом: ведь фактически все это так и есть. Миллионы русских людей с величайшей ненавистью должны произносить мое имя... Как я могу доказать, что не жадностью к деньгам были обусловлены мои поступки?.. Мне лично — монастырская келья да ломоть хлеба. Может быть, я честолюбив, что? Я был кадетом, потому что хотел широкого парламентаризма для моей несчастной страны... Я пошел в Земский союз, потому что не мог же не хотеть победы несчастной России. Я борюсь с большевиками, потому что... (Он вдруг махнул рукой.) Выходит так, что какие-то силы толкали меня и я делал вид, что не замечаю этих сил, и вместо них представлял свое прекрасодушие... Самое страшное, Миша, что я, кажется, в глубине души не верю себе... А может быть, и в самом деле мной руководили материальные соображения? Что? Но этих ниточек, привязанных к моим рукам и ногам, я не могу ощупать, не вижу. И дергаюсь, как «петрушка», на ужас и позорище всему миру. (Он весь стал измятый и пыльный. Глаза погасли. Свернул к двери.) Ну, вот... Я пойду на часик прилягу... Завтракать не буду.

Насупившись, Михаил Александрович проводил его соколиным взглядом. Решительно растрепал бороду и

двинулся в столовую завтракать в одиночестве... Выпил рюмку водки, подпер голову и сидел, не притрагиваясь к блюдам...

Он давно видел приближение гибели. В особенности ощутил это сейчас, с запутавшимся стариком Львовым... «Да, да, нужно уходить, засиделись до неприличия. Устраивали воскресные школы и английские парки, шумели и говорили прекрасные слова, поднимали на ноги печать, если какому-нибудь уряднику случалось побить мужика. Либеральные земства, воскресные школы, вегетарианство, непротивление злу, англомания и «Русские ведомости» и — логический финал: массовое убиение русских, этих же самых мужичков... В крови — по горло... И в темени — диалектический гвоздь. Нужно уходить...»

В половине второго затрещал телефонный звонок. Стахович вытер салфеткой усы и тяжело подошел к телефону. Голос Денисова кричал:

— ...пожалуйста, передайте Георгию Евгеньевичу — сегодня я еду в Лондон с ночным... Да, он знает, в связи с Детердингом... Умоляю еще раз попридержаться сведения из Ревеля... До свиданья, Михаил Александрович, вам привезу хороших сигар...

55

В кафе Фукьца на Елисейских полях у стойки бара сидели на высоких табуретках Налымов и Александр Левант, который остервенело жевал сигару.

— Василий Алексеевич, ведь минуты дороги...

Налымов, трезвый, похудевший, очень приличный, в черном пиджаке, черном галстуке и перчатках (на руках его была нервная экзема), молча разглядывал этикетки бутылок...

— Слушайте, давайте это отложим до вечера... Дела, дела сначала... В двух словах я вам объясню, милый вы человек...

— Короче и без хамства,— сказал Налымов.

— Хорошо... Мои сведения совершенно достоверные, самые свежие. Юденич окончательно провалился: его армия интернирована на эстонской границе. На днях в английской палате будет запрос о кредитах Юденичу, и Черчилль продаст его как миленького... Финны без французских денег не полезут на Петроград,— францу-

зы денег не дадут, франк валится в пропасть, заметьте, это — сегодняшние сведения... Деникинские добровольцы драпают к Черному морю, в тылу у Деникина — поголовные восстания. В Сибири — и того хуже. Интервенция в этом году сорвалась. Еще два-три дня — об этом заговорят все газеты. Представляете, какие золотые часы мы пропускаем?

— Ну и что же?

— Нужно продавать, продавать! (Левант задышал спертым жаром в ухо Налымову.) Продавать на декабрь, на январь, на февраль...

— Что продавать?

— В первую голову — нефтяные акции... Почему, спросите? Потому что это самые загадочные ценности. Вокруг них обаяние Детердинга. Акции каких-нибудь уральских заводов? Железнодорожные? Этим никого не заинтересуешь: заводы разрушены, русские железные дороги, как каналы на Марсе, — может быть, они есть, может быть, их нет... Но за бакинской и грозненской нефтью — английский большой военный флот, политика Черчилля, польская и румынская армии. Это производит впечатление! Другое дело, когда именно русская нефть попадет к англичанам. Между нами — не раньше будущей осени... А покуда всю эту зиму нефтяные бумаги будут шататься и валиться. Мы играем на понижение. Представляете, что можно взять на разнице?!

— У вас же нет нефтяных акций...

— Наивный ребенок! Мне нужна только биржевая кредитоспособность. А ее получу через того же Манташева. Черт с ним, пускай ишак снимает львиную долю, нам с вами хватит на кусочек хлеба... (Испачканные никотином зубы его заколотились истерично.) Вы поняли мою мысль? Звоните Манташеву, едем к нему немедленно.

— Я никуда не поеду, покуда вы не отдадите мне письма.

— Богом клянусь, письмо в чемодане, в бумагах...

— Врете, письмо при вас...

Левант схватил рюмку и опрокинул ледяной коктейль в пересохшее горло. Налымов искоса наблюдал за ним. Левант только что вернулся из поездки Стокгольм — Ре-

вель. Он должен был передать Вере Юрьевне письмо Налымова и во что бы то ни стало привезти ответ. Вот уже месяц, как она не отвечала ни на письма, ни на телеграммы. По некоторым признакам Налымов был почти уверен, что Левант привез ответ, а это означало, что Вера Юрьевна жива... Но Левант, по обыкновению, лгал, и вывертывался, и дрожал от какого-то паршивого нетерпения...

— Слушайте, Левант, я не послал до сих пор к черту всю вашу шайку вместе с вами только из-за Веры Юрьевны...

— Это все мной учтено.

— Я одно только могу предположить: ответ Веры Юрьевны сфабрикован Эттингером, и вы боитесь, что я обнаружу это... И Веру Юрьевну там убили еще месяц тому назад...

— Знаете, шутки имеют некоторую границу, и я просил бы...

Бармен, готовя новую порцию коктейля, с любопытством поглядывал на собеседников. Налымов сказал громко по-французски:

— Очень хорошо, я иду к прокурору...

Он положил мелочь на прилавок, поправил шляпу, слез с высокой табуретки и вышел на улицу — пряменький, с поднятыми плечами. Бармен — с видимым огорчением Леванту:

— Мосье пьет один?

— Приготовьте столик, мы завтракаем.

Левант выскочил на тротуар, где холодный ветер гнал листья, срывал шляпы, трепал юбки. Налымов на углу, подняв трость, подзывал такси. Левант схватил его за руку:

— Василий Алексеевич, не глумите... Вернемся... Я все расскажу про Веру Юрьевну...

— Письмо...

— Успокойтесь, при мне, в кармане... Не могу же, черт возьми, на ветру...

Налымов молча повернул к Фукьезу. Сели за тот же столик, что и в первую встречу (в начале лета). Левант, — покосясь на стенные часы:

— Давайте скоро... Я хотел вам отдать письмо завтра, ну — сегодня вечером... Знаю же я, какой вы сума-

сбродный человек... А ведь дела́, дела́,— ни часу промедления... Ну ладно... (Вынул помятый конверт и прикрыл его ладонью.) Только несколько слов... Я не меньше вашего, Василий Алексеевич, хочу развязаться с Лаше. Он всех нас приведет на эшафот! У Лаше пропал политический нюх, он уже не способен к быстрым поворотам... На сегодняшний день его пресловутая Лига — просто шайка грязных авантюристов. Вы понимаете меня? Если англичане, не поморщившись, предали Юденича с целой армией,— что Лига? — каблуком раздавят... Я ему в лицо это сказал. Дурак, заварил грандиознейшую кашу, впутал генеральные штабы, контрразведки, а сделал мелкую грязь, пшик, что гораздо лучше обделаает какой-нибудь провинциальный бандит... Этому дьяволу хочется сыграть роль мирового злодея, а весь-то он — беспаспортный бродяга, гопник, содержатель публичного дома в Афинах, марсельский сутенер, форточник из Скутари, вышибала из вонючего переулка в Галате...

Слова вместе с крошками вылетали изо рта Леванта. Налымов — негромко и угрожающе:

— Письмо...

— Сейчас... Как я и думал, все его сокровища царской короны — чистый блеф... Обидно, Василий Алексеевич. Открытой, честной, законной игрой, какую я вам предлагаю, мы бы давно заработали на кусочек хлеба с маслом. Сейчас о письме... Минутку... Лаше — бывший агент тайной полиции при Абдул-Гамиде, да еще — по особому отделу загадочных убийств, таинственных исчезновений, пыток в стамбульских подземельях, денежных вымогательств и прочей старотурецкой романтики. Вот... (Ногтем он щелкнул о зуб.) Вот как я его знаю... Он страшен, когда у него за спиной сила, а персонально он — трус и малодушный истерик. Он еще не понял, что его участь решилась под Петроградом... Да, да, вы увидите: скоро полетят и Черчилль и сам Клемансо... Довольно размахивать оружием. Европе это надоело. Либерализм, гуманность, законность — вот о чем сегодня говорят на бирже. Военные запасы все разбазарены. Спекулянты на военных стоках проспекулировались. Довольно кустарщины! Идет серьезный промышленник и серьезный купец... Да, да! Сейчас, потерпите минутку, я к письму именно и подхожу. Предлагаю вам, Василий

Алексеевич, решительно и как можно скорее отделаться от Лаше... Он будет бешено сопротивляться, и наша борьба упрется в борьбу за Веру Юрьевну... Не удивляйтесь... Лаше прекрасно понимает, что именно эта женщина погубит его с головой. Он бережет ее как свой глаз. Он давно понял, что жестоко промахнулся, отослав вас в Париж. Если бы не вы, — давно бы ее и кости сгнили. Но вы — начеку, и вам терять нечего. Он это тоже понял. В игре троих карта Лаше бита... Знаете, для чего он вызвал меня в Баль Станэс? Предложил убрать вас старотурецким способом, клянусь богом...

Налымов со слабой усмешкой:

— Что это за способ?

— Так, порошок один, пустяк... Лаше потерял чувство современности. Сами понимаете, я без спора принял предложение... (Торопливо хихикнул, стукнул желтыми зубами.) И тогда он повел меня к Вере Юрьевне...

Налымов мутно уперся в бегающие глаза Леванта.

— Вера Юрьевна нездорова, давно уже — с месяц... Нервное расстройство, по-видимому на почве белой горячки... Что касается комфорта — все в порядке: у кровати — ваза с фруктами. Бывает врач... То, что Лаше писал вам и телеграфировал о ней, все соответствует действительности... Я прочел ей ваше письмо...

— Она в сознании?

— Временами... Я-то предполагаю, что на пятьдесят процентов у нее — симуляция, но этого Лаше, конечно, не высказал... Лаше предложил ей ответить вам, и она что-то долго писала. Он это письмо взял и спрятал, и, как вы верно угадали, Эттингер под его диктовку настрочил вам ответ от Веры Юрьевны...

Левант презрительно перебросил через стол письмо. Налымов не прикоснулся к нему. Левант вынул пухлую грязную записную книжку, заполненную цифрами и знаками биржевых бюллетеней, перелистал и протянул Налымову:

— Вы понимаете, без этого я бы и не начал с вами разговаривать. Мне таки удалось перехитрить Лаше: куда они внизу строчили вам ответ, я заскочил к Вере Юрьевне и шепнул: «Продолжайте этот курс, развязка близка...» У нее глаза так и сверкнули, понимаете, — у сумасшедшей-то? И собственноручно нацарапала вам

парочку слов... Читайте, этого не подделаешь...

Налымов с трудом разобрал большие слабые буквы поперек листочка записной книжки:

«...Велосипедист вез девочку с закрытыми глазами, помнишь — парк Сен-Клу? Я тебе сказала тогда... Все по-прежнему... Только тобой... За все благодарю...»

— Василий Алексеевич, но, ради бога, давайте Веру Юрьевну отложим... Едем к Манташеву...

— Хорошо. Я верю вам,— сказал Налымов, осторожно вырывая из записной книжки листочек.— Что мы должны делать?

— Прежде всего — деньги, деньги, деньги...

56

У суетного Леванта голова даже ушла в плечи, когда такси остановился у подъезда мрачного трехэтажного дворца на набережной Сены.

— Это его собственный дом!

История превращения Леона Манташева из нищего эмигранта в миллионера была так стремительна и необычайна, что парижская пресса на несколько дней занялась этой сенсацией. Леон Манташев получил от «Ройяль Дэтч Шелл» за проданные Детердингу бакинские земли девятнадцать миллионов франков. Деньги он получил на руки все целиком, неожиданно, как землетрясение. Однажды утром шеф гостиницы «Карлтон» был вызван к Манташеву, только что вернувшемуся из Лондона. Предполагая, что дело идет о бутылке коньяку и бутылке шампанского в кредит, шеф послал вместо себя лакея узнать, в чем дело.

Лакей, едва только отворил дверь, буквально был выбит обратно в коридор ураганным ревом нервного русского клиента. Лакей был бледен, у него тряслись губы, когда он сообщил об этом шефу. Шеф, с окаменелым, недоступным снисхождению лицом, без стука (что было прямым вызовом) вошел в номер к Манташеву, где, несмотря на поздний утренний час, были спущены шторы, зажжены все электрические лампочки, пахло виски и сигарами.

Леон Манташев, расставив ноги, стоял под люстрой. Карманы его необыкновенной канареечной пижамы отто-

пыривались. Усы торчали дыбом. Глаза бешено крутились.

— Счет! — заорал он, делая в воздухе широкий крестообразный жест.

— Хорошо, мосье, я подам вам весь счет, — мертвым голосом ответил шеф, подчеркивая «весь», что обозначало восемьдесят тысяч франков, или знакомство с комиссаром полиции, или подтяжки, привязанные одним концом к шее, другим — к дверной ручке. Шеф вышел. Счет был немедленно послан. Шеф, портье и два мускулистых коридорных стояли за дверью на случай атаки клиента. Они увидели в дверную щель, как лакей подал счет, как русский, не взглянув на счет, не моргнув глазом, вытащил из карманов пижамы пачки денег и одну за другой швырял их на серебряный поднос, дрожавший в руке лакея, и мимо — на ковер...

— Восемьдесят тысяч! — заревел Леон Манташев. — Восемь тысяч получи на чай, скотина! Пшел! — и под ноги оторопевшему лакею швырнул последнюю пачку.

Шеф, портье и коридорные отступили от двери, охваченные сильным волнением.

В то же утро Манташев переехал в гостиницу «Мажестик», в апартаменты, сдававшиеся обычно коронованным лицам и американцам с Пятого авеню. Темперамент его искал выхода. Манташеву сразу показалось тесно в этом городишке. (Париж тогда еще только приспособлялся к приему дорогих гостей.) Например: машины рольс-ройс он не мог найти ни в одном магазине, — предлагали заказать на фабрике — и ждать полгода?.. А портные! Парижские портные шили на мертвецов! А женщины, черт возьми! У самых шикарных фантазия не шла дальше ужина в кабинете Кафе де Пари и тысячи франков в сумочку. «Мерси, мой казак», — вот и все безумство...

Попытки бушевать на Монмартре также не вывели души на простор. Самая дорогая котлета стоила двадцать франков. Шампанское — пятьдесят франков. Правда, во всех кафе (слух о нем уже облетел Монмартр) «баловня судьбы» приветствовали джаз-банды салютом, — он сидел, густо обсыпанный конфетти, обмотанный серпантинном, обвитый голыми руками девчонок. Его знаменитые усы, торчавшие из этой путаницы, зарисо-

вывались карикатуристами и даже были опубликованы в газетах. Все же это был не размах. Красивая идея — откупить на всю ночь уличные развлечения на бульваре Клиши — наткнулась на сопротивление полиции. Даже любимое дело — скаковая конюшня — не могло заполнить времени. Он купил четырех кровных жеребят и двух трехлеток для дерби, но и с этим приходилось ждать до весны. Вместо нищеты ему грозила скука.

С первых же дней к нему прилип один жизнерадостный эмигрант, мосье Сипин (по-видимому, просто — Сипкин), знающий Париж, как дно своего кошелька. С первым утренним кашлем счастливого миллионера Сипин проскальзывал в опочивальню со свежими новостями и игривыми предложениями. Он садился за пианино, пел бульварные новинки, имитировал знаменитостей, изображал один целый оркестр, чудно лаял собакой, до жути правдиво изображал автомобильные гудки, мог есть сколько угодно и что угодно, даже гнилое, кроме того, он зорко следил за многочисленными просителями, надоедливо крутившимися вокруг отеля «Мажестик».

По его совету, Манташев купил мрачный дворец на набережной Сены, с великолепными конюшнями во дворе. Столовая в бельэтаже была расширена и украшена колоннадой, вторая столовая оборудована под кавказский духан с очагом для шашлыков. Устроен бассейн для плавания, гимнастический и спортивный залы. Особое внимание обращено на спальни наверху — их было три: личная, холостая, в английском вкусе, затем помпадурная с подлинной кроватью Марии Антуанетты — для красивых связей, и — зеркальная с фонтаном — для легких массовых развлечений. Нижний этаж отведен под контору и жилища челяди.

На новоселье было разослано триста билетов — в редакции газет, кое-кому из русских и подавляющее большинство — женщинам по списку Сипина. Новоселье это произошло как раз накануне того дня, когда Левант и Налымов приехали к Манташеву. В доме еще не все было в порядке.

— Не везет, несчастье, боюсь, не примут, — шептал Левант, стоя в вестибюле и глядя на верх мраморной лестницы, откуда на заду по перилам съезжала с папирской очень хорошенькая, но помятая девушка в пыш-

ной юбочке, с голой спиной и худыми руками. Спустившись, она с гримаской выпустила дым в лицо посторонившемуся Леванту и надтреснутым голоском потребовала у портье шубу и такси.

На верху лестницы к Налымову подошел мосье Сипин, — лицо его со страдальчески выпученными глазами было как у призрака, смокинг — в пуху.

— Мосье, вы опоздали ровно на двадцать четыре часа, — сказал он, покачнувшись.

Когда Налымов назвал себя и объяснил, что — по неотложному нефтяному делу, Сипин надул дряблые щеки...

— Боюсь, что Леон не в состоянии сегодня заниматься делами... Правда, он только что из бассейна после гимнастики, но... Он несколько угнетен... Хотя, может быть, ваш визит развлечет его, идемте.

Леон Манташев, в пестром халате, с мокрыми и непричесанными волосами сидел в туалетной комнате и, устало облокотясь, глядел в огромное наклонное зеркало. На краю туалета дымила папироска. Он вяло поднялся навстречу, — преувеличенно длинный в халате; усы его висели, восточные глаза страдали, — протянул обе руки Налымову, кивнул Леванту (которому в большинстве случаев только кивали, не соображая, как это болезненно даже для жулика).

— Господа, садитесь где-нибудь, — здесь такой беспорядок после вчерашнего... Сипинка, будь другом, скажи какому-нибудь болвану — кофе, четыре чашки, самого крепкого... (Вдогонку Сипину). Да чего-нибудь спиртного... В комнаты не зову, боже сохрани, там еще валяются девчонки на диванах... Одну нашел в бассейне, — половина туловища в воде, — спит, — правда, вода теплая, но как она не утонула? Все-таки не ожидал от французов, но ужасные развратники, ёрники, ч-е-о-о-орт знает что такое. После войны, что ли, такие стали? В восточной комнате утром нашли несколько мужских кальсон. Нет, господа, пировать нужно уметь. Пускай царствует эрос, но красиво, по-римски... Ну, заблевали же все ковры! Очень жалко, что вас не было, Василий Алексеевич. У меня возникла идея сделать над столом балдахин из малинового бархата, на золотых копьях, и вот для чего: когда подают десерт, с балдахина начинают сыпаться розовые лепестки... Розы падали, падали, покрыли стол,

всех гостей... Красиво... В утренней прессе, кажется, еще нет, но в вечерней будет полный отчет... Этот прием влетел мне в триста тысяч франков... (Он взял с края туалета дымящуюся папироску, сильно затянулся.) Этот дом обходится мне не дешево во всяком случае... Сотни тысяч так и летят... Господа... (Оглянул собеседников изумленными глазами.) Я не чувствую себя богатым человеком!..

— Полковник Налымов и я,— заторопился Левант,— именно по этому вопросу и позволили себе...

Манташев,— не обращая на него внимания:

— Деньги тают в руках, господа... Нужно что-то предпринимать. Так мне не хватит и до конца года.

— Мы опять с предложением,— сказал Налымов,— вернее: его идея, моя гарантия.

— Вам верю, как богу, Василий Алексеевич... Что это — опять Детердинг?

Левант, подавшись вперед на стуле и ощерив пошальки зубы:

— На Детердинга рассчитывать больше не придется... Политическая обстановка круто изменилась к худшему. (Манташев моргнул, точно ему в глаза бросили песок.) Сведения из Ревеля и Ростова-на-Дону самые тревожные. Детердингу скоро понадобится вмешательство европейских войск, чтобы узнать, как пахнет кавказская нефть.

Манташев перевел глаза на Налымова. Тот подтвердил, что действительно за последнюю неделю в России произошел тревожный перелом. Сизо-бритое оливковое лицо Леванта с кривым носом многозначительно усмехнулось:

— Господин Манташев, вы неплохо заработали на наступлении Деникина и Юденича. Сегодня вы сумеете заработать еще больше на отступлении Деникина и Юденича... Мы вам гарантируем минимум удвоение капитала. Если это вам подходит, вы платите нам пятнадцать процентов куртажных...

— Ого, пятнадцать процентов,— пробормотал Манташев, скрывая тревогу.— Ну нет, это жирно!..

— Двенадцать нам предлагает Чермоев.

Манташев с живостью поднялся, но туалетная комната была тесна для его широких движений, и он повалился на кушетку.

— Я широкий человек, господа, но надо же иметь совесть. (Молчание. Лицо Леванта решительно выражало, что совести у него нет.) Вы пользуетесь моей головной болью... Предположим — я согласился... Рассказывайте...

— Вчерашний раут запишите себе в актив,— начал Левант.— Когда человек после такого раута появляется на бирже, бумаги у него рвут из рук.

И он подробно стал излагать те же соображения, что и Налымову в кафе у Фукьеца.

— ...Парижская пресса будет пока молчать. Вчера Денисов выехал в Лондон, чтобы придержать лондонскую прессу. Все это глупость: Деникину и Юденичу ничего не поможет, это — мертвецы... Интервенцию нужно делать европейскими войсками — открыто, широко, в полном контакте с деловыми кругами... Но оставим это... В нашем распоряжении — три-четыре дня. Нужно продавать, покуда у вас хватит присутствия духа... Потом за сотню тысяч франков французская пресса утопит русских генералов, как миленьких. Тут уже самому Детердингу не удержать биржи...

Левант закончил свою мысль. Манташев засунул в рот усы и грыз их. Левант медленно вытащил шелковый платок и, вытирая лоб, из-под платка успокоительно моргнул Налымову, сидевшему в полном безразличии.

После продолжительного молчания Манташев сказал:

— Итак, вы хотите, чтобы я действовал против Детердинга?

— Это — логика,— сказал Левант.

— Против Черчилля, против французской политики, против всех порядочных людей, которые, как скалы, высятся среди грязи, предательства, спекуляции?.. Боже мой, боже мой! (Манташев вскочил, вслепую ища босой ногой туфлю под кушеткой.) Чтобы я пошел против своей совести?! Черт, вы направляете мою руку в спину святому белому делу!..

— Биржа реагирует только на логику...

— К чертям логику! Вы требуете от меня подлости! И еще хотите за это пятнадцать процентов куртажа!

— Хорошо,— спокойно сказал Левант,— я уже вижу, что вам трудно отрывать от себя пятнадцать процентов... Платите нам двенадцать — и покончим...

Перед камином на низеньком столике — бутылка портвейна, бисквиты и коробка сигар. Уголь только что подсыпали, и он еще дымит, распространяя в слабо освещенной комнате запах старой Англии. Портвейн сердоливо отсвечивает в граненых рюмках, — он не менее трех раз проплыл в бочке вокруг света на парусном клипере, крепкий его аромат примешивается к запаху угля.

Все страсти, поднятые Великой войной, — взбаламученная грязь со дна человеческого океана, — разобьются в бессилии о строгий покой этой комнаты. Аминь!

В сумрачный вечер сидящие у камина знают, конечно, что куски дымящегося угля с отчаянием и проклятием подняты из глубины шахт, а не свалились с неба. Человечество в сущности еще глубоко несовершенно. Да, много печальных и тревожных несовершенств в социальном строе Англии. Но это не означает, что во имя прибавки бедному человеку лишнего шиллинга в неделю нужно разломать тысячелетнюю крепость культуры, впустить в эту комнату рабочего с туберкулезными ребятишками, отдать бутылку драгоценного портвейна уэльскому шахтеру, понимающему толк лишь в количестве градусов, и предоставить прекрасные картины, украшающие стены этой комнаты, для сушки гороха.

Оба сидящие у огня — джентльмены. Оба говорят на прекрасном английском языке, не подчеркивают своих мыслей, но выражают их с тонким юмором. Они угадывают сокровенные намерения друг друга и с добродушием сознаются в этом. Цель одного из них — сэра Генри Детердинга — указать на призрачность некоторых точек зрения собеседника. Цель другого — мистера Ллойда-Джорджа — изящно не дать провести себя за нос.

Обмениваясь фразами, окуная бисквитики в портвейн, собеседники стараются совместными усилиями как бы разыграть трудную шахматную партию. По-видимому, это их забавляет, и они исполнены чувства открытого дружелюбия друг к другу.

— В самом начале были допущены ошибки, сэр Генри... Ошибки, стоившие нам дорого...

— Вы говорите об отсутствии должной твердости?

— Об отсутствии полезной гибкости. В Англии, к со-

жалению, слишком много людей, которые смешивают в одной кастрюле нашу современность и отошедшую в вечность непоколебимую политику времен императрицы Виктории... Противоречия, порождаемые развитием английского капитала в половине прошлого века, казались устранимыми простым, крепким, английским ударом в переносицу, в крайнем случае — частной благотворительностью. Но сегодня добросовестному политику невозможно не принимать этих противоречий как реальных данных при учете сил, — вот именно об этой гибкости я и хотел сказать, сэр Генри. Возьмите сигару.

— Благодарю. Позвольте вам предложить мою.

— Благодарю. Я был против оккупации Баку в восемнадцатом году, против посылки наших войск на север России, и я был прав. Мы ничего не достигли, мы раздражили большевиков и бросили жирную кость нашим домашним крикунам.

— Но боязнь либеральных болтунов в парламенте и в английских профсоюзах — это еще не учет сил, мистер Ллойд-Джордж... Либерализм сам по себе — прекрасен, когда он цветет у домашнего очага. Оставим его там, очистим, наконец, от него нашу твердую политику. Будем прямолинейны и суровы, как орудия английских дредноутов.

— Сэр Генри, вы хорошо сделали, что связали свою судьбу с судьбой Англии и поставили половину запасов мировой нефти под защиту английских пушек, но я немного огорчен тем, что у вас все еще нет доверия к дальности прицела английских пушек.

— Разрешите вам налить?

— Благодарю.

— Я ни на чем не настаиваю, мистер Ллойд-Джордж. Последние события на востоке встревожили меня так же, как любого англичанина, охраняющего свою семью, свой дом и свой кошелек от ночного посетителя. Я немного растерян. До сих пор мне казалось, что в сильном государстве сильная политика опирается на силу.

— Сэр Генри, мы раз и навсегда должны отказаться от некоторой терминологии, которую нам навязали наши друзья из профессиональных союзов. Например, империализм! Будь я ребенок, я бы, наверно, заплакал в сво-

ей кровати, услышав это слово... Интервенция! Это похоже на пощечину. Колониальная политика! Это — безобразные, ненужные, раздражающие слова... Зачем я буду каждое утро высовываться из окон и строить гражданам неприличные гримасы?.. Они вправе начать швырять камнями в мое окошко...

Сэр Генри откинулся в сафьяновом квадратном кресле, — должно быть, от портвейна массивное бритое лицо его с угрюмой челюстью было багровое, веки полуопущены над мешками глаз, щека вздрагивала. Мистер Ллойд-Джордж — седогривый, с моржовыми седыми усами, розовый, как дядюшка из провинции, благодушно улыбался.

— Игра с огнем всегда кончается пожаром, — сквозь зубы проговорил сэр Генри.

— Единственно, в чем мы с вами расходимся, — так мне кажется, сэр Генри, — это в способах тушения пожара. Эффектное появление пожарных на сцене: много крику и шуму, хлопотно и мало толку.

— Какие же другие способы?

— Правильная осада: когда осажденные начинают есть крыс и пить тухлую воду, они сдаются... Из истории Пунических войн мы знаем, что римляне, ускоряя процесс капитуляции, бросали в осажденный Карфаген зачумленные трупы. Это классика...

— Все это превосходно, если бы рынок мог ждать терпеливо... «Ройяль Дэтч Шелл» вложил огромные суммы в кавказские земли. Американцы не вложили ни одного цента. Мы ослаблены, они — нет. Если к будущему лету мы не будем стоять твердой ногой в Баку и Грозном, — Англия потеряет первое место...

Разговор принял такой оборот, что мистер Ллойд-Джордж почувствовал, наконец, будто его прочно взяли за нос. Он нагнулся к камину и некоторое время возился с углями.

— Да, да, вы, как всегда, правы, сэр Генри, — бормотал он, озаряемый пламенем; порозовели даже его пышные волосы. — Будем надеяться, бог поможет старой Англии... Видит бог, — мистер Ллойд-Джордж выпрямился, вооруженный каминными щипцами, — мы хотим только мира и счастья! Побольше счастья! Путь к нему открыт. Но при всем миролюбии (Ллойд-Джордж

положил щипцы) мы не можем, не в состоянии остановить процесса кристаллизации новорожденных республик на востоке Европы. Самоопределение — священный процесс. Польша и Румыния в своем историческом развитии должны пройти через войну... И мне представляется, что не дальше, как этим летом...

Подумав, сэр Генри сказал:

— Это — идея.

После этого оба молчали некоторое время. Существенная часть беседы была окончена. Сэр Генри поднялся. Мистер Ллойд-Джордж проводил его до дверей, глядя с чувством тревоги на апоплексическую шею такого нужного Англии, такого значительного человека.

Сэр Генри отпустил машину, отпер парадное, зажег яркий свет в вестибюле, бросил на кресло шляпу и пальто и на секунду остановился перед пестро размазанным деревянным идолом с Соломоновых островов.

Людоедский бог, со ртом до ушей, с треугольными зубами, жаждущими человечины, с клювообразным носом и ожерельем из раковин и бус (американского происхождения) глядел на Детердинга косыми непонятными глазами. Однажды сэр Генри пошутил, указывая друзьям на этого идола:

— Большевик...

Сейчас он вспомнил об этом и зло усмехнулся. Мысль, овладевшая им за время поездки по запруженным лондонским улицам, снова отчеканила:

«Польша, это — идея».

По лестнице, улыбаясь, спускался изящный, с седыми висками мистер Ховард — секретарь. На предпоследней ступеньке он остановился и ожидал, когда сэр Генри обратит на него внимание.

— Кто-нибудь ждет в приемной? — спросил сэр Генри.

— Мистер Константин Набоков и мистер Денисов из Парижа.

Мешки под глазами сэра Генри задрожали от гнева:

— Передайте этим русским... Гм... (Горловой звук, похожий на орлиный клекот...) Передайте, что я крайне утомлен и ложусь в постель. Пусть придут завтра...

Приготовьте на завтра точную сводку военных действий в этой проклятой России... Гм... А также... Скажите, Ховард, вам известно количество населения в Польше? Приготовьте также и эту цифру, и подробнее о Польше... Если вам это доставит удовольствие, передайте русским, что их белые генералы ни к черту не годятся... Любой чурбан... (он кивнул на идола) понимает в политике больше, чем они...

58

За пять дней Володя Лисовский заработал три с половиной тысячи франков. Но пришлось здорово потрудиться. Особенно много хлопот доставил Бурцев, хотя у него он не заработал ни сантима.

Владимир Львович Бурцев сделался окончательно невыносим за последнее время. Его настроения вместе с политическими убеждениями качались, как метроном, направо — налево, и где-то посредине: чик! — сухой треск — трещала надорванная борьбой с большевиками душа Владимира Львовича.

Еще бы! Ум заходил за разум, когда он все в той же соломенной шапочке (несмотря на ноябрь и нетопленную редакцию) сидел за пыльным столом над исковыренной ногтями промокашкой и его духовный взор, пронзивший в свое время такого демона, как Азеф, беспомощно бился о неразрешимые загадки. Владимир Львович был подобен провинциалу, попавшему в волшебную шестнадцатигугольную комнату в паноптикуме: куда ни ткнись, вместо выхода — зеркальная стена, откуда смотрит на тебя твое же растерянное лицо.

В противовес большевикам, сводящим все исторические процессы к классовой борьбе, он теперь выдвигал личность героя, сверхчеловека, носителя национальной, государственной, мировой идеи. Этой личностью был Колчак. О нем Владимир Львович писал с хлыстовской страстностью. В день его именин опубликовал «Письмо сибирского купца», лично будто бы видевшего верховного правителя.

«...Стою это я, — рассказывал купец, — в приемной, а у самого сердце так и трепещет... Господи, думаю, вся наша надежда на нем. И почуяло ретивое: идет он,

батюшка, тихо, плавно... И как будто некое дуновение пронеслось. Казаки отворяют дверь, и мне впору, как перед спасом,— в землю лбом. Он входит,— лик светлый, глаза вещие и подает мне белую ручку: «Здравствуй, говорит, сибирский купец, много ты горя вынес, многое тебе и воздастся...»

По поводу фельетона Лисовский сказал:

— Владимир Львович, кто вам сочинил письмо истового купца?

— Что? Как кто?

— Не сами ли уж, чего поди?.. Вы бы все-таки литературный материал через меня пропускали. В городе над фельетоном смеются.

— Кто смеется?

— Встретил Савинкова, смеется: скоро у вас верховный правитель по водам будет ходить...

— Вон! — надорванным фальцетом закричал Бурцев.— Вон! Вы больше не сотрудник «Общего дела».

И вот, через несколько дней тот же Лисовский пришел опять, нагло сел у редакционного стола, распространяя запах коньяку, и заявил, что Колчак — истерик, политический дурак, военная бездарность и подставная кукла, которую в самом непродолжительном времени союзники вышвырнут за ненадобностью. Задыхнувшись от негодования Бурцеву он показал кучу французских газет, где все это было напечатано.

Владимир Львович бросился на улицу Гренель. Там, на Политическом совещании, за зеленым сукном с золотой бахромой, на потертых креслах сидели: мертвенно утомленный князь Львов, налево от него — белобородый, щеголевато одетый «дедушка русской революции» Чайковский, направо — царский посол во Франции старый Извольский, напротив — посол временного правительства во Франции Василий Маклаков, нахмуренный Савинков (чем-то — жидкой прядью волос, упавшей на большой лоб, — напоминающий один из портретов Наполеона), мягколицый блондин из московского купечества — Третьяков и царский посол в Италии Гирс.

Этим людям, по-видимому, казалось, что на листах чистой бумаги, разбросанной по столу, они должны начертать и непременно, как умные и образованные люди,

начертает судьбу России. Они слушали прибывшего из Ревеля Кедрина, — печальный анализ событий под Петроградом. Лица всех (исключая Львова) выражали вежливую скуку: Кедрин был на подозрении в левизне, — «краснозадый», — как подписавший вместе с другими министрами северо-западного правительства акт о независимости Эстонии.

Доложили о Бурцеве. К нему вышел старый дипломат Извольский, — ему всегда доставляло удовольствие говорить неприятности. Бурцев, особенно казавшийся пыльным, без пуговиц, обсыпанный табаком, с растрепанными седыми космами из-под соломенной шапочки, с карманами, оттопыренными от газет, — кинулся к Извольскому.

— Что случилось? — спросил он почти одними движениями пересохших губ.

Извольский, выставив впереди себя палец, чтобы удержать наскок Бурцева:

— Центр борьбы переносится с востока на юг России, вот все, что случилось.

— Но — верховное правительство?

— Омск эвакуирован... Правительство где-то там...

— Адмирал?

— Право, не знаю... Где-нибудь едет в поезде...

Обухом ударило старого Бурцева в темя, в мечту, в идеализм. Затряслись полные брюки. Вернувшись в редакцию, он долго одиноко сидел у стола в надвинутой на глаза соломенной шапочке. Потом он вызвал Лисовского и, стараясь не глядеть в эту нагло ухмыляющуюся рожу, затребовал у него самые обширные данные биографии генерала Деникина. Владимир Львович не хотел сдаваться, — еще раз он делал усилие, чтобы на кончике пера поднять светлую личность.

На самом деле Политическое совещание было не менее Бурцева потрясено неожиданным поворотом французской печати от сдержанно-благожелательного отношения — по поводу русских дел — к резко враждебному. Что-то случилось, какая-то новая сила вошла в игру, чья-то сильная рука наносила удар.

Биржа, по существу учреждение паническое, реагировала на все это паникой. Русские ценности летели кувыркком. Кто-то пригоршнями швырял для продажи

русские нефтяные акции. Так продолжалось несколько дней. И будто нарочно из Сибири получались телеграммы одна мрачнее другой.

К Львову к завтраку позвали Тапу Чермоева, подпойли и выведали, что газетная кампания идет от Леона Манташева, играющего на понижение. Все это было бы понятно, если бы не одно странное явление: несмотря на то, что газеты поддавали жару, нефтяные акции после первых дней паники начали как будто сопротивляться и даже испытывать тенденцию ползти вверх: чья-то еще более сильная рука продолжала смело и широко поддерживать их.

— Нет, это игра темная,— говорил Тапа за завтраком,— боже спаси ввязываться... Боюсь за Леона, он — горячий человек, а политика — не скаковая конюшня. Между прочим, если уже играть сегодня, так только на повышение. Почему? Признаки есть, господа, счастливые признаки.

Хитрый татарин напустил еще гуще туману. Где-то кем-то готовилась таинственная диверсия по отношению России. Тревожнее всего было то, что Политическое совещание — фокус борьбы и ядро будущей русской власти — менее других было осведомлено. Им явно пренебрегали. Затем из Лондона пришла телеграмма от Константина Набокова:

«Необходим оптимизм. Необходимо внушить Деникину, что события расцениваются как временные неудачи. Входит новый фактор. Лондон на страже».

В Политическом совещании изрисовали рожицами и завитушками пятьдесят листов чистой бумаги, но телеграммы не поняли. Пока что решили предложить Бурцеву немедленно выехать в Новороссийск для организации оптимизма в местной печати. Из Лондона приехал Денисов, но по телефону его нельзя было добиться.

Шумели ноябрьские дожди. Париж веселился. Володя Лисовский часов в одиннадцать утра все еще не жился под теплой периной, с удовольствием слушая шум дождя. В дверь торопливо постучали. Вошел Александр Левант. Зонт его, концы брюк и башмаки были мокры. Глаза — как две тухлые маслины. Не снимая шляпы, он сказал:

— Можно уничтожить всю армию сразу, окружить и расстрелять или утопить в реке? И армию и генералов?

— Кого именно? — спросил Лисовский.

— В данный момент — белых с Деникиным.

— Можно, конечно, — не поверят...

— Чума в белой армии? Что вы скажете? Повальная чума...

— Чума — неплохо. А вам когда это нужно?

— Завтра.

— С чумой придется повозиться с недельку, иначе не подействует:

— Кошмар!..

Александр Левант, присев на постель в ногах Лисовского, некоторое время скалил длинные зубы. Ощеренная голова его глядела на туман и дождь за окном, где угольными очертаниями проступали аспидные крыши, гончарные каминные трубы.

— Манташев может еще вылезти, он продавал на февраль, к тому времени проклятую нефть удастся опять повалить... Я продавал на короткие сроки...

— Ай-ай-ай!..

— Кто мог знать? Я хотел скорее взять деньги. Сегодня я уплатил разницы сто двадцать тысяч франков. Послезавтра платить столько же... Я — банкрот... (Лисовский сочувственно пощипал языком.) Если бы завтра что-нибудь сверхъестественное про Россию! Слушайте, Америка не могла бы признать большевиков?..

— Такого ерша ни одна газета не рискнет напечатать.

— Я не спал две ночи... Голова отказывается... Слушайте, Лисовский, что случилось с нефтью? Кто ей помогает? Кто скупает эти паршивые акции? Можно сойти с ума! Вы сумеете что-нибудь придумать?

— Нет.

Левант повторил тихо: «Нет!» Он и сам знал, что — нет... Подошел к окну. Постоял и, не прощаясь, вышел... На трамвае поехал до Биржи и рассеянно стоял у колонн, заложив руки с зонтом за спину. Затем он вернулся в гостиницу и еще засветло вышел оттуда с объемистым пакетом, сказав консьержу, что — к портному. Ночевать не явился. Наутро консьерж обнаружил у него в номере,

в камине, следы сожженных бумаг, на полу в раскрытом чемодане — пару поношенных носков и неоплаченный счет из гостиницы: все, что осталось на поверхности жизни от Леванта. По-видимому, он совсем исчез из Парижа, предоставив Налымову одному выкручиваться из кучи неприятностей.

Манташев, узнав о его бегстве, сломал несколько ценных предметов у себя в туалетной комнате и заявил в полицию. Налымову послал бешеное письмо. Но Василий Алексеевич был уже на пути в Стокгольм. В полицейской префектуре Леванта отметили как нежелательного иностранца.

Ни в Париже, ни в мировой истории деятельность, появление и исчезновение Леванта не произвели никакого впечатления. Вынырнула из болота лягушечья голова, квакнула, переполошив десяток-другой мошек, и скрылась. Странно все же подумать, сколько было затрачено сумрачного труда, всех видов энергии и пищевых продуктов, чтобы обслужить и прокормить эту лягушечью голову. Сколько затрачено умственной деятельности на мирных конференциях, в парламентах и министерских кабинетах, сколько наготовлено оружия и взрывчатых веществ, чтобы сделать существование такой лягушечьей головы приятным и спокойным. Только поэтому, из-за этой странности, и стоило, пожалуй, упоминать о Леванте. Сам по себе он серый, как ночная тень, мелкий левантинский жулик. Хаджет Лаше — тот по крайней мере злодей, в старое время его восковой бюст показывали бы в провинциальном паноптикуме вместе с Джеком — потрошителем животов. Кроме того, Хаджет Лаше предвосхитил некоторые приемы, которыми несомненно будут широко пользоваться на европейской политической арене. Или Денисов! Этот, правда, пока еще в полутени, роскошные говоруны-политики и чудо-генералы заслоняют его, но голова его несомненно высунется в свое время и так квакнет, что только держись: «Шире дорогу черному интернационалу!»

Налымов приехал в Стокгольм в туманное, холодное утро, когда над Балтикой неслись тревожные сигналы

судов, блуждающих в тумане. Изморозь секла железный борт парохода. Поднятый воротник не спасал от холода.

Продрогший шофер сердито захлопнул дверцу машины и повез Налымова в одну из второклассных гостиниц. Налымов взял комнату подешевле. Когда внесли чемодан, он сейчас же заперся и ходил, ходил, останавливаясь у окна, за которым стоял туман стеной безвыходного мрака. Скука, тоска, мерзость...

Причина отвратительного настроения была в том, что его чувство к Вере Юрьевне остыло, сколько он ни пытался подогреть его. Ущерб начался, когда к нему пришло некоторое благополучие. (Сто тысяч франков куртажных.) Он босяк — это было одно, он рантье — в корне было что-то другое... Еще месяц, два — и он бы совсем не поехал в Стокгольм... Побранил бы себя, потушил и навряд бы расстался с покойной постелью в своей холостяцкой квартире. И вместе с ущербом надвинулась холодная дрянная пустота, как этот желтый туман за окошком. Василий Алексеевич сел, наконец, к телефону. В сущности плана у него никакого не было. Исчезновение Леванта смешало все планы. Нужно было попытаться переговорить с Мари или с Лили... Он позвонил в «Гранд-отель».

Оказалось — мадам Мари в прошлом месяце уехала с трупой Хипс-Хопс в Варшаву. Подробностей портье не сообщил. На просьбу попросить к телефону Лили портье, помолчав, неохотно ответил, что посмотрит, здесь ли мадемуазель, и предложил Налымову оставить свой номер телефона. Из осторожности Василий Алексеевич не сказал фамилии.

Звонка ждал долго. Сняв пиджак, продолжал ходить от двери до окна. Желтый сумрак сгущался. Во всяком случае, Веру Юрьевну он — так или иначе — выручит. О дальнейшем не стоило думать. Налымов позвонил и приказал коридорному принести комплект местных газет за последний месяц.

Просматривая газеты, он сразу же наткнулся на историю с Кальве. Через десять номеров новая сенсация: «Таинственное исчезновение Леви Левицкого»... Газеты

на этот раз всерьез переполошились. Заметка в «Эхо России» (в специальном номере, выпущенном Лигой) о прикосновенности Леви Левицкого к сокровищам царской короны впечатления не произвела: Леви Левицкий был связан со стокгольмскими банками, — о нем единогласно отзывались как о солидном и порядочном человеке. Через день после его исчезновения с его текущего счета было снято тридцать тысяч крон, подпись на чеке оказалась поддельной. Не напечатай об этом газеты, преступники несомненно попались бы со вторым чеком. Затем поднятый шум вокруг Леви Левицкого внезапно оборвался — видимо, под давлением свыше.

Для Лиги история с Леви Левицким прошла не гладко. Понятно теперь возмущение и предательство Леванта. Он прав. Хаджет Лаше потерял политический нюх. После событий под Петроградом Лига оказывалась громоздкой кустарщиной.

Позвонил телефон, и — надтреснутый просящий голосок:

— У телефона Лили... Вы меня хотели видеть, мосье?

Не называя себя, Налымов попросил ее немедленно приехать в гостиницу.

— Хорошо, я приеду... Автомобиль на ваш счет...

Ясно — девчонка опустилась до уличного фонаря... Налымов бросил газеты и позвонил, чтобы подали завтрак на двоих. Через несколько минут, поцарапав в дверь, вошла Лили, — юбочка до колен, ноги тонкие, из-под яркой дешевой шляпки — беспокойные глаза, обострившийся напудренный носик. Разинула в два приема рот, — все шире, — увидя Василия Алексеевича:

— Нет, нет!..

— Лилька, милая, здравствуй. Раздевайся, садись! Будем завтракать.

Он поцеловал ее холодную щеку. Под пудрой — морщины. Она опустила руки и так, стоя, начала плакать.

— Ну, что ты, дуручка, перестань...

Он снял с нее пальто и шляпку. Под шерстяным, без любви и заботы надетым платьем было видно, как она худа. Налымов усадил ее в кресло, поцеловал в темя.

— Рассказывай.

— Вася, тебя здесь убьют... Ах, ты ничего не знаешь: это кошмарный ужас...

— Подожди, что Вера, где она?

— Там же, на даче... Я там больше не живу. Я здесь снимаю комнату и сама плачу, я это отстояла... Вог Мари, понимаешь ты, счастье-то! В нее влюбился один из Хипс-Хопсов, Ричард, и взял ее в Польшу,— она прекрасно знает польский язык, и она очень музыкальна, они ее научили играть на метле... Но что было! Лаше не хотел отпускать. Хипс-Хопсы пожаловались в английскую миссию... Только так и вырвалась... А я — совсем, Вася... (Нырнула головой в колени, затагнула детским плачем.) Сейчас перестану... (Вытерла глаза уголком скатерти.) Вера очень была больна. У ней — что-то мозговое. Если тебе будут говорить белая горячка,— вранье. Конечно, ей лучше бы умереть... (Покосилась на дверь, все лицо у нее задрожало.) Убивали при ней, понимаешь?..

— Мы прямо поедем к начальнику полиции.

— Господи! (Схватила за щеки.) С ума сошел! Чтобы меня увезли в Баль Станэс и пытали и резали! Полиция сейчас же даст знать Лаше, и Лаше им докажет, что мы — большевики... И мы пропали... Полиция еще недовольна, что Лига плохо работает. У меня есть один любовник, я знаю, конечно, что он — шпион, представлен от Лиги следить... Он рассказывал: начальник полиции кричал на Лаше и на генерала Гиссера, что они больше о своем кармане заботятся, чем о большевиках, что они просто жулики, а не политические борцы, что в Стокгольме пруд пруди большевиками. Поэтому Лига готовит крупное убийство... И не думай заявлять! Ведь при тебе же я давала клятву, а знаешь, что за нарушение клятвы?

— Хорошо. Я поеду один. Но я должен выставить тебя как свидетеля...

— Нет, нет, нет... Я ничего не знаю...

Она схватилась за шляпку, Налымов едва уговорил ее остаться завтракать. Но только он начинал настаивать на заявлении в полицию,— Лилька бросала вилку, принималась плакать.

Бистрем позвонил. Отворил Ардашев, поднял руки:
— Батюшки! Какими судьбами! Худой, страшный, ободранный! Неужто из Петрограда?

Бистрем пролез в маленькую прихожую, широко улыбаясь, стащил тяжелое от грязи, залатанное пальто, свернул его и вместе с кепкой положил в угол на лакированный пол.

— Николай Петрович, я к вам прямо с поезда. Понимаете, мне необходимо прилично одеться... За мной следят от самой границы. Николай Петрович, что мама?

— Здорова, все великолепно...

— В таком виде домой не рискну... Главное — пальто, башмаки и шапка...

— Сущие пустяки, магазины еще не закрыты... Слетаю мигом... Есть хотите?

— Ужасно.

— Через час обед. А это тряпье не лучше ли сжечь?

— Да, пожалуй... Я не ручаюсь, что насекомые...

— Куплю и костюм и белье. Размер, конечно, самый большой?..

— Да, да, самый большой... (Бистрем внезапно крепко взял его за руки.) Я так и думал, вы — хороший человек.

— Глупости, глупости... Вы мне расскажите-ка, что в России? Бьем интервентов в хвост и в гриву? Правда это? Я всегда говорил: проснется, черт возьми, русский богатырь... Россия-с — не Австро-Венгрия! Эта раскололась, как глиняный горшок, а мы, черт их возьми, покажем Европе евразийцев!

— Процесс гораздо более сложный, Николай Петрович. Я бы не сказал, что национализм...

— Ладно... Расскажете... Бегу...

Ардашев живо оделся, хлопнул дверью, весело затопал по лестнице. Улыбка слезла с небритого, обветренного лица Бистрема. Поправив маленькие — не по размеру — очки, он сурово огляделся. Вошел в кабинет и сел у топящейся печки, — нога на ногу, локоть о колено, костлявый подбородок на ладонь.

Он был послан курьером из Петрограда и три дня назад перешел финскую границу. Три ночи не спал, стра-

шась быть захваченным контрразведчиками, шнырявшими по всей Финляндии. У него еще не прошли болезненные ощущения контузии, полученной под Пулковом, голову от усталости и голода застилала тошноватая муть. Но это — мелочи. Он иными глазами глядел теперь на этот мир, покинутый им в сентябре. Швеция поразила его опрятностью, порядком, удовлетворенностью, — страна еще не израсходовала богатств, перепавших ей во время мировой войны. Бистрем вглядывался в краснощечные лица щегольски одетых граждан, в окно вагона-ресторана видел, как они ели, пили, курили. Они были благодушны и вежливы. И Бистрем не мог отрешиться от ощущения, что этот великолепный мир отделен от него будто невидимой решеткой.

Перед отъездом из Петрограда он получил наказ провести в европейской печати ряд статей, чтобы, сколько возможно, парализовать желтую прессу. Со всей пылкостью он принял тогда наказ. Сейчас у горячей печки он с тяжестью думал, что трудно ему будет полностью оправдать доверие товарищей. Нужна бешеная энергия, свежесть всех сил, а у него слипаются глаза, и он с жадностью думает об ардашевском обеде. Несомненно сильно потрепаны нервы...

В прихожей трещал звонок. Бистрем провел ладонью по лицу, встряхнулся, отворил парадную дверь. Вошел небольшого роста, красивый, неприятный человек, с темными усиками, с острой бородкой. Снял с плечи котелок.

— Николай Петрович дома?

— Нет, — угрюмо ответил Бистрем.

— Могу я подождать его?

— Не знаю, я нездешний.

Человек быстро и внимательно оглядел Бистрема и до половины неприятно приоткрыл редко посаженные зубы:

— Простите, вы, кажется, Бистрем? Мы однажды встречались. (Бистрем не ответил.) Хорошо. Я позвоню Николаю Петровичу. Не откажите передать, что заходил Извольский...

Человек надменно кивнул снизу вверх подбородком и вышел. Бистрем некоторое время глядел на захлопнувшуюся дверь, — будто он прикоснулся к ядовитой га-

дине... «Ну и черт с ним», — вернулся в кабинет и опять сел у печки. Сонливость прошла, но чувство гадливости оставалось. Он потирал перед огнем большие свои красные руки... «Глупости, глупости, не нужно нервничать...»

Вернулся Ардашев, веселый и запыхавшийся, нагруженный свертками и картонками.

— Идите в ванну, Бистрем, берите горячий душ, брейтесь... Будете одеты, как принц Уэльский... Понимаете, замечательное удобство — открылся новый американский магазин, все для мужчин, что твоей душе угодно: от запонки до автомобиля... Купил вам даже трубку и табак... Да, батенька, плоха, плоха буржуазная культура, а умеют они создавать условия... Рубашки купил фланелевые, правильно?..

Вымытый, выбритый, одетый во все чистое и новое — Бистрем сел за обеденный стол. Ардашев, продолжая хлопотать, поднимал крышки с дымящихся блюд:

— Ешьте, ешьте, дорогой! Что-что, а жратва у нас в Швеции хороша. Вот это — сосиски! А это — гоголевский лабардан, сиречь — свежая треска, — мечта, а не рыба. К ней растопленного маслица...

Ардашев подкладывал, потчевал друга, искренне, горячо, и вместе с тем казалось, в чем-то извинялся перед ним.

— Ну, а теперь — рассказывайте о вашем путешествии на планету Марс...

Давеча, когда Бистрем тер ладонь о ладонь у печки — клещами у него не вытащить ни слова о Петрограде, — сейчас, растроганный и сытый, он доверчиво начал рассказывать о своем путешествии. Ардашев сейчас же принялся катать хлебные шарики на скатерти, кивал и поддакивал. Но глаз не поднимал на Бистрема.

— Понимаете, Ардашев, я понял там одно, главное, основное, — что физические лишения отходят на второй план... Куда там — на десятый... Голод и холод, отсутствие чистой одежды и даже мыла — совершенно по-другому переносятся человеком в том случае, если душа его окрылена великими идеями... Борьбой за эти идеи... Да, да, — ими, только ими руководствуется наша жизнь, и тогда она — полна, целесообразна, прекрасна... Здесь мало знают и мало понимают, что означает для человека моральная высота.

— И вы там ее увидели и узнали? — тихо спросил Ардашев.

— Да... Вы бы... я не говорю лично о вас, но человек из этого вашего мира отпрянул бы в ужасе при виде внешности революции. Внешность ее не привлекательна... Промокшие валенки, обвязанные бечевками, да худое пальтишко, да перетянутый ремнем голодный живот... Но — глаза человеческие! (Глаза Бистрема вдруг увлажнились, он прищурился, скрывая это...) Когда перешагнешь на ту сторону, когда тебя примут в то высокое дело, как товарища, — тогда узнаешь, что такое человек... О, это замечательное животное... Это высокое существо... Человек дерется и умирает за счастье других!.. И в этой борьбе требует для себя только двести граммов хлеба... И должен вам сказать, Ардашев, я очень полюбил русских... Это люди, способные на грандиозные дела, и очень выносливые люди...

— Так, так, так, — Ардашев неожиданно засопел, рассматривая хлебный шарик. — Ужасно хочется вам верить, Бистрем... Вам нужно об этом писать...

— Николай Петрович, я именно по поводу этого и хочу говорить с вами...

— Отлично, отлично... Поедемте-ка завтра к одному человеку: профессору славянских языков в здешнем университете... Переводчик Пушкина... Он вас особенно поймет, мне кажется... Завтра приходите ко мне вот так же завтракать и отправимся...

Бистрем за этим разговором совсем забыл сказать о визите неприятного господина, назвавшего себя Извольским. Попросив Ардашева предупредить по телефону мать, Бистрем надел новое пальто, шляпу, неожиданно горячо потряс руки Ардашева и пошел домой, уверенный, что не обратит на себя ничьего внимания.

На следующий день он пришел к Ардашеву в назначенный час. Приветливая пожилая женщина, отворившая дверь, сказала, что Николай Петрович вышел куда-то, но с минуты на минуту должен вернуться. Завтрак уже готов.

Бистрем сел, как и вчера в кабинете, у печки. В комнате — навощенный паркет, в шкафах — корешки книг с красными, синими, зелеными наклейками. На стенах — дорогие эстампы. За чисто протертым окном — туман. Пробило час. Приветливая женщина, приоткрыв дверь, взглянула на стенные часы:

— О, бог мой, две минуты второго! Что-нибудь экстренное задержало господина Ардашева, он очень пунктуален.

У Бистрема было достаточно тем для размышления, — он спокойно сидел, когда часы пробили половину второго и два. Каждый раз экономка, складывая молитвенно ладони, принималась извиняться. Больше всего ее удивляло, что Ардашев не звонит по телефону. Когда пробило три, Бистрему тоже все это начало казаться странным. Он протелефонировал домой и у матери спросил, нет ли для него письма или телефонограммы? Оказалось, был посыльный, оставил письмо от Ардашева, но оно — по-русски, и мать не может прочесть. Помимо письма, позже, от него же были две телефонограммы.

Неужели Николай Петрович забыл о завтраке? Экономка с негодованием затрясла головой: «Господин Ардашев еще сегодня утром напомнил о завтраке на две персоны и приказал купить шампанское...» — «Странно!» Бистрем зашагал домой. Письмо оказалось действительно от Ардашева:

«Уважаемый Бистрем, немедленно приезжайте в ресторан «Сорока». Это немного далеко от центра, но кормят великолепно. Поезжайте на трамвае № 11. Я один, скучаю, поболтаем. Жду. Ваш Николай Ардашев». Обе телефонограммы были о том же, просьба приехать в ресторан «Сорока»...

Бистрем сел к столу, положил перед собой письмо, перечел. Снял очки, близоруко перечел еще раз... До отвращения было непонятно!.. Вскочил, отыскал в телефонной книжке ресторан «Сорока». Позвонил туда и какому-то пивному голосу подробно описал наружность Ардашева. Пивной голос ответил, что «очень извиняется, но такого господина у них, к сожалению, сегодня не было»...

Бистрем позвонил к Ардашеву. Взволнованная экономка ответила:

— Нет, нет, все еще не вернулся.

Что можно было подумать? Особенно странной казалась фраза в письме: «Я один, скучаю, поболтаем»... Как будто не было вчерашнего разговора... «Поболтаем»... — так нельзя написать после вчерашнего. И потом: «Уважаемый»!.. Непонятно...

Бистрем нашел в столе одну из коротеньких ардашевских записок, сличил: и там и там почерк — круглый, аккуратный, в письме даже более уверенный, чем в записке... Быть может, — мистификация, издевательство? Уязвленный, он опять позвонил. Экономка ответила как будто даже с негодованием: «Нет, нет его». Тогда Бистрем рассердился: «Хамство богатого бездельника!» Сел к столу, чтобы написать резкую «ответь»... Но бросил перо: «Черт с ним, плевать, дело в конце концов важнее самолюбия».

Он решил этот вечер посвятить матери. В смягченных красках, чтобы мать не очень пугалась, он рассказал ей о путешествии в Петроград. Фру Бистрем мало смыслила в политике, из рассказов усвоила, что сын привез богатый материал для статей и может несколько поправить материальные дела. В восемь часов он повел мать в кинематограф. Вернулись домой в половине одиннадцатого. В прихожей, покосившись на телефон, Бистрем еще раз позвонил Ардашеву, — на этот раз к аппарату никто не подошел. Все-таки все это более чем непонятно. Затем они скромно ужинали в кухоньке. Бистрем закурил трубочку. Фру Бистрем, растроганная кинематографом, поцеловала сына в голову.

— Ты у меня скромный, честный мальчик, каждый вечер благодарю бога, что не пристрастился к вину, бог тебе поможет стать когда-нибудь на ноги.

— Не огорчайся, мать, я твердо стою на ногах.

Бистрем пошел в свою комнату, когда-то детскую, теперь — рабочий кабинет, уставленный книжными полками. Начал стелить постель на кожаном диване, слишком коротком для него, так что приходилось подставлять для ног кресло. Он уже снял подтяжки, когда заметил под письменным столом на коврик папку со своими рукописями, — он твердо помнил, что давеча

положил ее в стол, — тесемки развязаны, и — на глаз — половины рукописей не хватало. Он торопливо выдвинул средний ящик стола, где лежали петроградские заметки и материалы: их не оказалось, все в ящике было перевернуто. На столе под пресс-папье не было и ардашевского письма.

Бистрем поправил очки. Пошел было к двери, вернулся... К чему пугать мать?.. Ясно, — полицейский обыск, как раз когда они были в кино... Ну, конечно, — он вспомнил и фигуру в котелке с поднятым воротником, быстро перешедшую от их подъезда на другую сторону улицы... Но — ужас, ужас! — пропали все материалы для статей... Он всей кожей почувствовал неумолимую ненависть, окружившую его маленькую комнату с зеленой рабочей лампой. Сидя перед оскверненным столом, он сжал кулаки, сжал челюсти.

Повода для ареста в похищенных материалах они, пожалуй, не найдут, но высылка из Стокгольма обеспечена. Тем лучше... В Германию! Не дожидаясь, завтра взять у Ардашева нужные письма и — в Берлин. Взглянул на стенные часы — половина первого. На цыпочках прошел в прихожую и позвонил Ардашеву. Долго не отвечали. Затем слабый, удерживающийся от плача голос экономки:

— Ах, это вы, господин Бистрем... Пожалуйста, не могли бы вы сейчас прийти, мне очень страшно...

— В чем дело?

— Ах, я, право, очень боюсь по телефону...

Вытирая глаза белоснежным передником, экономка рассказала Бистрему следующее: ровно в десять часов позвонили по телефону. Незнакомый голос, назвав ее по имени, — фру Вендля, — сообщил, что Ардашев немного выпил и остается ночевать в гостинице Хасельбакен (в пригородном местечке Хасельбакен) и просит немедленно привезти ночную рубашку, туфли и зубную щетку. Фру Вендля сейчас же собрала вещи и поехала в трамвае в Хасельбакен...

— О господин Бистрем, господин Бистрем, — у нее плачем перекосилось все лицо, — господина Ардашева там не было. В гостинице Хасельбакен никогда не слышали о господине Ардашеве.

— Так. Когда же вы вернулись домой?..

— Да, господин Бистрем, когда я вернулась домой, мне сразу бросилось в глаза, что вот этот коврик у двери лежит криво. Я было подумала, что господин Ардашев вернулся, и позвала его... В кабинете обе шторы были спущены,— я их не опускала сегодня...

— Понятно. И ящик в письменном столе...

Оказалось, все ящики в столе и в бюро (где Ардашев хранил золото и драгоценности) были взломаны. На ковре фру Вендля нашла золотую монету и бриллиантовую запонку. Похищены также папка с цветными гравюрами и несколько книг из шкафа. Но в столовой и спальне все оказалось на месте, буфет, где хранилось столовое серебро, даже не вскрыт, не взята дорогая бобровая шуба из прихожей...

— Дело очень серьезное, очень серьезное, фру Вендля... Вспомните-ка, по какому делу мог пойти сегодня утром Николай Петрович?

Фру Вендля вдруг оживилась:

— Господин Ардашев пошел во дворец Густава. Там открыта школа для русских детей. О, я теперь вспомнила... Когда он разговаривал утром по телефону, он говорил по-русски... И потом он крикнул: «Фру Вендля, сегодня к завтраку две персоны»... Ах, моя голова, моя бедная голова!.. Две персоны к завтраку, кроме него, и две бутылки шампанского...

— Значит, ждали еще третьего?

— Так, господин Бистрем...

— Кого?

— Мне кажется, того господина, что заходил вчера... Я узнала его голос, когда он утром просил к телефону господина Ардашева.

— Небольшого роста, с темными усиками,— Извольский?

— Так, так... Третьего дня он еще был у господина Ардашева.

— О чем они тогда говорили?

— Господин Ардашев позвал меня в кабинет и сказал: «Фру Вендля, к господину Извольскому приехала из России девочка, племянница. Мы устраиваем ее в русскую школу, ее нужно приодеть хорошенько. Где можно купить недорогие первоклассные детские вещи?» Я ска-

зала: «С большим удовольствием схожу с девочкой в один магазин». Господин Извольский сказал мне: «К сожалению, девочка нездорова и живет далеко от города, в Баль Станэсе,— вещи придется купить заочно».

— По какой дороге Баль Станэс?

— По Северной. На автомобиле туда двадцать минут.

— Николай Петрович мог рассчитывать, выйдя в десять часов из дому, съездить в Баль Станэс и вернуться к завтраку?

— О, вполне.

— Фру Вендля,— сказал Бистрем, надевая пальто,— сейчас же звоните в полицию, заявите о грабеже. Когда они явятся, повторите им все, что вы мне говорили...

— Меня могут арестовать?

— Я думаю, они с этого и начнут. Но не бойтесь. Скажите им, что только что здесь был журналист Карл Бистрем и очень заинтересовался этим делом. Я оставлю вам мой телефон, будут какие-нибудь новости, непременно звоните.

Несомненно, была какая-то связь между обыском у него и грабежом у Ардашева. Таков был первоначальный вывод, когда Бистрем шагал в ночном тумане. Дойдя до своего дома, он остановился, всматриваясь: близ подъезда под фонарем стоял человек с поднятым воротником и тоже всматривался. Бистрем быстро снял очки, носовым платком прикрыл лицо и прошел мимо незнакомца — вниз по пустынной улице.

Туман клубился у фонарей. Подошвы скользили на ледяном асфальте. Незнакомец некоторое время шел за ним и отстал. Светящийся диск часов на башне висел, как чудовищная луна. Бистрем различал: четверть третьего. Где-то нужно переждать до утра... Он вспомнил о портовом кабачке, открытом всю ночь, и свернул к старому острову.

В кабачке «Ночная вахта» в передней комнате с цинковым прилавком он устроился за изрезанным ножами столом, спросил черного кофе. У другого конца стола дремал, подперев щеку, человек в черном пальто, в плюшевой шляпе. В глубине — низкая арка и несколько каменных ступеней вели в помещение, куда полиция неохотно заглядывала. Там слышались матросские пес-

ни, шелканье костяшек, пьяный говор; порой он усиливался и свирепел, как ноябрьский шторм, тогда плечистый хозяин за цинковой стойкой поворачивал к арке тяжелое лицо, знакомое с приключениями на всех широтах. Туда, в глубину кабака, и оттуда, к стойке, циркулировали кучками и в одиночку: тяжелоногие матросы; элегантные воры; бледные, как полотно, курильщики опиума, рассеянные и неряшливые морфинисты; томные эротики, нюхающие эфир; опухшие алкоголики; жаждущие странных видений потребители гашиша с остановившимися зрачками. Близ наружной двери за столиком дремал полицейский, — он вступал в свои обязанности только лишь в случае, когда чья-нибудь отчаянная душа, не успев вкусить всех наслаждений, вылетала в маленькую дырку, проделанную ножом.

Бистрем размышлял. Самое благоразумное — завтра же с утренним поездом удрать в Берлин. Но благоразумие было у него наименее развитым рефлексом. Помимо всего, эта история зацепила его профессионально, — нюхом журналиста он чувствовал поживу. Если бы еще удалось создать политический процесс, — лучшего громкоговорителя на всю Европу и желать нечего.

Из глубины кабака к дремлющему человеку в черном пальто подошла женщина, и они заговорили шепотом. Она была пьяна и плаксива, у него — мутные глаза, измятое лицо. Он пытался что-то выпытать, она трясла красной шляпкой, двигая по столу пустым стаканом. Несколько фраз долетело до Бистрема; он насторожился, — они говорили по-русски:

— Брось глупости, что случилось?

Она топорщилась. Он настаивал. Засопев носиком, она сказала:

— Третьего привезли.

— Когда?

— Часов в одиннадцать, утром сегодня...

— Кого?

— Он так мне всегда нравился, так я мечтала с ним познакомиться... Тебе не все равно — кого?.. Поехала я в девять часов на дачу за моими платьями... Иду с вокзала... А они катят в автомобиле... Я — в лес, — назад на станцию... Если бы он меня увидел на дороге, — только бы мне до утра и жить...

— Кто, Хаджет Лаше?

У Бистрема точно заслонка соскочила с глаз — сразу вспомнил, как под Сестрорецком ночью во время опроса его особенно спрашивали о Хаджет Лаше.

— Тише ты! — Она схватила человека за руку, глядела на него мечущимися зрачками. — Дурак, дурак!.. (Качнулась и ему — в самое ухо.) В автомобиле были двое: этот, — симпатичный, и сволочь — Извольский... Там они с ним черт знает что делают...

Человек встряхнул ее:

— Лилька, слушай ты, еще раз повторяю, — скажи фамилию.

— Оставь! Ты просто дурак... Сказала, боюсь, значит — боюсь... Все равно я уже опшум теперь курю... Черт с вами, хоть все друг другу глотки перегрызите... Да черт со мной тоже. Вот что...

Она встала, пошатываясь. Он пытался удержать, — она изо всей силы вырывала руку. (Кабатчик за стойкой угрожающе кашлянул.) Она со страхом уставилась на него. И опять — собеседнику:

— Ну, хорошо, я скоро приду, подожди.

Она ушла за арку вниз, человек в плюшевой шляпе рассеянно мял незакуренную папироску. Бистрем до тех пор глядел на него, покуда тот не поднял глаз.

— Можно вам задать несколько вопросов? — Бистрем сейчас же подсел к нему. — Я журналист. Я невольно подслушал ваш разговор. Насколько я понял, эта девушка видела сегодня в одиннадцать утра где-то за городом в автомобиле моего друга Ардашева вместе с неким Извольским. Ардашев до сих пор домой не возвращался. Между десятью и двенадцатью часами его квартира была ограблена. И я боюсь, что жизни его грозит опасность. Можете вы мне дать какие-нибудь объяснения по поводу всего этого?

Налымов поправил плюшевую шляпу. Потом повернулся к Бистрему всем телом. Лицо его с мягковатым носом и глубокими складками у рта, представлявшееся издали даже значительным, теперь, на близком расстоянии, оказалось просто жалкой дребеденью. И, видимо, у него самого не было желания скрывать этого обстоятельства. Он встал, запахнул пальто:

— Идемте...

Они пошли по пустынной набережной. Внизу медленно плескалась черная вода. Огни маяков боролись с туманом, бычьими голосами стонали ревуны на бакенах. Налымов сел на сверток канатов, засунул руки в рукава.

— Если у вас есть возможность пригрозить полиции скандалом в печати, вашего друга можно еще попытаться спасти. Не думаю, чтобы они прикончили его сегодня же ночью. Вам что-нибудь известно о «Лиге спасения Российской империи» и о Хаджет Лаше? Лига и Хаджет Лаше — шайка наемных убийц, но вести борьбу придется с теми, кто их нанял, а это довольно серьезно. Вы можете взять только большим европейским скандалом. Вы намерены влезать в драку?

— Да, теперь особенно намерен.

Налымов вздохнул будто с облегчением. Глубже засунул руки в рукава и начал рассказывать о Хаджет Лаше, о создании Лиги, об организации политических убийств. Случай с поддельным чеком Леви Левицкого он считал их самым уязвимым местом, в особенности теперь, когда высшая политика в Лондоне и Париже берет курс на демократию в надежде, что у вождей рабочей партии и социал-демократов найдутся более современные приемы свернуть шею большевикам...

Кашлянув от застрявшего в горле тумана, Бистрем спросил:

— Например, какие приемы?

— Хотя бы польская война... Тем не менее Лаше все же попытаются спасти, чтобы не выволакивать на улицу грязи. Но на широкий скандал не пойдут, выдадут его с головой.

Помолчав, Бистрем сказал сурово:

— Слушайте, вы представляете, какую сейчас огромную услугу вы оказываете большевикам?

— Пожалуйста, — Налымов пожал плечами.

— За эту услугу вы можете жестоко поплатиться, предупреждаю заранее.

Налымов не ответил. Мутное пятно его лица как будто затряслось от смеха.

— Я-то в этом деле хочу только спасти одного человека, такого же лишнего, как и я, — сказал он. — Но на свет вы меня не вытаскивайте, не из скромности говорю, из чисто санитарных соображений. Впрочем,

с удовольствием, даже с острым удовольствием окажу эту услугу. Это было бы прекрасным завершением...

И он начал бормотать какие-то совсем уже малосодержательные фразы. Бистрем, присев на корточки перед свертком канатов, заговорил шепотом:

— Слушайте, план действий должен быть таков, по-моему...

Они вернулись в «Ночную вахту» и едва отогрелись водкой с черным кофе. Когда в предутренней мгле зазвонил первый трамвай, Бистрем и Налымов поехали в главное полицейское управление. Пришлось ждать. В половине восьмого они вошли в кабинет начальника полиции. Он сидел широкой спиной к газовому камину. Все вокруг него блестело лакированным деревом. Вошедшие сели напротив полнокровного лица начальника с лакированными глазами, лакированными усами. Он был изысканно вежлив. Бистрем сжато и энергично объяснил цель прихода: их друг, Ардашев, находится в руках шайки убийц. Дорога каждая минута: нужно немедленно послать отряд полиции на дачу в Баль Станэс.

Ничто не отразилось на лице начальника полиции, не дрогнул волосок гороховых бровей, не затуманились даже глаза, когда Бистрем упомянул о Хаджет Лаше, о Лиге, о загадочных убийствах Кальве и Леви Левицкого. Начальник полиции улыбался, взявшись за ручки лакированного кресла.

— Господа,— голос его был трубный и мощный,— господа, я охотно верю, что вы оба — в добром здоровье и твердом рассудке. Если вы пришли рассказывать мне сказки о каких-то таинственных лигах и загадочных убийствах, охотно позабавлюсь вместе с вами в неслужебное время...

Он слегка наклонил туловище. Бистрем взглянул на Налымова, тот пожал плечами. Бистрем нахмурился:

— Вам известно, что у меня был обыск и изъятие журнальных материалов?

— Вот как? Нет, не известно...

— Предположим... Но вам известно, что я вернулся из Советской России, куда ездил в качестве корреспондента от больших европейских газет. Я не сомневаюсь, что вы будете пытаться арестовать меня. (Лицо началь-

ника сияло.) Поэтому — к сведению: мною уже начата газетная кампания, не здесь, конечно, — в Лондоне и Париже, в оппозиционной прессе. Материалы о Лиге и о Хаджет Лаше и все, что сопутствовало его деятельности в Стокгольме, мною переданы по назначению. Вы, конечно, осведомлены о перемене общеполитического курса в Европе. Мой арест и ваше неведение в делах Лиги и Хаджет Лаше послужат тем желанным политическим скандалом, который ищет сейчас оппозиционная пресса...

— Вы мне грозите? — с тихой медью в горле спросил начальник.

— Да, я вам угрожаю — и неприятностями, более серьезными, чем вы мне...

В первый раз начальник отвернул лицо и некоторое время смотрел в окошко. Затем с приветливой мягкостью:

— Простите, господа, я наведу справки.

Он поднялся, рослый, облитый мундиром. Вышел. Бистрем засмеялся, сняв и потирая очки. Начальник отсутствовал минут двадцать. Вернулся красным солнышком. Снова плотно сел.

— Я навел справки. Господа, предоставьте это дело мне. В нашей работе, когда в нее вмешиваются любители-детективы (наклон туловища в сторону Налымова) или пресса принимает слишком горячее участие, — начинается невообразимая путаница: много бумаги, много шуму, мало толку. Шведская полиция, как и во всех цивилизованных странах, не интересуется политикой, мы — слепое орудие власти. Мы одинаково гостеприимны и к русским монархистам и к большевикам. Но сводить ваши внутренние счета, господа, этого допустить на нашей территории не можем, — отправляйтесь за этим к себе домой... Лига занимается политикой, — говорите вы?.. Да хоть черной магией, это — ее дело. Но если какие-то члены Лиги преступили закон, будьте покойны — меч закона опустится на них... Господа, верьте в мою искренность, оставьте ваши телефоны, через два-три часа я сообщу вам исчерпывающие сведения о господине Ардашеве.

Начальника несло словоохотливостью. Честный Бистрем даже приоткрыл рот от изумления. Налымов сказал по-русски:

— Он маневрирует. Действуйте энергичнее.

Тогда Бистрем быстро на блокноте набросал десяток фраз, вырвал страницу и протянул ее начальнику. Это была телеграмма, она начиналась: «Париж. Юманите. Редакция. В Стокгольме мною раскрыта террористическая организация...» И так далее.

Прочтя, начальник осторожно почесал мизинцем сбоку носа:

— Что это такое?

— Начало борьбы,— блеснув очками, ответил Бистрем.— Через несколько минут телеграмма отправится в Париж.

— Я не могу понять, что, собственно, вы от меня хотите, господа?

— Немедленно отрядить с нами агентов для обыска на даче в Баль Станэсе.

Налымов — учтиво:

— Хорошо вооруженных, господин начальник.

— Знаете, господа,— воротник у начальника стал тесен,— все же это — беспримерно. Вы не доверяете мне. Вы пытаетесь руководить моими поступками. Вы грозите мне...

Бистрем перебил:

— Курьер советского посольства Кальве и журналист Леви Левицкий под носом у стокгольмской полиции были подвергнуты пыткам и убиты. По этому делу у нас имеются документы и свидетели.

Начальник отвалился на спинку патентованного кресла. С лица его стал сходить лак. Пауза. Он вскочил, отшвырнул кресло и — бешено:

— Я покажу проклятым русским эмигрантам политику! (Позвонил.) Господа, собирайтесь. Я придам к вам шесть полицейских и детектива...

Под клубящимися осенними тучами дача в Баль Станэсе казалась покинутой,— ни дымка из труб на высокой кровле, окна закрыты ставнями, на дорожках — прелые листья, в клумбах — поломанные цветы. Один из полицейских, бросив нажимать звонковую кнопку, долго стучал в дверь крыльца.

Подслеповатое лицо детектива изображало крайнюю скуку: «Пустая затея, здесь уже неделю никто не живет...» Инструменты для взлома двери не были взяты, сержант предложил поехать на станцию и переговорить с начальником. Пришлось вмешаться Бистрему и Налымову. Они начали стучать руками и ногами, сержант по их просьбе выстрелил из револьвера.

В доме послышалось шлепанье туфель. Дверь раскрылась, высунулся Хаджет Лаше, небритый, опухший и заспанный, в туфлях на босу ногу, в накинутом на ночную рубашку пальто.

— В чем дело?

— А вот сейчас узнаете, в чем дело, — сердито проговорил сержант, оттесняя Лаше в переднюю. — Тут у вас, черт возьми, крепко спят. — Из-за борта мундира он вытащил предписание об обыске. — Ваше имя?

Лаше пошел за очками.

— Закрывайте двери, настудите дом! — крикнул он из столовой.

Вернулся, добродушно поправляя черепаховое пенсне на жирном носу:

— Покажите-ка этот курьез... — Прочел. Снял пенсне. — Пожалуйста, господа. — И тогда только царапнул зрачками по Налымову. — Сделайте ваше одолжение, здесь все нараспашку.

Полицейские разошлись по комнатам. Налымов сказал сержанту:

— В этом доме — больная женщина. Прошу у ее дверей поставить агента, иначе мы найдем ее мертвой.

Хотя трудно было предположить, что начальник полиции предупредил Хаджет Лаше об обыске, все же Лаше как будто приготовился. Он был спокоен. Надев черкеску и сапоги, он, с длинным мундштуком, улыбаясь, ходил за агентами, сам открывал шкафы, ящики, двери. Обыск в первом этаже и в его комнате не дал ничего. Бистрем хмурился. Налымов, безучастно сидя в столовой, ждал, когда дойдут до второго этажа.

На мгновение в столовую заглянул Хаджет Лаше и — хриповатым голосом по-русски:

— Напрасно затеяли. С тобой будет то же, что с Левантом.

— А что с Левантом? — с кривой усмешкой спросил Налымов.

— Найден с перерезанным горлом в Марселе.

— Что вы сделали с Верой Юрьевной?

— Наверху. Плоха.— Лаше убежал и — весело агентам: — Теперь — только кухня. Или кухня потом? Пойдемте наверх.

Налымов, в шляпе, надвинутой на глаза, с тросточкой за спиной, последним поднимался по лестнице. Он чувствовал, что боится встречи с Верой Юрьевной. Он необычайно легко приспособлялся к любой, самой невероятной обстановке, но с такой же легкостью и отряхивался. В этот раз отряхнуться не удалось: часть его самого оставалась в этом памятном доме.

Впереди по лестнице поднимался Лаше, бойко подшучивая над самим собой. Кое-кто из полицейских ухмылялся. Внезапно Бистрем — громко:

— Прошу обратить внимание, лестница — свежевывита.

Все остановились. Подслеповатый детектив сердито взглянул на Бистрема и нагнулся, рассматривая растоптанный окурок. Лаше раскатисто засмеялся:

— Bravo! Лестница действительно вымыта и не дальше как вчера. (Сержанту.) Не могу привыкнуть к вашему северному обычаю: снимать сапоги в прихожей и дома ходить в шерстяных носках... Натаскиваешь с улицы грязь.

Поднявшись наверх, Лаше объяснял:

— Здесь музыкальный салон. Как видите, пол также замыт... Здесь — две спальни для приезжающих. Здесь — комната больной... Начнем с салона?

Налымов остался у запертой комнаты Веры Юрьевны, — там не было слышно ни звука, ни дыхания. Лаше издали мимоходом поглядывал насмешливо. Бистрем ходил за агентом, сурово сжав прямой рот. Наверху тоже не обнаружили существенного, только в музыкальном салоне — на обивке кресла — невыясненного происхождения темное пятно, сильно в одном месте поцарапанный пол и в камине, в золе, пряжку от ошейника... Все вернулись к двери Веры Юрьевны.

— О ла-ла! — Хаджет Лаше отыскивал ключ на связке. — Здесь самое тяжелое, господа... Я бы просил, если возможно, не входить всем, — дама душевно больна, положение очень, очень тяжелое.

Налымов спросил:

— Быть может, у нее та именно форма заболевания, когда больной отказывается от еды?..

— Да. Вы угадали, она наотрез отказывается от еды и питья. (Пониженным голосом.) Пожалуйста, господа...

Налымов — опять позади всех — тихо Бистрему:

— Берите агента и — на кухню... Обыщите кухню и чердак...

Всшли на цыпочках. Пустая комната, закрытые ставни, холодно, не проветрено. «Ай-ай-ай!» — пробормотал сержант. У стены на кровати — очертание тела, закрытого с головой грязной простыней.

— Припадки бешенства, мы все отсюда вынесли, — прошептал Лаше.

Налымов стащил перчатку и, продолжая держать левую руку с тростью за спиной, подошел к постели. Осторожно откинул простыню. Лаше: «Тише, тсс».

Вера Юрьевна лежала на правом боку. Голова ее была обрита, полуседые волосы отросли на сантиметр. Налымов положил ладонь на ее лоб и почувствовал, как медленно раскрылись и закрылись у нее ресницы. Он нагнулся:

— Вера, это — я.

Ресницы ее затрепетали. Лоб был холоден. Он осторожно провел по лицу, ощутил острый кончик носа, прижал ладонь к сухим, будто шерстяным губам. Они пошевелились, он почувствовал, как зубы ее чуть-чуть укусили ладонь. Он отдернул руку, повернулся к сержанту:

— Прикажите принести воды... Эту женщину убивают жаждой...

— Что ты сказал? — Жирная маска Лаше задвигалась, будто сдираясь с лица. — Кто ты здесь? Шантажист! Апаш!

Налымов, как во сне, переложил трость в правую руку и изо всей силы ударил Хаджет Лаше по лицу, по голове, по пальцам вздернувшейся его руки. Лаше гортанно крикнул и кинулся на Налымова. Оба покатались

на пол. Сейчас же их растащили. Лаше весь содрогался в руках агентов... «Ананасана, ананасана», — бормотал он шепотом. Налымов, подняв шляпу и трость, стоял некоторое время, низко опустив голову.

— Господин сержант, я дам все показания в протоколе, — наконец с трудом сказал он. — Прошу позвонить начальнику о разрешении остаться мне с этой женщиной, — безразлично, будет или не будет арестован Хаджет Лаше.

Он поставил трость к стене и стащил вторую перчатку.

Удары палкой по лицу сразу повернули дела Хаджет Лаше к худшему. Он потерял самообладание. Агенты во время возни вынули у него из кармана револьвер. Сейчас Лаше стоял у камина в музыкальном салоне и не отрываясь глядел на Налымова, сидевшего боком к нему в кресле у стола, где сержант, надев очки и расставив локти, неторопливо писал протокол.

Лаше настолько был поглощен бешеными ощущениями, что не заметил даже отсутствия в комнате Бистрема и одного из агентов. Налымов всею щекой чувствовал его упорный взгляд и был настороже. Когда сержант спросил Налымова, что он знает об образе жизни Хаджет Лаше, и когда Василий Алексеевич заговорил, Лаше начало трясти. При словах: «Внизу, в столовой, они совещались и поджидали жертву, в этой же комнате они...» — Лаше живо нагнулся за каминными щипцами, но один из агентов успел схватить его за руку и с трудом отнял щипцы. Их положили на стол. Правда, Налымов треснул Лаше палкой, почему бы Лаше в свою очередь не треснуть его каминными щипцами? Это было, так сказать, частное дело русских. Неожиданно все осложнилось: подслеповатый детектив, заинтересовавшись щипцами, обнаружил в лупу на одной из их лапок прилипшие вместе с засохшей кровью человеческие волосы. Сержант сказал: «Ого!» — и поверх очков строго посмотрел на Лаше. Протокол отягчался. Лаше, наотрез все отрицавший, настоял, чтобы в протоколе поместили просто: «волосы», без упоминания «человеческие», так как эти волосы собачьи, что и должна показать экспертиза.

Затем в комнате появились Бистрем и агент, они несли кучу мешков, бечевок и две пятикилограммовые гири. Эти вещи были найдены на кухне, в потайном стенном шкафу, заклеенном — по-видимому, совсем недавно — снаружи обоями. Мешки были большие, из джута, девять штук. На трех — надписи масляной краской. На одном: «По постановлению Лиги спасения Российской империи — большевистский комиссар Красин». На другом: «По постановлению Лиги — большевистский комиссар Воровский». На третьем: «По постановлению Лиги — журналист Карл Бистрем, агент Чека». Эта последняя надпись была свежая — краска липла к пальцам.

На вопрос, что означают эти мешки и надписи на них, — Лаше сипло задышал. На повторный вопрос он, клятвенно протянув руки, в повышенном тоне ответил, что его принуждают к бесчестью, он не в состоянии, даже спасая свою жизнь, разглашать тайн, в которые замешаны лица, играющие в настоящее время руководящие роли в европейской политике...

Все это было более чем странно. На вопрос Бистрема в лоб: где находится Ардашев или его тело, не в одном ли из таких мешков? — Лаше ответил с наглой усмешкой, что об этом с большим успехом можно спросить у постового полицейского, у содержателя любого из ночных притонов или, что еще вернее, в большевистском посольстве.

Закончив протокол, сержант, сопровождаемый Бистремом, пошел вниз переговорить по телефону с начальником полиции, как поступить с Лаше. Вернулся, строго нахмуренный:

— Господин Хаджет Лаше, на основании данных протокола господин начальник счел нужным арестовать вас и препроводить в тюрьму, без накладывания наручников.

— Могу я по крайней мере одеться? — вызывающе спросил Лаше. И, затрясшись всей маской, крикнул Налымову и Бистрему: — Через неделю выйду из тюрьмы, включите это в ваши расчеты!

Лаше увезли. Бистрем и Налымов остались на даче. В бывшей Лилькиной спальне затопили печь и пере-

несли туда Веру Юрьевну: от слабости она не могла даже говорить. После обсуждения решили вымыть ее в ванной и сегодня же перевезти в гостиницу. Бистрем позвонил об этом начальнику полиции, тот ответил: «Делайте на свою ответственность».

Бистрем отнес на руках завернутую в простыню, легонькую, как ребенок, Веру Юрьевну в ванную. Простыню и рубашку сочли за лучшее тут же сжечь. Желтое, с проступающими ребрами, длинное тело Веры Юрьевны все было в кровоподтеках. В горячей ванне она блаженно закрыла глаза. Ей вымыли стриженные волосы, и голова ее стала похожа на реденький бобровый мех. Уложили в чистую постель, дали чашку крепчайшего кофе. Она вытянулась, откинула голову, кажется — задремала. Бистрем и Налымов спустились в столовую.

Надо было признать, с обыском они просыпались. Кроме надписей на мешках и каминных щипцов, никаких безусловных улик не найдено. Преступление не установлено. Даже если Вера Юрьевна оправится и даст показания, Хаджет Лаше — при могущественной поддержке — вылезет сухим: вне всякого сомнения, он запасся врачебным свидетельством и показания Веры Юрьевны представит как бред сумасшедшей.

Бистрем формулировал:

— Если мы не найдем трупов Кальве, Левицкого и Ардашева, наше дело битое. Пока что мы только растревожили осиное гнездо.

Они еще раз обшарили весь дом, подвал, чердак. Бистрем некоторое время бродил вокруг дачи. Внезапно, топая, как лошадь, он взбежал по лестнице:

— Слушайте, мы — идиоты! Мешки и гири, вы поняли? Трупы — в озере... И, конечно, с надписями на мешках. Но это Лаше не спасет. И даже еще будет пикантнее связать этого бандита с английской и французской контрразведкой...

На следующее утро Бистрем, зайдя на квартиру Ардашева, сделал еще чрезвычайное открытие: в кабинете Ардашева наткнулся на книжку «Убийца на троне» с надписью от автора: «Август 1919 года, Хаджет Ла-

ше»¹. С первых же страниц Бистрем почувствовал, что попал на настоящий след. Книжка была тем хорошо известным в уголовной практике психическим явлением, когда преступник, даже рискуя головой, возвращается на место своего преступления. (Эта необходимость, по-видимому, происходит из тайного желания «растормозить рефлексы», болезненно возбужденные в напряженной суеде преступления.)

В книжке Хаджет Лаше рассказывал в полубеллетристической форме о делах турецкой тайной полиции при Абдул-Гамиде: как намечалась жертва, как она заманивалась в дом на пустынной улочке и там угрозами и пытками жертву заставляли выдать чек, или денежное письмо, или ключ от сейфа. С удивительными подробностями и мелочами Лаше описывал пытки — человеку одевали тугой ошейник, резали лицо, вырывали волосы, выжигали глаза, совывали иголки под ногти. Жертву засовывали в мешок и бросали в Босфор. На даче в Баль Станэсе было повторено то самое, что лет пятнадцать тому назад — им же, Хаджет Лаше, — проделывалось в Константинополе, — такова была полнейшая уверенность Бистрема.

Но для какого черта Лаше подарил, да еще с надписью, эту книжку одной из намеченных жертв? Здесь — расчет тончайший, но какой? В мозгу Бистрема не находилось объяснений. Но он понимал, что, если выступит на суде с этой книжкой как с одной из улик, прежде всего должен будет ответить именно на вопрос: для чего Лаше принес Ардашеву книжку?

Он ходил по кабинету, бормотал, выворачивая губы, корчил гримасы, какие, по его соображениям, должны быть у матерых убийц, силился влезть в эту черную психику. Ничего не получилось. И, когда только с досадой отмахнулся («Драматург какой-нибудь, романист, тот бы сразу с восторгом влез в шкуру Лаше»), чрезвычайно простое объяснение явилось само собой: да именно потому-то Лаше и подарил Ардашеву книжку, чтобы этого поступка и нельзя было объяснить в случае, если на Лаше падет подозрение...

¹ Книга издана в русском переводе самого Хаджет Лаше в Петрограде в 1917 году. Большая редкость.

— Ах, дьявол, ах, гениальнейшая голова! — бормотал Бистрем, в восторге потирая руки.

На предварительном следствии Хаджет Лаше заявил, что его арест не что иное, как происки большевиков. Исчезновение Кальве, Леви Левицкого и Ардашева устроено заграничными агентами Чека с целью создать политический процесс и дискредитировать Лигу, учрежденную для вербовки добровольцев для белых армий. Эти три лица похищены чекистами и переправлены в Россию, причем Левицкий и Ардашев расстреляны, Кальве — на свободе, как бывший бунтовщик. Документальные сведения Лаше обещался к следующему дню доставить из архива Лиги.

По поводу надписей на мешках он дал такое объяснение: один из членов Лиги оказался провокатором, подкупил Бистрема и Налымова и перед обыском, в отсутствие Лаше, сделал надписи на мешках, о чем Лаше узнал только во время обыска и, вполне понятно, ужасно взволновался и даже не помнит, что говорил. Мешки были приобретены для хозяйственных надобностей. Каминными щипцами он действительно защищался от бешеной собаки, забежавшей на дачу.

Следствием чрезвычайно заинтересовался граф де Мерси, — приехав в камеру следователя, он долго и значительно разговаривал с ним, подтвердив, между прочим, предположение о провокационном увозе агентами Чека трех упомянутых лиц на территорию Советской России. Затем, как и обещал Лаше, русский офицер Биттенбиндер вручил следователю письмо генерала Сметанникова к генералу Гиссеру, где сообщались подробности о Кальве, Левицком и Ардашове, привезенных на рыбацьем паруснике в Петроград. Следователю оставалось признать факт и выпустить Лаше на свободу. Но следователь колебался, — Бистрем передал ему книгу «Убийца на троне», указал на параллельные подробности и по поводу письма Сметанникова твердо заявил, что такого генерала не существует в списках бывшей царской армии, — письмо сфабриковано шайкой Лаше.

Бистрем добился также ордера на обыск в квартире Извольского. Но Извольский исчез из Стокгольма. Получался скандал. «Юманите» напечатала телеграмму Бистрема о процессе. Честь полиции была затронута. На чет-

вертый день после исчезновения Извольский был арестован на яхте у Аландских островов и препровожден в Стокгольм.

Вначале он отрицал все, даже бегство: он страстно любит море, представился случай прокатиться и тому подобное...

Бистрем потребовал очной ставки Извольского с ардашевской экономкой — фру Вендля. Он сам привез ее к следователю. Плача, она снова рассказала всю историю про вымышленную девочку, которой Ардашев хотел купить «недорогие первоклассные детские платица». Экономка молитвенно складывала руки: «Он был так добр к детям, господин следователь!» У Извольского нервы, видимо, были не крепкие. В истории с вымышленной племянницей он сознался. Когда Бистрем в упор спросил его: «Теперь рассказывайте, что вы сделали с моим другом Ардашевым?» — Извольский потянулся к графину с водой и в отчаянии уронил руки.

— Я расскажу все... Господин следователь, я был втянут в преступную шайку. Я — морской офицер. Я мечтал о борьбе с теми, кто издевается над моей родиной, уничтожает все святыни... Меня погубила слабость, сознаюсь... Я должен был взять винтовку... Мое место там, где сражаются... Я искренне хотел... А впрочем... Меня шаг за шагом втянули в грязь!.. — Он всхлипнул, но у него это не вышло. Уронил локти на стол: — Эх! — Решительно поднял голову и — Бистрему: — Ваш друг Ардашев замучен пытками. Он выдал чеки на пятьсот тысяч крон... Убит и брошен в озеро... Его крик и сейчас у меня в ушах... Я не спал пять суток... Едемте сейчас, я покажу место, куда его бросили...

На первой лодке крикнули: «Есть! Попало!» В ней стояли понятые, вытягивая длинный багор, другие заводили второй багор под то, что попало. Поспешно подошла лодка, где сидели следователь, врач, Бистрем и Извольский. Из глубины всплывало серое и бесформенное, облепленное водорослями. Мешок с телом трудно было поднять на борт, его прибуксировали к берегу, выволокли на смятую траву. Это была третья наход-

ка,— вчера и позавчера железными кошками извлекли из озера полуразложившиеся трупы Кальве и Леви Левицкого. Люди устали и продрогли, и сейчас, выбросив из лодок весла и багры, уселись на берегу, закурили.

Окончив внешний осмотр (на мешке та же надпись: «По постановлению Лиги» и так далее), следователь приказал развязать мешок, но это не удалось, и его осторожно разрезали. Обнажилось распухшее лицо, оскаленное, как у собаки, перееханной колесами. На щеках — порезы, на месте глаз — кровавые впадины, череп проломлен. Извольский сказал упавшим голосом: «Это Ардашев». Труп понесли на дачу. Извольский засуетился было, чтобы помочь тащить, но Бистрем крикнул ему:

— Что вы за жизнь-то цепляетесь?.. Хорошо завтракать любите... Вас тогда Николай Петрович с хорошим завтраком ждал, с шампанским. Сволочь!

Извольский — как будто передохнув астмическое удушье:

— Эта мелочь мучит меня невыносимо... В последнюю минуту, когда я вез его сюда, я понял, какой это был обаятельный человек...

Так начался большой процесс об убийствах в Баль Станэсе. Извольский выдал всех. Были арестованы и привлечены к делу Биттенбиндер, Эттингер, Гиссер с сыном и Вера Юрьевна. Стараниями графа де Мерси, американского атташе и внезапно появившегося в Стокгольме одного майора из английской разведки остальных членов Лиги привлекли только в качестве свидетелей. Мадам Мари арестовали в Варшаве во время циркового представления, когда она готовилась исполнить соло на метле. Долго не могли разыскать следов Лили, покуда в кабачке «Ночная вахта» один подгулявший матрос не объяснил, что девчонку нужно искать не ближе Порт-Саида, но на каком корабле она уплыла — сказать он не может...

Еще при следствии обнаружилась борьба за политическую окраску процесса. С одной стороны, Бистрем, выступавший как гражданский истец со стороны Веры Юрьевны (она лежала в тюремном госпитале), разду-

вал политическое пламя. С другой стороны, защита группы Хаджет Лаше — два видных шведских адвоката и заинтересовавшийся «загадочным» делом, прибывший из Парижа, чтобы выступить бесплатно защитником Хаджет Лаше, знаменитейший адвокат Жюль Рошфор, — эти три блестящих ума сворачивали весь процесс в сторону чистого психологизма... Фрейд, Шпенглер — вот вежи, по которым можно было подобраться к «жуткой загадке Баль Станэса». Бистрем отчаянно боролся против психологизма, но не в силах был справиться с десятком понаехавших шикарных журналистов. Его выслушивали вежливо и, отойдя, смеялись:

— Сентиментальный немец вместе со вшами вывез из России Карла Маркса и хочет заставить нас считать его чудотворцем.

Бистрем мечтал о рупоре на всю Европу. Вместо этого не было газетной заметки, где бы его не высмеивали под тем или иным видом, изображали в карикатурах, перевирали его слова, приписывали ему идиотские поступки. Когда в первый день суда он появился в ложе журналистов, раздался смех в публике: Бистрема узнали по карикатурам.

В зале присутствовал весь дипломатический корпус. Первые ряды занимали нарядные женщины. Из видных русских присутствовал генерал Юденич, в штатском платье, усатый, важный, без видимых следов недавнего разгрома. Следователю он дал показание, что действительно некий Хаджет Лаше однажды явился к нему, но о чем он тогда говорил — генерал не припомнит. Больше ничего он не мог прибавить к своим показаниям.

Подсудимые вели себя, как все подсудимые, — заслонялись рукой от фотографов, с видом равнодушия поправляли галстуки, перелистывали обвинительный акт, не глядели в публику, с особенным вниманием слушали словоговорение. Один Лаше сидел, как на сцене перед рампой (в белой черкеске с малиновым вырезом рубахи), блестящими глазами обводил зал и, когда замечал на женских лицах впечатление, честолюбиво усмеялся.

С особенным интересом публика ждала показаний свидетеля Налымова. Но он будто выдохся, как резиновый шарик, проткнутый булавкой: отвечал на вопросы

скучно, сухо, даже с некоторой осторожностью. О своих отношениях к подсудимой Вере Юрьевне ограничился общими чертами:

— Мы оба принадлежали когда-то к высшему обществу, оба установили свою полную беспомощность в жизни, оба пошли на дно. Мы ничего не ждем и ни на что не надеемся. Это, если хотите,— известного рода эпикурейство,— нас связало и связывает... (Вера Юрьевна со скамьи подсудимых, похожая худым лицом и стриженной головой на поседевшего от ужаса подростка, подняла было руку, привстала, но он даже не обернулся к ней.) Если угодно суду знать, то я сообщаю, что в период следствия мы юридически узаконили наши брачные отношения...

Это его заявление вызвало ропот среди публики, некоторые зааплодировали. На вопрос судьи, что могло связывать Веру Юрьевну с Хаджет Лаше? — Налымов ответил тем же спокойно-скучным голосом:

— Преследование константинопольской полиции за уголовное преступление, совершенное фактически Хаджет Лаше, но приписанное им моей жене... («Лжет! — крикнул бешено Хаджет Лаше.— Мерзавец! Докажи!..» Судья остановил его.) Дело шло об убийстве в публичном доме, который содержал Хаджет Лаше... Дело в том, что в первый год эмиграции моя жена... (он опустил голову, как бы раздумывая, и снова — вялым голосом) моя жена была завербована в дом терпимости... Вот в сущности и все...

На третий день процесса выступил Бистрем. Как Робеспьер, сжимая в руке скрученную рукопись, он начал:

— Господа судьи, я выступаю как гражданский истец подсудимой Чувашевой... Ее обвиняют в укрывательстве преступления, в том, что она не донесла полиции... Почему она молчала? Кто такая подсудимая Чувашева? Это — лист, оторванный бурей от дерева и растоптанный подошвами, это — эмигрантка, господа судьи... (Сердитый ропот среди части публики.) Ее связывало к жизни только одно — женское чувство, столь же болезненное, иступленное и безнадежное, как вся ее эмигрантская судьба. Ради этого чувства она, обезумевшая от ужаса, запертая в пустой комнате, без еды

и питья,— молчала, потому что Хаджет Лаше сказал ей: если донесешь полиции, с Налымовым будет то же, что с Кальве, Леви Левицким, Ардашевым, или с греком в публичном доме, или с недавним компаньоном Хаджет Лаше, одним из агентов Детердинга, грязным спекулянтом Левантом, зарезанным по приказанию Хаджет Лаше. Но, господа судьи, нас здесь гораздо больше интересует не причина молчания подсудимой, а причина появления на политической арене таких персонажей, как Хаджет Лаше, и его бандитской шайки, именуемой Лигой, аккредитованной такими высокими политическими лицами. Причин для появления Хаджет Лаше много. Я укажу только на главную,— причину всех причин,— это страх перед пролетарской революцией. (Резкий свист в зале.) Здесь уже действуют единодушно,— и я бы сказал — опрометчиво,— все могущественные силы, которые посылают Деникина на Москву, Юденича на Петроград и всовывают каминные щипцы в руку Хаджет Лаше, чтобы он опустил их на головы тех лиц, чьи фамилии обнаружены следствием на неиспользованных мешках в Баль Станэсе. Хаджет Лаше — наемный убийца, но он достоин своих хозяев. Идеология у них одна и та же. Разница лишь в масштабах. Хаджет Лаше при помощи раскаленных щипцов пытается свои жертвы, вымогая у них чеки в тридцать тысяч крон. Его хозяева при помощи Версальского мира обрекают на муки голода, физического истощения и отчаяния сотни миллионов тружеников и готовят для еще более страшных пыток уже не каминные щипцы, готовят новую мировую войну, чтобы раз и навсегда утопить в крови самую надежду на освобождение у трудящихся, чтобы оставить лишь самое необходимое число обезличенных рабов, прикованных к стальным жерновам капитализма. Война за рынки, за нефть, уголь, руду! О, в этой части хозяева договорятся о разделе между собой. Но глубочайшая сущность Версальского мира направлена всем жалом на истребление революции...

Председательствующий, под возмущенные возгласы публики, остановил Бистрема, предложив ему говорить по существу. Бистрем вытер платком лоб и продолжал о Вере Юрьевне. Конец его речи был скомкан, он не

сказал и половины того, что хотел. Его проводили молчанием, насмешливыми, злыми взглядами. При выходе из зала суда к нему подошли двое — рослые, широкоплечие, тяжелоногие, в синих тяжелых пиджаках. Морщась улыбками, они сказали ему:

— Хорошо было сказано, дружок.

— Не горюй, что тебя не слишком ласково приняли, кому нужно — тот понял...

И эта мимолетная встреча вознаградила взерошенного Бистрема за неудачу.

Приговор суда был таков: Хаджет Лаше — к десяти годам тюрьмы, остальных — от восьми до трех лет. Мари была признана невиновной. Вере Юрьевне дали полтора года тюремного заключения.

Налымов остался в Стокгольме. Раз в неделю он посещал в тюрьме Веру Юрьевну. Из гостиницы переехал в недорогой пансион. Стал весьма сдержан в денежных тратах, даже скуповат. Через день ходил в кинематограф. Умеренно пил. Пристрастился обкуривать пенковые мундштуки, словом, жил тихо, — черт его знает, — иногда сам себя спрашивал, — зачем он живет на свете?..

Бистрем... Если житейские события некоторых из персонажей хотя бы отчасти пришли к какому-то завершению, — жизнь Бистрема только-только начала организовываться... Он написал несколько статей и уехал в Германию, сжимаемую смертельными объятиями Версальского мира. Там след его на некоторое время затерялся.

В Советской России революция продолжала победоносно разворачиваться, опрокидывая все планы версальских мудрецов и надежды эмигрантских комитетов. В Лондоне и Париже с золотых перьев слетали новые ядовитые капли, вызывая новые волны исторических событий. Так, на гребне одной из волн поднялся было над рубежом Советской России всадник в польской конфедератке и занес уже саблю для удара, но ответная волна гневно опрокинула это жалкое подобие воина.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

СОЮЗ ПЯТИ

Впервые под названием «Семь дней, в которые был ограблен мир» напечатан в первой книге альманаха «Ковш», ГИЗ, Л., 1925. Авторская дата — «Август 1924 г.».

Под названием «Союз пяти» без изменения текста вошел в одноименный сборник рассказов А. Толстого, ГИЗ, Л., 1925.

Изложенная инженером Корвином теория происхождения Земли и Луны, так же как и вычисленное им столкновение этих небесных тел,— художественный вымысел.

Инженер Лось, построивший в Петрограде в 1921 году аппарат для полета в космос, о котором говорит Корвин,— герой научно-фантастического романа А. Толстого «Аэлита».

Идейный замысел рассказа «Союз пяти» — разоблачение магнатов американского капитала, стремящихся использовать достижения науки для захвата власти над миром,— получил свое более полное развитие в написанном год спустя научно-фантастическом романе «Гиперболоид инженера Гарина».

Включая «Союз пяти» в IX том Собрания сочинений, ГИЗ, М.-Л., 1927, автор провел незначительную стилистическую правку и дописал две фразы в финале рассказа: «Мы объявим войну всех против всех, мы будем руководить этой бойней, где погибнет слабый и где сильный приобретет волчьи мускулы... И тогда мы наденем железную узду на возрожденного зверя...»

ДРЕВНИЙ ПУТЬ

Впервые под названием «На ржавом пароходе» напечатан в ленинградской «Красной газете», веч. вып., 1927, №№ 73, 74 за 19 и 20 марта.

Под названием «Древний путь», с подзаголовком «Рассказ», опубликован в журнале «Новый мир», 1927, № 3.

С небольшими стилистическими исправлениями и авторской датой окончания «12 января 1927 г.» вошел в сборник рассказов А. Толстого «Древний путь», изд. «Круг», М., 1927.

Дальнейшие исправления стилистического характера автор проводил, включая «Древний путь» в XI том Собрания сочинений, ГИЗ, М.-Л., 1929, и затем в сборник «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М., 1944.

Для истории создания «Древнего пути» интересный материал дают воспоминания Н. В. Крандиевской-Толстой. В главе «Карковадо» она рассказывает о поездке их семьи весной 1919 года на пароходе «Карковадо» из Константинополя в Марсель. Эти воспоминания показывают, какой жизненный материал использован писателем для создания фона, на котором раскрываются тягостные раздумья умирающего французского офицера Поля Торена. «То, что старуха,— пишет Н. В. Крандиевская-Толстая об одной из пассажирок «Карковадо»,— была хозяйкой брошенного в Одессе веселого дома, а племянницы — двумя наиболее ценными экземплярами этого заведения, стало известно на пароходе с первого дня. Это вызвало волнение среди экипажа и в машинном отделении, но пока волнение клочкотало под почвой и мало кто из пассажиров его замечал (...). Ночью мы вошли в Салоники, и до рассвета «Карковадо» грузил французские войска, возвращавшиеся с фронта (...). Утром зуавы в красных фесках лежали на палубе вповалку. Пробираясь на кухню за кипятком, мы с детьми шагали через ноги в грязных обмотках, через ранцы и спящие тела. Признав в нас русских, солдаты ободряюще покрикивали нам вслед: «Ленин карашо, ле совет — карашо!» (...)

...Странные вещи творятся на пароходе. Вчера, среди бела дня, совершенно голая женщина перебежала мне дорогу по коридору и скрылась, хлопнув дверью, в одной из кают. Я так и не разглядела, кто это был, Эсфирь или Клавдия («племянницы» старухи.— Ю. К.).

Целый день в темном конце коридора толкуются и шепчутся солдаты. В воздухе топором висит запах капорала — французской махорки. Организуется таинственная очередь. Визг и хохот доносятся из служебной каюты. За попытку подойти вне очереди к двери вчера ночью молодой зуав выгрыз кусок спины чернокожему полковому коку, после чего оба африканца, сцепившись в клубок и кровотока, катались по коридору» (ИМЛИ. Архив А. Н. Толстого).

Н. В. Крандиевская-Толстая рассказывает и о первом возникновении замысла «Древнего пути». Как-то А. Толстой просил подсказать ему тему для рассказа. «Мне пришло в голову,— пишет она,— натолкнуть его на один сюжет. Впрочем, это был даже не сюжет и даже не тема. Просто захотелось снова заразить его тем смутным, поэтическим волнением, которое охватило когда-то нас обоих по пути в Марсель, через Дарданеллы, мимо греческого Архипелага.

— Ты помнишь остров Имброс, мимо которого мы плыли? — спросила я,— грозу над ним?

— Ну?

[...]

— Ты помнишь мальчика с дудкой? Он шел за стадом овец, как Дафнис. Помнишь зуавов из Салоник? Закат над Олимпом?

Вытряхивая все это и многое другое из закоулков памяти, я заметила, что он насторожился, помаргивая глазами, и вдруг про-

вел рукой по лицу, сверху вниз, словно снимая паутину. Знакомый жест, собирающий внимание. Я продолжала:

— Современному человеку, глядящему в бинокль с парохода на древние эти берега, в пустыню времени...

— Погоди,— остановил он меня,— довольно...

На другой день он, как всегда, с утра сел за работу.

Рассказ «Древний путь» писался медленно и трудно. В процессе работы был забыт первоначальный его размер — строк на триста».

В черновиках автобиографии, написанной в 1938 году, А. Толстой говорит о месте «Древнего пути» в своем творчестве второй половины 20-х и начала 30-х годов: «За этот же период написано несколько повестей, из которых наиболее значительны: «Древний путь» и «Гадюка» (Архив А. Н. Толстого).

ГАДЮКА

Впервые напечатана с подзаголовком «Повесть об одной девушке» в журнале «Красная новь». 1928, книга восьмая. Авторская дата — «15 июля 1928 года».

А Толстой начал работать над этим произведением в конце июня 1928 года, сразу же после окончания второй части «Хождения по мукам» — романа «Восемнадцатый год». В одном из писем этого периода он сообщал: «Я начал писать рассказ, очень трудный, и работа идет медленно и трудно. Не знаю — должно быть, сказывается усталость после романа. Все же надеюсь в десять дней его закончить» (Письмо к Н. В. Крандиевской-Толстой, без даты. Архив А. Н. Толстого). Новое определение жанра — повесть — появилось в подзаголовке при публикации.

Повесть «Гадюка» вызвала огромный интерес у читателей. В течение многих лет она обсуждалась на читательских конференциях. Устраивались своеобразные суды, на которых разбиралось «дело» Ольги Зотовой. В некоторых случаях эти процессы вели настоящие судьи и прокуроры.

Двенадцатого апреля 1935 года писатель, отвечая группе рабочих, приславших свой отзыв о «Гадюке», выступил против абстрактного образа «идеального героя»: «Товарищи, в общем, правильно ставят вопрос: Ольга совершила преступление потому, что до конца не была перевоспитана Красной Армией, одной ногой стояла в новой жизни, а другой в старой (откуда вышла). Это и не позволило ей стать выше личной обиды, и места в созидательной жизни она найти себе не смогла.

Это все верно. Но дальше товарищи ошибаются, упрекая меня в том, что я не захотел до конца перевоспитать Ольгу, поднять ее до высоты, когда она знала бы, за что дралась в 19 году, когда в годы нэпа она сознательно пошла бы на партийную работу, когда задачи революции стали бы для нее выше ее личных дел.

Я нарочно написал Ольгу такой, какая она есть. Не нужно забывать, что литература: 1) описывает типичных живых людей, а не идеальные абстрактные типы (Ольга была одним из живых типов эпохи нэпа. Сейчас таких людей уже нет) и 2) что время, в которое Ольга совершила свое преступление, было до начала пяти-

леток, то есть в то время, когда не началось еще массовое перевоспитание людей.

Для перевоспитания людей нужно изменить материальные и общественные условия. Не забывайте, что в эпоху нэпа был еще жив и кулак, и единоличник, и купец, и концессионер. И перед всей страной не был еще поставлен конкретный план строительства бесклассового общества... Тогда такой, как Ольга, легко было соскользнуть к индивидуализму» (Архив А. Н. Толстого).

В ответе участникам читательской конференции в Петрозаводске, на которой разбиралось «дело» Зотовой, А. Толстой писал: «Дорогие товарищи! ..Вы рассудили правильно... Не выстрелами мы боремся за повышение нашей культуры и за очищение нашего общества от всяких буржуазных пережитков. Зотова прекрасно понимает, что своим выстрелом она сама себя отбросила на уровень тех людей, с которыми боролась, которых ненавидела. Зотова сама себя жестоко осудила и наказала, и наше общество должно ей помочь подняться.

Эту мысль, хотя и не совсем так высказанную, и выразил ваш суд над «Гадюкой» («Письмо петрозаводским читателям»).

Подготавливая повесть в 1934 году для отдельного издания в серии «Библиотека начинающего читателя», Гос. изд-во «Художественная литература», Л., 1934, автор внес ряд исправлений и сокращений. В кратком предисловии к этой книжке написано: «Гадюка», или, как сказано в подзаголовке, «Повесть об одной девушке», для настоящего издания заново просмотрена и отредактирована автором. В результате этого повесть, не изменившись по существу, стала более сжатой и для начинающего читателя более доступной по языку».

Для этого издания была дописана концовка, по-видимому, и вызвавшая определенную реакцию читателей: «Через две недели в народном суде слушалось дело Ольги Вячеславовны Зотовой... Суд... Нет, пусть лучше сами читатели судят и вынесут приговор...»

Включая повесть «Гадюка» в сборник «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель, М., 1944, автор восстановил многие сделанные в 1934 году сокращения и внес некоторые исправления.

ЭМИГРАНТЫ

Впервые под названием «Черное золото», с подзаголовком «Роман», с эпиграфами: «Рим — это мир. Остальное — варвары», «На карту поставлено пятнадцать миллионов трупов. Русская революция спутала карты», напечатано в журнале «Новый мир», 1931, №№ 1—12. Авторская дата окончания произведения — «12 декабря 1931 г.».

Произведение тематически примыкает к трилогии «Хождение по мукам». Автор в феврале 1936 года писал, что «во всю эпопею войдут пять книг: «Сестры», «Восемнадцатый год», «Оборона Царицына», «Черное золото» и последняя книга».

Для создания «Черного золота» писатель собирал документальные данные и свидетельства современников.

Материалом, особенно заинтересовавшим А. Толстого, была брошюра В. Воровского «В мире мерзости запустения. Русская белогвардейская лига убийц в Стокгольме», опубликованная в конце 1919 года в Москве. Автор книжки рассказывал о белогвардейской «Военной организации для восстановления империи», которую возглавлял казачий полковник Магомет Бек Хаджет Лаше (до первой мировой войны сотрудничал в черносотенном журнале «Братская помощь», позднее был редактором-издателем реакционного парижского журнала «Мусульманин», автор бульварных романов: «Записки начальника тайной турецкой полиции», «На каторге», «За стенами сераля», «Любимцы Ильдыза» и др.). Эта «организация», в которую входили генералы и офицеры бывшей царской армии, объявив своей задачей борьбу с большевиками, совершала убийства частных лиц, грабеж, получала по подложным подписям деньги из банков и совершала прочие уголовные преступления. В. Воровский приводит документы, доказывающие поддержку этой «лиги» английским, американским и французским военными штабами при попустительстве шведских властей.

Материал увлек А. Н. Толстого яркой характеристикой разного плана противников большевизма в 1919 году. Для того времени он был весьма актуален: империалистические круги на рубеже 20—30-х годов начали новую антисоветскую кампанию. В ход пускались любые методы провокации и шантажа. В 1927 году в Лондоне был организован налет на «Аркос» (Советское общество по торговле с Англией), и английское правительство порвало дипломатические отношения с Россией. В Варшаве белоэмигрантом был убит советский посол П. Л. Войков. Провокационным налетам подвергся ряд полпредств и торгпредств СССР. Шпионы и диверсанты, комплектуемые большей частью из белоэмигрантов, засылались иностранными разведками на территорию Советского Союза. Летом 1929 года произошел военный конфликт на КВЖД. Провокационные действия антисоветских кругов в известной мере повторяли авантюристическую и уголовную деятельность контрреволюции в 1919 году.

Начиная писать «Черное золото», автор, по-видимому, считал этот роман продолжением «Хождения по мукам» и хотел показать в нем белую эмиграцию 1919 года.

Первые главы романа, посвященные обстановке в Западной Европе весной 1919 года, по художественно-публицистической форме близки началу романа «Восемнадцатый год», а также тем отступлениям во второй и третьей книгах «Хождения по мукам», в которых дается общая картина событий.

Но писать о белой эмиграции, о конце ее пути было невозможно в той эпической форме, в которой создавалась трилогия. Не только ничего героического, но даже и трагического, не было в полной деградации бывших хозяев русской империи. Тема произведения — разоблачение международной и русской контрреволюции, сплетавшей в грязный клубок политические и уголовные авантюры, развязка романа, построенная на убийствах в Баль Станэсе, обусловили форму, сочетающую черты детективно-авантюрного романа и памфлета. Художественную убедительность, реалистическую правдивость произведению придает хорошее знание автором белой эмиграции. Не только общая обстановка в Париже 1919 года и

настроения «бывших» людей, но и портреты многих из них написаны с натуры по памяти. За исключением Налымова и трех женщин, завербованных Хаджет Лаше, большинство эмигрантов, действующих в романе,—исторические лица, с которыми А. Толстому приходилось не раз сталкиваться.

В послесловии к первой публикации автор писал: «С первых же глав «Черного золота» меня начали упрекать в несерьезности, в авантюризме, в халтурности и еще много кое в чем. Иногда казалось, что это делается для того, чтобы сорвать писание романа. Все же, к удовольствию или неудовольствию читателей, я его окончил. Мне нужно только прибавить, что все факты романа исторически точны и подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств (см. книгу Воровского). Шведский профессор Г. Г. Александров — теперь директор II МХАТ — сообщил мне подробности этого дела. (Александров был приговорен шайкой Хаджет Лаше к смерти и только случайно избежал ее,— во время обыска на даче в Баль Станэсе он нашел приготовленный для него мешок.) Остальные сцены романа взяты по возможности документально точно из архивных материалов, устных рассказов и моих наблюдений».

Готовя роман к изданию отдельной книгой в Гослитиздате, М.-Л., 1932, автор подверг журнальный текст небольшой стилистической правке и незначительным сокращениям. В этом издании появился новый подзаголовок: «Зарисовки девятнадцатого года» и был снят первый эпиграф, а часть послесловия, говорящая о подлинности фактов в романе, стала предисловием.

Существенную переработку романа автор провел в 1939 году. В новой редакции А. Толстой добавил ряд сцен, а некоторые написал почти заново или дополнил, преследуя задачу более глубокого раскрытия характеров персонажей и четкого выявления социально-политических вопросов.

Так, например, вставлена беседа Денисова с Лисовским в ресторане; коренным образом переделан диалог между Налымовым и Верой Юрьевной в Севре, после приезда Хаджет Лаше; диалог между Милюковым и англичанином Вильямсом, Хаджет Лаше и полковником Пети. Заново переписан рассказ Бистрема Ардашеву о поездке в Советскую Россию и сцена суда — выступления Налымова и Бистрема.

Автор также изменил композиционное построение начала произведения, собрав в более крупные полотна сцены, связанные общим содержанием, и сократил некоторые главы; совсем снял главу 12-ю об истории банкирского дома Ротшильдов, главу 35-ю, описывающую белогвардейское Северо-западное правительство, большое вступление публицистического характера в главе 52 й и эпизод встречи Воровского с Бистремом после его речи в суде. Снят был и второй эпиграф.

Дата в конце текста — «1931—1939» — говорит о времени написания и переработки.

В этой новой редакции под названием «Эмигранты» и с подзаголовком «Повесть» произведение вышло отдельной книгой в издательстве «Советский писатель» в 1940 году.

Ю. Крестинский

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Союз пяти	5
Древний путь	43
Гадюка	65
ЭМИГРАНТЫ	107
Примечания	396

А. Н. ТОЛСТОЙ.
Собрание сочинений
в восьми томах.
Том IV.

Редактор тома
Ю. А. Крестинский.

Иллюстрации художника
П. Я. Караченцова.

Оформление художника
Р. Г. Алеева.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 24/X 1971 г. Подписано к печати 25/IV 1972 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Объем 21,0 усл. печ. л.
21,91 уч.-изд. л. Тираж 375 000 экз. Изд. № 896. Зак. № 2068.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП,
улица «Правды», 24.

Индекс 70756

